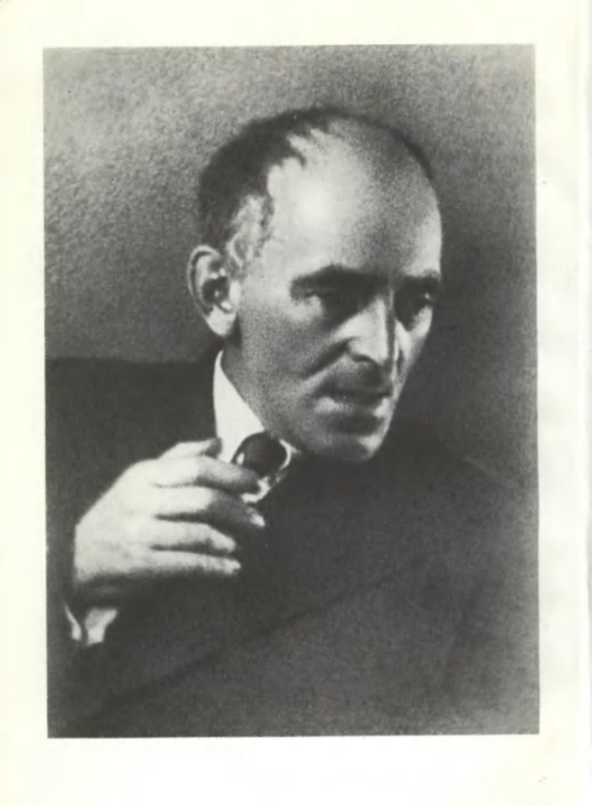
О·МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

3



О·МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР МОСКВА 1994

О·МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР МОСКВА 1994

О. МАНДЕЛЬШТАМ

ТОМ
ТРЕТИЙ

СТИХИ И ПРОЗА
1930–1937



АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР МОСКВА 1994

УДК 882
ББК 84.Р1
М23

Издание подготовлено
Мандельштамовским обществом

Составители:
П. НЕРЛЕР, А. НИКИТАЕВ

Редактор
Э. СЕРГЕЕВА

Художник
Е. МИХЕЛЬСОН

Подбор иллюстраций
А. НАУМОВ

Совместное производство
Арт-Бизнес-Центра
и Можайского полиграфического комбината

ISBN 5-7287-0072-1 (т. 3)
ISBN 5-7287-0002-0

М $\frac{4702010106-10}{\text{П16(03)}-94}$ без объявл.

© Составление, комментарии и оформление:
Мандельштамовское общество, Арт-Бизнес-Центр – 1994

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Тридцатые годы — в отличие от двадцатых — это прежде всего возвращение к стихам. Их отличают исключительная продуктивность и интенсивность поэтического творчества: написанные за неполные семь лет 190 стихотворений, вошедших в этот том, не составляют целого — по меньшей мере 10-20 стихотворений этого времени, в том числе едва ли не целый «савеловский» цикл, утрачены (в основном из-за обысков и арестов).

Развивалась и поэтика Мандельштама — в направлении дальнейшей открытости и свободы выбора «орудийных средств». Самостоятельное и самодостаточное значение приобретают фрагмент, набросок, вариант, и под влиянием этой открытости и фрагментарности складывается атмосфера особой доверительности между поэтом и читателем-собеседником (тем более что живых, реальных читателей становилось с каждым годом все меньше). Поэт все более уходит от установки на смысловую законченность, логико-грамматическую отчеканенность стиха, в чем он столь преуспевал в молодости. Поэтическая мысль не обрывается всякий раз в конце стихотворения — она подхватывается и продолжается в следующем, и в следующем за следующим, и так далее, образуя сплошной поэтический поток, самим временем выстраиваемый в некий единый смысловой ряд. Поэтому хронологический принцип, взятый нами за основу всего собрания, в настоящем томе вдвойне уместен: поэт сам взял его за основу при формировании двух написанных им в эти годы книг — «Новые стихи» (1930-1934) и «Воронежские стихи» (1935-1937). Канонического их состава не существует, поэтому звездочки перед некоторыми из стихотворений в оглавлении означают не столько непринадлежность к основному корпусу, сколько сомнения в такого рода принадлежности.

О неистребимой жизнеутверждающей силе Мандельштама свидетельствует не только настрой многих воронежских стихов, написанных «вопреки» времени, но и полусотня шуточных стихотворений. Поэтические переводы перешли в новое качество, недаром поэт не отделял вольные переложения сонетов Петрарки от оригинальных стихотворений.

В тридцатые годы писалась и «большая проза», в том числе такие вещи,

как «Четвертая проза» (по существу открывшая собой весь период), «Путешествие в Армению» и «Разговор о Данте» — своего рода итог мандельштамовской эстетики. Сравнительно немного было написано мелких статей и рецензий.

В Приложениях собраны ранние редакции стихов, но представлены и строчки из уничтоженных или утерянных стихов; среди прозаических приложений доминируют фрагментарные записи и наброски, главным образом группирующиеся вокруг «Путешествия в Армению», «Разговора о Данте» и радиокомпозиции «Молодость Гете», представлены и внутренние рецензии.

Открывающие том воспоминания С.Липкина даются в полной авторской редакции, впервые опубликованной в кн.: Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка...». М.: Моск. рабочий, 1990, с.409-434.

П. Нерлер, А. Никитаев

С. И. Липкин

«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ...»



Ранней осенью 1931 года я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых Прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара,— обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по шесть-восемь (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливцем, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток,— и все это Мандельштам называл благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых Прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя, в то же время, «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама»,— как-то сказал мне Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в твердом, кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведений советских поэтов и прозаиков о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам в утешенье принес...», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось, как будто, совсем другое — ясность, строгость, точность, девятнадцатый стихотворный век ценил выше двадцатого, а в двадцатом недосягаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательнее, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале «Молодая Гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не

сказал; значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, раввинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед
Хоть пруд пруди,
Но все же страшен постылый Запад
И боль в груди.

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — 18 век, Фонвизин. Капнист. На «ябед» найдена новая рифма, но вся строка с западом — перепев символистов, вернее — их славянофильских эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается «боли в груди», то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось,— не по-настоящему, а как ученически способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М.А.Зенкевичу, который заведовал стихами в «Новом мире», и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ, и когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: «В борьбе человека с пальто стань на сторону человека». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот, помогла случайная встреча, и я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лест-

нице мне навстречу. На руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама: — А Будда печатался? А Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что боялся провокации, а во-вторых,— и это главное — он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклоняется чуть ли не до пояса), мне открыла дверь длиннокосая девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась: «Узнаю Осю».

Мандельштам успокоился не сразу. «И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга?» — характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо от того, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем.

Я прочел несколько стихотворений, может быть, десять — и остановился.

Мандельштам спросил: «Сколько вам лет?» — «Двадцать».

— Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать,— неодобрительно вспомнил он и добавил:

— Плоско, плоско, — дважды повторенный звук «пло» ударил особенно больно. — Вы кое-чему научились в столице, не стало южных оборотов, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот, в парусиновом длиннополом балахо-

не, в парусиновых сапогах, приехал в город и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то, более зрелым и значительным, споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал, неожиданно стал нападать на «Столбцы» Заболоцкого, не помню, чем был вызван его гнев. В комнату вошла девушка, открывшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. «Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!» — осуждают соседи. А гончар: «Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их». Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он, после долгого перерыва, после «черной измены» стихам, вернулся к стихам.

— Хотите, прочту,— и, не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий ему станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть негулкой, но светящейся славы, как была у Ахматовой, и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто

из современных ему поэтов, аквилоном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец», редакция помещалась сперва на Старо-Басманной (ныне улица Карла Маркса), а потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр им. Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и в другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был), освещением,— нечто вроде пассажа,— была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба — знакомые Мандельштама и мои. Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда, Мандельштам был этим оскорблен, и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому моему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

— Я не член группкома.

— Это меняет дело,— с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам пожал и ему руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской «Четвертой прозе» и по другим литературным источникам, скажу только, что Мандельштам — в который раз!— показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах

взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом — влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, придерживался в советское время благородных демократических взглядов, что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это увидел ясно, когда — один из горсточки сторонников обвиняемого — присутствовал на товарищеском суде над Мандельштамом в полуподвале Дома Герцена.

Произошла, неточно выражаясь, жилищная склока. Сосед Мандельштама по Дому Герцена, печатавшийся под именем Амира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду опасных людей: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многоразово. Однажды он женился на официантке из дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная, Саргиджан поселился в ее деревенском доме, и соседи-колхозники часто полесковски называли его Содержаном. Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татароликий Саргиджан — в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был безвестным литератором. Я не исключаю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегче-

нием вздохнул, когда председательское место занял А. Н. Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то, талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. А. Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы объяснить, как обстояло дело в действительности, он, нервно и звонко, почти певуче, напирал на то, что Саргиджан и его жена — ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда. Надежда Яковлевна вела себя лучше, спокойнее.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов и как он, умный, порой гениальный, бессилен в лапах следователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть волком среди волков, а ведь Мандельштам не был волком по крови своей, он — высокое пламя, но хрупок, ослаб пламенник...

В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более понаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда-никогда!— эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом на Старосадском. Вот Мандельш-

там читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрав голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное — смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, смысл этих огромных стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например, замечанием, что жены здесь «как детский рисунок просты», или про армянский алфавит, где «буквы кузнечные клещи, а каждое слово — скоба», то заставляли по-новому и напряженно думать о народе, чьи «церковки басенного христианства» граничили с миром мусульманским: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил». И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: «Орущих камней государство». Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после 46 лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее «казнелюбивых владык», ее связей с Византией, с Персией, с античной философией,— теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что такое пресловутая литературность в стихах.

Литературны, в дурном смысле этого слова, всегда литературны стихи подражателей, даже если авторы дремуче невежественны, даже если их произведения изобилуют новейшими бытовыми частностями, приметами дня, наполнены сельской или городской утварью, укреплены частоколом собственных добродетелей, орошены слезами любовных неудач (и удач). Какая странность — и в то же время закономерность: даже у тех подражателей, которые мало читали, даже у тех, которым образцы мало знакомы,— словосочетания почти всегда — бледные копии давно написанных и переписанных. Но литературности нет у Пушкина, ни тогда, когда у него пляшут воды Флегетона, ни тогда, когда он переиначивает стихи греков, римлян, французов, и даже своих скромных русских современников. Каким литератур-

ным с виду может показаться Пастернак, когда он в одной строке соединяет название философского труда древнего грека со стихами мало известного английского драматурга, да еще в пушкинском переложении, но разве литературна эта строка: «На пире Платона во время чумы?» Разве не полна жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то и литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Мандельштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами, очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется, в Армении «Шах-Наме» Фирдоуси во французском переводе — прозаическом — Жюля Моля и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора,— проникновенно, потому что гениально догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных, пока чтишь светлого Ормузда,— ты хорош, начинаешь служить дьяволу Ахриману,— становишься плохим. «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда»,— советовал Мандельштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих немыслимо без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Мандельштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити — это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Мандельштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ними совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных («Я список кораблей прочел до середины»), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастии к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает, в конечном счете, талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия,— и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях государственных стихотворцев, они бездыханны со дня рождения, а в стихах «далеких от жизни» Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва — глаголом жечь сердца людей. Не все помнят, что в основе «Пророка» лежит литературный текст — мотивы VI главы Книги пророка Исайи. Пушкин довольно далеко отошел от библейского сюжета, но шел-то он от него. В примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина (I, 56), относящихся к «Подражанию Корану», указывается: «Тема первого подражания позднее развита в «Пророке». Чтобы убедиться в этом, я прочитал два перевода Корана, понял, что, действительно, некоторые библейские мотивы в «Пророке» Пушкин воспринял через их кораническое истолкование (он читал «Коран» в русском переводе М.Веревкина, изданном в 1790 г.), но прямых соответствий я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах говорит своему посланнику: «Разве мы не раскрыли тебе грудь?» (Коран, перевод И.Ю.Крачковского. М., 1963), и, конечно, вспомнилось: «И он мне грудь рассек мечом». И далее:

И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Какое жуткое хирургическое вмешательство! И как мучительно, и потому прекрасно, призвание поэта. Да, да, только при том непременном (но еще недостаточном) условии, что человек томим духовной жаждой и в его рассеченной мечом, отверстой груди пылает уголь, можно стать поэтом не празднословным и лукавым, а, обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. Именно эта пророческая, учительская сущность сделала русскую поэзию величайшим проявлением человеческого, а значит, и Божественного гения новых веков. Чиновник синода или синедриона — не учитель, не пророк. Становясь чиновничьим писанием, стихотворная литература перестает быть писанием пророческим. И согла-

симся с другой бесспорной истиной: чтобы глаголом жечь сердца людей, надо этот глагол хорошо знать. Хорошо знать. Проникнуть в его строение, как физики проникают и продолжают проникать в строение атома. Глагол, слово порождается не только тем, что пережито, но и тем, что узнано, прочитано, услышано. Не будь бессмертных литературных образцов, не было бы, может быть, и этого литературного пушкинского стихотворения. Конечно, книгами не ограничишься, хорошо бы еще с детских лет иметь свою Арину Родионовну — няню, мать или «московскую просвирню» — в широком, современном смысле этого понятия, но я не принимаю стихотворцев, которые уныло бахвалятся своей кондовостью, «нелитературностью», своим незнанием основ ремесла. Наше дело, как всякое дело, надо уметь делать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение «виждь и внемли» содержит в себе, думаю, совет видеть не только картины жизни, но и прежде, до тебя, написанное, чтобы пойти дальше, слышать не только голоса всего живущего вокруг, но и голоса прежде сказанные. Интерес к метрическим и изобразительным средствам стиха, знание версификации проявляли, и весьма настойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близких к нам по времени, и это вовсе не исключает приверженность к первенствующему значению содержания, к пророческому началу поэзии. Та кровавая операция, которую проделал с будущим стихотворцем шестикрылый серафим (а сколько еще будет других кровавых операций!) была бы бессмысленной, если бы стихотворец не научился своему делу, не образовал свой вкус, не выработал свое представление о прекрасном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца людей, лишь тогда станет огненным, когда станет прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти не известного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего как бы образовывался серебристый эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник,

что возвышенна, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в Доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежащая Мандельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращался к юнцу по имени-отчеству), происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которым он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простительно-смешными, но иногда они выводили его из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: «Народник! Златовратский!»

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня серьезностью, похвалил стихотворение «Мир», и только поэтому я, сравнительно недавно, опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял — и чудесно читал вслух — строки: «Где шушера теснилась по углам, А краденое прятали по складам». Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом, выслушивал мои комментарии газетных сообщений, всевозможные пылкие соображения, рожденные только что прочитанным Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении «Золотистого меда струя» есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала (именно в этом суть известного эпизода). К ней, в отсутствие Одиссея, приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, он глуп,— крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама зиждилась на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам не излагал эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое долженствовало стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Таврии, дикой и печальной, где всюду «Бахуса службы».

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частностей: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: «Как будто на свете одни сторожа и собаки». Такая мысль не придет в голову аэду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманным просторечием «Ничего, голубка Эвридика, что у нас холодная зима». Используя миф, Мандельштам преобразовывал поэзию целого в поэзию частностей и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их: «Собирались эллины войною На прелестный остров Саламин». Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет, это не было заумью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому, как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд краснобайству, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда служило здравое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандельштама. Я усва-

ивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо неиздаваемым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились, и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад, нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки, и над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкафами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяева хорошо нас накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор к тому же трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты) не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы, я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общеизвестная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Умение слушать ритм есть умение

врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно. Необязательно, чтобы мысль была сногсшибательно новая. «Бывал я рад словам неизреченным»,— сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. «Мысль изреченная есть ложь»,— сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно не похожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм!

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью непрямых, не сразу замечаемых, но бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму. Мандельштам обычно подчеркнуто уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изумительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например в «Шамане и Венере», он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то (т.е. мои слова айхенвальдовщина). Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно на дольки. Он слушал ритм, как слушают рост зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Мандельштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Мандельштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат для того, чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он говорил: «Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта — принадлежит ему одному», и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб «Евгения Онегина» совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский или некрасовский, и совсем уже иной послефофановский четырехстопный ямб Блока: «Вновь оснеженные колонны...» и, того-этого, «Возмездие» у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: «Больной и хилый Достоевский Туда ходил на склоне лет».

Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о «Возмездии» от Анны Ахматовой, но соображения были иные).

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака «1905 год», журналы были наполнены стихами, написанными этим метром, на всевозможные темы. Я заметил, что если перевернуть строки стихотворения «Золотистого меда струя...» так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастернак у Мандельштама. В самом деле, сравним: «Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела» и «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку».

— Вздор,— отрезал Мандельштам.— У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел «За гремучую доблесть грядущих веков», я, потрясенный, воскликнул: «Это лучшее стихотворение двадцатого века!», но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном».

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Мандельштам: размер стихотворения напоминал надсоновское «Верь, настанет пора и погибнет Ваал». Неужели такое поверхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его частному, случайному виду — размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволил себе пококетничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкоежку). Он, разгорячась, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог бы тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны, по-моему, признак умного чело-

века), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко не все смотрят на него точно так же, отсюда его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — несуразности в поведении. Он рассказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он, по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИК. Узнав от секретарши, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

— Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?

— Одиссей? Какой Одиссей?

— Кто со мной говорит?

— Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была «Одиссей», в Москве, в районе Усачевки, мне запомнился сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, во всяком случае не таким, как Авель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравятся ли, и, получив утвердительный ответ, гордо заявляет: «Мое», как будто я мог усумниться, как будто мне могла прийти мысль, что он читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который умел бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня неестественной для него, неумелой бранью. Кажется в тот же день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки:

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,

Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:

— Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: «Обуян — Франсуа»? Почему не сделать «Антуан», и все будет в порядке, и ничего не меняется.

— Меняется! Меняется! Боже,— нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть ли не завопил Мандельштам,— у него не только нет разума, у него нет и слуха! «Антуан — обуян»! Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал, что он был очень одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, «Разговор о Данте». Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упоительное стихотворение, героем которого, как часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими заметками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: «Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков слезы превращал в вымысел».

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах — сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые, рыжеватые волосы. И цвет лица у нее

был всегда молодой, свеже-матовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубашки. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был понаблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным,— хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей, и это дало повод Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта и его подругу в ресторане, выразиться так:

С своей волчицею голодной
Выходит на добычу волк.

Только в конце сороковых, снова, через много лет — и каких лет!— встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда позднее прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного и, увы, пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама, и заслужила вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в прежние его книги.

Вместе с И.Л. Лиснянской и молодым поэтом П.Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: «Восемьдесят лет

стукнуло девочке». Стали вспоминать прошлое — и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой элегантный ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М.С.Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей образ автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам — дело прошлое — был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: «Вы так думаете?» Странный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:

— Надежда Яковлевна, мерещится мне или в самом деле в «Александре Герцовиче» была одна строфа, позднее не вошедшая в окончательный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмильевича, читающего мне приблизительно так:

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще.

Надежда Яковлевна оживилась:

— Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? А я считаю, что так надо было сделать.

Между тем строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно Мандельштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака,

но Мандельштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Мандельштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда: Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина («Хотя Кольцову больше доверяешь»), нравились «Пугачев» и «Черный человек», отрицательно отзывался о «Персидских мотивах»: «Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему меняла выдает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот».

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асеева, позднее — Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил «Николай Степаныч», но я полагаю, что в Гумилеве он видел, прежде всего, друга, авторитетного, умного вожака былой литературной группы и, конечно, жертву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандельштам читал его стихи.

Чудесной чертой Мандельштама, ныне не часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то что суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым, который его мало ценил, называл, кажется, «мраморной мухой», восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, Мандельштам знал это. И другая чудесная черта: никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал ни них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит его, а Багрицкий тогда был гораздо популярнее Мандельштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Мандельштама мое сообщение не тронуло. «У него в мозгу фотографический аппарат,— сказал он.— Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута».

Году в 33-м был устроен в Политехническом музее вечер Мандельштама. Я получил билет. В тот день, проводя студенческую практику на Дербеневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, не-

много опоздал. Вступительное слово произнес Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыхленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного Ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая,— то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах не замечаемые, иные у них были лица, и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский — точильный камень русской поэзии!»— и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неофитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Мандельштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприязненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, ругал Бальмонта и Брюсова, поругивал Вяч. Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которым с удовольствием встречался. Вышла в свет «Форель разбивает лед» Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой, несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок деликатно назвал «варварством». Мандельштам разругал «Форель»:

— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой к тебе в карман.

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье,— вспомнить твои волосы,
Бег облаков в марте — вспомнить твою походку...

Я любил, знал почти всю книгу наизусть — «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец» — сказал он, озорничая, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу,— признак высокой поэзии, а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и беззаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется,— сказал я, имея в виду размер,— что русской кальки не получится.

— И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и

дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, приноравливаясь к моему советскому невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например, о христианстве и иудаизме. В отличие от Пастернака, Мандельштам духовно ощущал свое еврейство (в молодости он крестился, но то был акт чисто внешний — ради возможности поступить в университет он принял лютеранство). Надежда Яковлевна родилась в крещеной семье, но религиозные чувства пришли к ней очень поздно. Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и не мудрено, политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, поразительно ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахматовой, зато некоторые его прозрения были гениальны. Запомнилось:

— Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими.

Однажды я посетил его вместе с Г. А. Шенгели. Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не

прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина?

Шенгели побледнел, сказал: «Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...»

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М.С.Петровых, которая была ему ближе, чем я?

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых предсказывала ему славу. Даже у нас издали в «Библиотеке поэта» укороченный томик его стихов с оскорбительным предисловием. Мне рассказывали, что секретарь калмыцкого обкома партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в отставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь более двух-трех книг, самолично распределял присланные в республику экземпляры книги Мандельштама среди партийной элиты: все-таки ценность! Как всегда, Поэт оказался сильнее Государства. Угль, пылающий огнем, не гаснет.

1977—1981

СТИХИ

1930–1937

СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

2.

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут...

Октябрь 1930

3—14.

АРМЕНИЯ

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба...

3

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться;
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело, до хруста, ее погрузи. Добудем розу без ножниц.
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу —
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый —
И для шербета негодный дичок, не дающий ни масла,
ни запаха.

6

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая —
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая —
Армения, Армения!

7

Не развалины — нет,— но порубка могучего циркульного
леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
На Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные
сани,
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

9

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину...

10

Какая роскошь в нищенском селеньи —
Волосяная музыка воды!
Что это? пряжа? звук? предупрежденье?
Чур-чур меня! Далеко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

11

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

12

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,

Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

16 октября — 5 ноября 1930

15.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Октябрь 1930

16.

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь.

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

Октябрь 1930

17.

Колючая речь араратской долины,
Дикая кошка — армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Все не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930

18.

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звезды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать,
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930

19.

Дикая кошка — армянская речь —
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь:
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,

Командированный — мать твою так!—
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу,—
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое:— Ба!
Ты ли, дружище,— какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено — по какому разряду?—
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Ноябрь 1930

20.

И по-звериному воет людье,
И по-людски куролесит зверье.
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

Ноябрь 1930

21.

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

22.

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
— Лэди Годива, прощай... Я не помню, Годива...

Январь 1931

23.

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

24.

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за твою рабу...
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Январь 1931

25.

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет — хорошо озорует,
Любишь — не любишь: ни с чем не сравнишь...

Любишь — не любишь, поймешь — не поймаешь.
Не потому ль, как подкидыш, молчишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

Март 1931

26.

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог.

Март 1931

27.

Ma voix aigre et fausse..
*P.Verlaine**

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди,—
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;

* Мой голос пронзительный и фальшивый... *П.Верлен (фр.).*

Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди,—
Ангел мой.

2 марта 1931

28.

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно — и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

2 марта 1931

29.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—18 марта 1931, конец 1935

30.

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант,—
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,—
Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно!

27 марта 1931

31.

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает грозить из угла —
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объездить всю курву Москву.

Апрель 1931

32.

НЕПРАВДА

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
— Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу,— говорит,— дам еще...—
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу — куда там — в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,—
Полуспаленка, полутюрьма...
— Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

4 апреля 1931

33

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

11 апреля 1931

34.

РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал —
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф —
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих — конек-горбунок.

. . . .

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

35.

— Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый,—
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою
шопотью,
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром
сиреневым...

— Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый,—
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно
вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина,
рыжая...

Дальше — еще не припомню — и дальше как будто
оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою
ворванью...

— Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

23 апреля 1931

36.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и
сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками
звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье,—
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду,—
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

3 мая 1931

37.

КАНЦОНА

Неужели я увижу завтра —
Слева сердце бьется, слава, бейся!—
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный,—
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида,—

Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой — зависть, в красной — нетерпенье.

26 мая 1931

38.

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких
железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь — где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
— До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать —
        для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
        Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна...

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы — до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород...

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,—
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
        Попробуйте меня от века оторвать,—
        Ручаюсь вам — себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну.
— Изобрази еще нам, Марь Иванна.
        Пусть это оскорбительно — поймите:
        Есть блуд труда и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.

Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты.

Май — 4 июня 1931

39.

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я как щенок кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «дзенкую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Все думаешь, к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих,—
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица и безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу;

Я слушаю сонаты в переулках,
У всех ларьков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,—
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-цзы.

Люблю разъезды скворчащих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой.

Май — 19 сентября 1931

40.

ОТРЫВКИ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ СТИХОВ

‹1›

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Захочешь пить — там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

‹2›

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

‹3›

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: «гуси-лебеди, домой!»

Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз — хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
                                        Больше светотени —
Еще, еще! Сетчатка голодна!

‹4›

Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931

41.

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

42.

ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо»,—
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил — черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

12 июня 1931

43.

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленною армадой
Ровно в голову плывет:

Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними кораблями
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

12 июня 1931

44.

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня —
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! Стыдно!

Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие, Не так ли,
Откинув палисандровую крышку

Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.

И Фауста бес — сухой и моложавый —
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда. Она сегодня в няньках.
Все мечется. На сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках.

25 июня — август 1931

45.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,

А мне уж не на кого дуться
И я один на всех путях.

Но не хочу уснуть, как рыба,
В глубоком обмороке вод,
И дорог мне свободный выбор
Моих страданий и забот.

Февраль — 14 мая 1932

46.

Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Май 1932

47.

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,—
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

7—9 мая 1932

48.

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.

Самоуправство, своевольство,
Поход троянского коня,
А над поленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница, на дворе,
И Петропавловску-Цусиме
Ура на дровяной горе...

К царевичу младому Хлору
И — Господи благослови!—
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.

Я пережил того подростка,
И широка моя стезя —
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

11—13 мая 1932, 1935

49.

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни как сон
В пленительных занятьях:

Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932

50.

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.
Но всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Май 1932 — сентябрь 1935

51.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,—
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

52.

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову — розу.
Ну, а перстень — никому.

Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

Май 1932

53.

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
— Ни у кого — этих звуков изгибы...
— И никогда — этот говор валов...

3–840

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932

54—56.

СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

1

Сядь, Державин, развалися,—
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,

Пахнет потом — конским топом —
Нет — жасмином, нет — укропом,
Нет — дубовою корой.

2

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо поката
Кажется земля, пока
Шум на шум, как брат на брата,
Восстают издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

4 июля 1932

3

С.А.Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь — дуб,
В листьях клена перец красный,
В иглах — еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий —
В желудевых шапках все —

И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки,
В сбруе тонкого дождя,
Вдруг поднимутся с опушки —
Так, немного погодя...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды —
Кто кого? Пошел развал...

И деревья — брат на брата —
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

3—7 июля 1932

57.

ХРИСТИАН КЛЕЙСТ

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте купцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И перед битвой радовались вместе.

Война — как плющ в дубраве шоколадной.
Пока еще не увидала Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

8 августа 1932

58.

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б.С.Кузину

Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!

*Ewald Christian Kleist**

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

---

* Друг! Не упусти (в суете) самое жизнь. // Ибо годы летят // И сок винограда // Недолго еще будет нас горячить! *Эвальд Христиан Клейст (нем.).*

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932

59.

АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси —

Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души,—
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея,
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

4—6 мая 1933

60.

АРИОСТ

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.

Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной — кузнечик мускулистый.
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый —
И прямо на луну влетает враль плечистый...

Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А при дворе у рыб — ученый был советник.

О, город ящериц, в котором нет души,—
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала,
И солнце рыжего ума взошло в глуши.

Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на дворе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,—
И свежей, как заря, удивлены утрате...

Май 1933, июль 1935

61.

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий.
И звуков стакнутых прелестные двойчатки —
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Май 1933, август 1935

62.

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить.

О, как мучительно дается чужого клекота полет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных
глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Май 1933

63.

Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.
Как был при Врангеле, такой же виноватый.
Колючки на земле, на рубищах заплаты,
Все тот же кисленький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани —
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Лето 1933, Москва

64.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дари́т за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

65.

Квартира тиха, как бумага —
Пустая, без всяких затей,—
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

66.

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови —
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

Ноябрь 1933

67.

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

Ноябрь 1933

68—78.

ВОСЬМИСТИШИЯ

‹1›

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Прийдет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, июль 1935

‹2›

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Прийдет выпрямительный вздох.

И как хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹3›

О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся,—
Жизняночка и умиранка,
Такая большая — сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья — боюсь!

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹4›

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко —
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,—
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь...

Май 1932 — февраль 1934

‹5›

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.

Январь — февраль 1934

‹6›

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹7›

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹8›

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.

Бывают мечети живые —
И я догадался сейчас:
Быть может, мы Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹9›

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет...

Ноябрь 1933 — январь 1934

‹10›

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, июль 1935

‹11›

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей,—
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933 — июль 1935

79—82.

‹ИЗ ФР. ПЕТРАРКИ›

‹1›

Valle che de' lamenti miei se' piena...

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

Дол, полный клятв и шопотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах —

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита,
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Декабрь 1933 — январь 1934

‹2›

Quel rosignuol che sì soave piagne...

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких ночью синей
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне,—

Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!

О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха,—

Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Декабрь 1933 — январь 1934

‹3›

Or che 'l ciel e la terra e 'l vento tace...

Когда уснет земля и жар отпышет,
А на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет,—

Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит,
В неудержимой близости все та же,
Це́лую ночь, це́лую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один, вода разноречива —
Полужестка, полусладка,— ужели
Одна и та же милая двулична...

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.

Декабрь 1933 — январь 1934

‹4›

I di miei più leggier che nessun cervo...

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря:
Как хороша? к какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

4—8 января 1934

83—87.

‹СТИХИ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО›

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей речи не только пугач для детей —
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...

10—11 января 1934

10 ЯНВАРЯ 1934

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Где первородство? где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? где горькая украдка?
Где ясный стан? где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,—
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русских первенцев блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради,
Лиясь для мышц и бьющихся висков,

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот —
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий и тянущийся весь,—
Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь...

16 января 1934

Когда душе и то́ропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь — в продольный лес смычка,

Что льется вспять, еще ленясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,—

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Январь 1934

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы,
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

Январь 1934

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер — друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин.

Январь 1934

88.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница встреч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Наша нежность — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

13—14 февраля 1934

89.

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

‹Февраль› 1934

90.

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,—
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было — ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету.

5 апреля — июль 1935

91.

Тянули жилы, жили-были,
Не жили, не были нигде.
Бетховен и Воронеж — или
Один или другой — злодей.

На базе мелких отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трех карандашей,
И дирижер, стараясь мало,
Казался чортом средь людей.

‹Апрель› — май 1935

92.

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Апрель 1935

93.

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

Апрель 1935

94.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:

Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди,—
Кто же будет продолжать за них?

Весна—лето 1935, 30 мая 1936

95.

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,—
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Апрель 1935

96.

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо — твой Буонарроти...

Апрель 1935

97.

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор,—
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

98.

Наушники, наушнички мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои,—
Язык пространства, сжатого до точки...

Апрель 1935

99.

Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово —
Воздушно-океанская подкова,

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.

Апрель—май 1935

100.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный,
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,

Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель добровольный
Трудящихся, твой каменноугольный
Могучий мозг, гори, гори стране!

Апрель—май 1935

101.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
И то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный.

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
Откидываясь вниз до рисовых полей,—
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

102.

От сырой простыни говорящая —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки —
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.

Измеряй меня, край, перекраивай —
Чуден жар прикрепленной земли!—
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!..

‹Апрель›—июнь 1935

103.

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон,—
слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
Расширеньем аорты могущества в белых ночах — нет,
в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась
хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам
дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой...
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего!

Апрель—май 1935

104—106.

КАМА

1

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

2

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.

3

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток,
Полноводная Кама неслась на буек.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель—май 1935

107.

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

108.

СТАНСЫ

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили, а теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата —
Из дерева, стекла и молока...

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам-друг,—
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га!

Май—июнь 1935

109.

ЖЕЛЕЗО

Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

Железная правда — живой на зависть,
Железен пестик, и железна завязь.
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935

110.

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,

И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.

24 мая 1935

111.

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля — меблированный шар,—
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц — разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе застыл талисман —
Движенье, движенье, движенье...

3 июня 1935

112.

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу —
Дичок, медвежонок, Миньона,—
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935, 14 декабря 1936

113.

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно,—
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935

114.

Бежит волна-волной, волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты —
И яд разносят хладные скопцы.

27 июня — июль 1935

115.

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик —
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Май(?) 1935

116.

Мир должно в черном теле брать,
Ему жестокий нужен брат —
От семиюродных уродов
Он не получит ясных всходов.

Июнь 1935

117.

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат — агат.

Но мне милей простой солдат
Морской пучины — серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

118.

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов,
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко́.
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко,
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6—9 декабря 1936

119.

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье, —
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

8 декабря 1936 — 17 января 1937

120.

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.

Нет имени у них. Войди в их хрящ —
И будешь ты наследником их княжеств.

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их,— в приливах и отливах.

9—27 декабря 1936

121.

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи,
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий.

10—26 декабря 1936

122.

Нынче день какой-то желторотый —
Не могу его понять —
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

9—28 декабря 1936

123.

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щеголь, голову закину
И щегла увижу я.

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва красным шит,
Черно-желтый, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,—
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

9—13 декабря 1936

124.

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли — до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье —
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит — в обе!—
Не посмотрит — улетел!

9—27 декабря 1936

125.

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,—
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик — черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц,
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Декабрь (после 8-го) 1936

126.

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет — ничего, отец,—
Уж мы сошьем тебе такое...

Декабрь 1936

127.

Я в сердце века — путь неясен,
А время удаляет цель:
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

14 декабря 1936

128.

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять:
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины,—
Честь Рюисдалевых картин,—
И на почин лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

15—27 декабря 1936

129.

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но все же — арфы и виолы.
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил,
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневея.

16—18 декабря 1936

130.

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро —
Не дворянское угодье —
Океанское ядро.
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож.
Дайте свет — прозрачных лунок
На фанере не сочтешь.
— Анна, Россошь и Гремячье,—
Я твержу их имена,
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных —
Полон воздýха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый-белый бел-покров.
Трудодень земли знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова,
Шутишь: родина щегла!
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

23—27 декабря 1936

131.

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый?
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка.

26 декабря 1936

132.

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима:
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел,—
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильней всего непрочно-
Выпуклых голубизна —
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна...

29—30 декабря 1936

133.

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих,
Шароватых искр пиры.

29—30 декабря 1936

134.

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он обожествленный
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный,—
Кинь его вдогонку мне.

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

2 января 1937

135.

Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста,—
На холсте уста вселенной, но она уже не та:

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль,
В синий, синий цвет синели океана въелась соль.

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты,

На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

136.

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей,—

Не хочет петь линючий
Ленивый богатырь —
И малый, и могучий
Зимующий снегирь,—

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей.

9 января 1937

137.

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки,
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут.

9 января 1937

138.

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые —
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды,—
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом —
И слепой и поводырь...

12—18 января 1937

139.

Влез бесенок в мокрой шерстке —
Ну, куда ему, куды?—
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы:
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы.

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брюзжит отлого —
Улеглось — и полбеды!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось.

12—18 января 1937

140.

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.

15—16 января 1937

141.

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

16 января 1937

142.

О, этот медленный, одышливый простор! —
Я им пресыщен до отказа, —
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался — на век, на миг один —
Стремнин осадистых завистник, —
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый...

16 января 1937

143.

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим,
И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда?

16 января 1937

144.

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался плыть, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

18 января 1937

145.

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.

Начало 1937

146.

‹ОДА›

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной,—
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек,—
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,
Все моложавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого, не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему,— вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.

И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин,— Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой — ему народ родной —
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поет, густея,
Само грядущее — дружина мудреца
И слушает его все чаще, все смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта — отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко — знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь — откровенность, весь — признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь — к себе не знать пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь — через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Январь—март 1937

147.

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная, взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны

И брони боевой — и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля — другие страны — бой,
Из хорового падающий короба:
— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой,—
И хор поет с часами рука об руку.

‹18 января› — 11 февраля 1937

148.

Я нынче в паутине световой —
Черноволосой, светло-русой,—
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался.

19 января 1937

149.

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он веха, нет — лемех.
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января — 4 февраля 1937

150.

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца.
Неумолимое — находка для творца —
Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

151.

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21—22 января 1937

152.

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я — это я, явь — это явь...

И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю —
В сребристых скобках, в бахромах,—

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке —
Полнеба в валенках, в ногах...

24 января 1937

153.

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

154.

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,—
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б,—
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И — в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,

Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

‹Первые числа› февраля — начало марта 1937

155.

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

1 февраля 1937

156.

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат
И мастер и отец черно-зеленой теми,—

Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

157.

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен,—
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг, горька морей трава —
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край — вот все мои права,—
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

158.

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертое величье,
А я — его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон — наклон — подкова — конь — балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света,—
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7—11 февраля 1937

159.

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется,— без языка — тиха:
Уже я не пою — поет мое дыханье —
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов — смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха,—
Одноголосый дар охотничьего быта,—
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.

8 февраля 1937

160.

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить — сон и смерть минуя —
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937

161.

Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы,—

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

162.

Как дерево и медь — Фаворского полет,—
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце — лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват — и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей-
‹Всей› этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937

163.

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!

Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

164.

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,—
Безымянная манна его,—
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры...

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нулей.

И за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем,
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной обновою:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте,—
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей,—
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружи́т с человеком калека —
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка,—
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится,—
Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья — Шекспира отец...

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,

Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?

Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
— Я рожден в девяносто втором...—
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

1—15 марта 1937

165.

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет — денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности!
Свищет песенка — насмешница, небрежница,—

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша,—

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

166.

РЕЙМС — ЛАОН

Я видел озеро, стоявшее отвесно,—
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг,—

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

167.

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,—
Втридорога снегом напоенный,
Высоко занесся — санный, сонный —
Полу-город, полу-берег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный

И перегоревший в сахар жженый.
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного голландского уклона,—
Не раскаркается здесь веселая, кривая,
Карличья в ушастых шапках стая,—
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапку клена
Дым уносит, на ходулях убегая.

6 марта 1937

168.

Я скажу это начерно, шопотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

169.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Небо вечери в стену влюбилось,—
Все изрублено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно — мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют.
Стенобитную твердь я ловлю —

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

170.

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко,— ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь.

9—19 марта 1937

171.

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко,— ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.

Если я не вчерашний, не зряшний,—
Ты, который стоишь надо мной,

5–840

Если ты виночерпий и чашник —
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни —
Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы,—
Лед весенний, лед вышний, лед вешний —
Облака, обаянья борцы,—
Тише: тучу ведут под уздцы.

9—19 марта 1937

172.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,—

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом,—
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо-тихо его мне прочти...

15 марта 1937

173.

РИМ

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят,—

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой,—

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов —
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков,—
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд,—
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит,—
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек,—
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

174.

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,—
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец...

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который как череп глубок;

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

18 марта 1937

175.

КУВШИН

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды,—
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном — и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937

176.

Гончарами велик остров синий —
Крит зеленый,— запекся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиньих
Плавников их подземный удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и страсть.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд.

Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба — случайность,
И вода, говорящая «да».

‹21 марта› 1937

177.

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу...

23 марта — начало мая 1937

178.

Нереиды мои, нереиды,
Вам рыданья — еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

Март 1937

179.

Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей не хватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,

И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.

А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...

Звонким шопотом честолюбивым,
Вспоминающих топотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки — опрятен и скуп.

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем —
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы —
И убийство на том же корню —
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.

7 апреля 1937

180.

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще — разумейте...

Апрель 1937

181.

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

30 апреля 1937

182.

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась:
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

— Подожди,— шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
— Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж прямой и дикий
Кротким и послушным,

Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови,
Жалится сестрица.

Ветер бархатный крыластый
Дует в дудку тоже:
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
— Вы, грома, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи.
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что по чести
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
— Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

183.

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе
с кистями,—
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
В воздух убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива.

4 мая 1937

184—185.

«СТИХИ К Н.ШТЕМПЕЛЬ»

1

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра только очертанье...
Что было поступь — станет недоступно...
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И все, что будет,— только обещанье.

4 мая 1937

186.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин —
заячья губа,
Две подметки —
жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все —
чужие, чужие.

Оловянный
ужас на лице,
Голова не
держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
«Для чего я славен и любим
и даже знаменит...»
И ведет его шоссе большое
к чужим, к чужим.

Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чарли, кролик,
пробивайся в роль.
Чисти корольки,
ролики надень,
А твоя жена —
слепая тень,—
И чудит, чудит
чужая даль.

Отчего
        у Чаплина тюльпан,
Почему
        так ласкова толпа?
Потому —
            что это ведь Москва.
Чарли, Чарли,—
                    надо рисковать.
Ты совсем
            не вовремя раскис.
Котелок твой —
                    тот же океан,
А Москва
            так близко, хоть влюбись
В дорогую дорогу.

Май(?) 1937

187.

С примесью ворона — голуби,
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе с голоса,
Как я люблю твои волосы
Душные, черноголу́бые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена.

Тени лица восхитительны —
Синие, черные, белые.
И на груди — удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло не мгновенное,
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное...

Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок зацелованный,
Мчится, о будущем знаючи,
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

Начало июня 1937

188.

Пароходик с петухами
Пó небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный —
Хочешь, повтори:
— Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы...

И, паяльных звуков море
В перебои взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных —
Вот чего боюсь —
Не позволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 1937

189.

СТАНСЫ

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка,
Но только — жизнь без укоризн:
Футбол — для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды,

О том, как вырвалось однажды:
— Я не отдам его! — и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним:

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен...

Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках —

Да, мне понятно превосходство
И сила женщины — ее

Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся — в бытие.

Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.

И материнская забота
Ее понятна мне — о том,
Чтоб ладилась моя работа
И крепла — на борьбу с врагом.

4—5 июля 1937

190.

На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь,—
грянь и двинь,—
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи —
Красота такая галочья
От индейского раджи, от раджи
Алексею, что ль, Михайлычу,—
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают по верхам, по верхам

Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные,
Косит ливень луг в дугу.

4 июля 1937

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

191.

Зане в садах Халатова-халифа
Дух бытия.
Кто не вкушал благоуханий ЗИФа —
И он, и я.

И для того, чтоб слово не затихло
Сих свистунов,
Уже качается на розе ГИХЛа —
В. Соловьев.

‹1930›

192.

Посреди огромных буйволов
Ходит маленький Мануйловов.

Декабрь 1930 (?)

193—202.

МОРГУЛЕТЫ

‹1›

Моргулис — он из Наркомпроса.
Он не турист и не естественник,
К истокам Тигра и Эфроса
Он знаменитый путешественник.

‹2›

Старик Моргулис зачастую
Ест яйца всмятку и вкрутую.
Его враги нахально врут,
Что сам Моргулис тоже крут.

‹3›

Я видел сон — мне бес его внушил,—
Моргулис смокинг Бубнову пошил.
Но тут виденья вдруг перевернулись,
И в смокинге Бубнова шел Моргулис.

‹4›

Старик Моргулис из Ростова
С рекомендацией Бубнова,
Друг Островера и Живова
И современник Козакова.

‹5›

Старик Моргулис на Востоке
Постиг истории истоки.
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

‹6›

У старика Моргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю: «За
Коммунистическое просвещенье»!

‹7›

Старик Моргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу ж я панихиду
За ЗКП его души.

‹8›

Звезды сияют ночью летней,
Марганец спит в сырой земле,
Но Моргулис тысячелетний
Марганца мне и звезд милей.

‹9›

Старик Моргулис — разумей-ка!—
Живет на Трубной у Семейки,
И, пядей будучи семи,
Живет с Семейкой без семьи.

‹10›

Старик Моргулис на бульваре
Нам пел Бетховена...

Начало 1930-х

203—204.

СТИХИ О ДОХЕ

‹1›

Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович:
Аж на Покровку она худого пустила жильца.
— Бабушка, шубе не быть,— вскричал запыхавшийся
внучек.—
Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху.

‹2›

Скажи-ка, бабушка,— хе-хе!—
И я сейчас к тебе приеду:
Явиться в смокинге к обеду
Или в узорчатой дохе?

1931

205—210.

‹СТИХИ К Ю.ВЕРМЕЛЮ›

‹1›

ЭПИГРАММА В ТЕРЦИНАХ

Есть на Большой Никитской некий дом —
Зоологическая камерилья,
К которой сопричастен был Вермéль.
Он ученик Барбея д'Оревильи.
И этот сноб, прославленный Барбéй,
Запечатлелся в Вермелевом скарбе
И причинил ему немало он скорбей.
Кто может знать, как одевался Бáрбий?
Ведь англичанина не спросит внук,
Как говорилось: «дерби» или «дарби»...
А Вермель влез в Барбеевый сюртук.

Весна 1931

‹2›

Ходит Вермель, тяжело дыша,
Ищет нежного зародыша.

Хорошо на книгу ложится
Человеческая кожица.

Снегом улицы заметены,
Люди в кожу переплетены —

Даже дети, даже женщины —
Как перчатки у военщины.

Дева-роза хочет дочь нести
С кожею особой прочности.

Душно... Вермель от эротики
Задохнулся в библиотеке.

Октябрь 1932

‹3›

Счастия в Москве отчаяв,
Едет в Гатчину Вермель.
Он почти что Чаадаев,
Но другая в жизни цель.

Он похитил из утробы
Милой братниной жены...
Вы подумайте: кого бы?
И на что они нужны?

Из племянниковой кожи
То-то выйдет переплет!
И, как девушку в прихожей,
Вермель черта ущипнет.

Октябрь 1932

‹4›

Как поехал Вермель в Дмитров,
Шляпу новую купил.
Ну не шляпа — прямо митра:
Вермель Дмитров удивил.
То-то в шляпе он устроил
Предкам форменный парад.
Шляпа — брешь в советском строе...
Без нее он брел назад.

‹5›

Спит безмятежно
Юрий Вермель.
Август. Бесснежно.
Впрочем, апрель.
В Дмитрове предок
Тризной почтен.
А напоследок —
В шляпе — мильтон.

‹6›

Вермель в Канте был подкован,
То есть был он, так сказать,
Безусловно окантован,
То есть Канта знал на ять.
В сюртуке, при черном банте,
Философ был — прямо во!
Вермель съел собаку в Канте,
Кант, собака, съел его.

211.

О.А.Овчинниковой

Не средиземною волной
И не вальпургиевой жабой,
Я нынче грежу сам не свой
Быть арестованною бабой.

Увы, на это я готов
Заране с выводами всеми,
Чтоб видеть вас в любое время
Под милицейский звон оков!

1932

212.

Павлу Васильеву

Мяукнул конь и кот заржал —
Казак еврею подражал.

‹1933?›

213.

Какой-то гражданин, наверное, попович,
Наевшися коммерческих хлебов,
— Благодарю,— воскликнул,— Каганович!—
И был таков.
Однако!

214.

Однажды из далекого кишла́ка
Пришел дехканин в кооператив,
Чтобы купить себе презерватив.
Откуда ни возьмись,— мулла-собака,
Его нахально вдруг опередив,
Купил товар и был таков.
Однако!

215.

Сулейману Стальскому

Там, где край был дик,
Там шумит арык,

Где шумел арык,
Там пасется бык,

А где пасся бык,
Там поет старик.

216.

‹А.В.Звенигородскому›

Звенигородский князь в четырнадцатом веке
В один присест съел семьдесят блинов,
А бедный князь Андрей и ныне нездоров...
Нам не уйти от пращуров опеки.

217.

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад,
Под тобою, как игумен,
Я гляжу староковат.

1932(?)

218.

СОНЕТ

Мне вспомнился старинный апокриф —
Марию Лев преследовал в пустыне
По той простой, по той святой причине,
Что был Иосиф долготерпелив.

Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне —
Затем, что ей людей не надо ныне,
А Лев — дитя — небесной манной жив.

А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, боже мой, блажна,
Ее пустыня так бедна песками,

Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа — мягче льна —
Кривыми оцарапана когтями.

‹1933-1934›

219.

‹М.С.Петровых›

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо, с головой трясущейся,
К народам СССР влекущейся,
И чтобы вы без всякого представительства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами —
Полурифмованными украинцами.

‹1933-1934›

220.

Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал
Послушать, как Эдип в колонне
С Нилендером маршировал.

‹1933-1934›

221.

Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьяный,
Но, может быть, в нетрезвом виде,—
Он
В квартире у себя установил орган.
Инстрýмент заревел. Толпа жильцов в обиде.
За управдомом шлют — тот гневом обуян,—
И тотчас вызванный им дворник Себастьян
Бах! бах! — машину смял, мошеннику дал в зубы.

Не в том беда, что Себастьян — грубьян,
А плохо то, что бах какой-то грубый...

Начало 1934

222.

Анне Ахматовой

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода...
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

1934

223.

На берегу эгейских вод
Живут архивяне. Народ
Довольно древний. Всем на диво
Поганый промысел его —
Продажа личного архива.
Священным трепетом листвы
И гнусным шелестом бумаги
Они питаются — увы!—
Неуважаемы и наги...
        Чего им нужно?

‹Весна› 1934

224.

‹В.Пясту›

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста.
Вижу: торчит из пальто семьдесят пятый отрыв.
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вожделею отнять около ста папирос.

‹Весна 1934›

225.

Не жеребенок хвостом махает!
Яша ребенок снова играет.
Яша, играйте лучше ребенка
И жеребенка перебрыкайте.

Весна 1934

226.

Один портной
С хорошей головой
    Приговорен был к высшей мере.
    И что ж?— портновской следуя манере,
С себя он мерку снял —
И до сих пор живой.

1 июня 1934

227.

Не надо римского мне купола
Или прекрасного далека.
Предпочитаю вид на Луппола
Под сенью Жан-Ришара Блока.

1934-1935

228.

Случайная небрежность иль ослышка
Вредны уму, как толстяку одышка.
Сейчас пример мы приведем:
    Один филолог,
    Беседуя с невеждою вдвоем,
    Употребил реченье «идиом».
И понадергали они друг другу челок!
Но виноват из двух друзей, конечно, тот,
Который услыхал оплошно: «идиот».

12 июня 1935

229.

Карлик-юноша, карлик-мимоза
С тонкой бровью — надменный и злой...
Он питается только Елозой
И яичною скорлупой.

Апрель 1936

230.

Источник слез замерз,
И весят пуд оковы
Обдуманных баллад
Сергея Рудакова.

‹1936›

231.

ПОДРАЖАНИЕ НОВОГРЕЧЕСКОМУ

Девочку в деве щадя, с объясненьями юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе*: люблю.

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо.

*(Найдено в архиве одной греческой старухи.
Перевел с новогреческого О.Мандельштам)*

‹1936-1937›

232—237.

‹СТИХИ К НАТАШЕ ШТЕМПЕЛЬ›

‹1›

Пришла Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила.
И чует мать, черна как ночь:
Вином и луком пахнет дочь.

‹2›

Если бы проведал бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы: ради бога,
Уберите педагога!

---

* В указанный момент юноше было 88 лет, а деве — 86 лет (примечание переводчика).

‹3›

— Наташа, как писать: «балда»?
— Когда идут на бал,— то: «да!»
— А «в полдень»? — Если день — то вместе,
А если ночь — то не скажу, по чести...

‹4›

Наташа, ах, как мне неловко,
Что я не Генрих Гейне:
К головке — переводчик ейный —
Я б рифму закатил: плутовка.

‹5›

Наташа, ах, как мне неловко!
На Загоровского, на маму —
То бишь на божию коровку
Заказывает эпиграмму!

‹1936-1937›

‹6›

Наташа спит. Зефир летает
Вкруг гофрированных волос.
Для девушки, как всякий знает,
Сон утренний, источник слез,
Головомойку означает,
Но волосы ей осушает
Какой-то мощный пылесос,
И перманентно иссякает —
И вновь кипит источник слез.

24 февраля 1937

238.

Искусств приличных хоровода
Вадим Покровский не спугнет:
Под руководством куровода,—
За Стоичевым год от года
Настойчивей кроликовод.

24 февраля 1937

239.

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна — И.Т.Р.
Эфир, Эсфирь, Элеонора —
Дух кисло-сладкий двух мегер.

24 февраля 1937

240.

Эта книга украдена
Трошею в СХИ,
И резинкою Вадиной
Для Наташи она омоложена,
И ей дадена
В день посещения дядина.

‹1937›

241.

РЕШЕНЬЕ

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны покупал пирамидон,—
    Купаясь в Ниле с ней или в храм и́дя,
    Иль ужиная летом в пирамиде:
    Для донны пирамид — пирамидон.

Март(?) 1937

ПЕРЕВОДЫ

Из итальянской поэзии

НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСЕНКИ

242.

I

Правлю я с честью
Трудное дело;
Вольно и смело
Дышит рыбак.

Невода петли
Крепко связала,
Заколдовала
Жажда любви.

Радуги арка
Ярко зажглась,
Милой в подарок
Рыба нашлась.

Ах, как увертлива
Нелла-рыбачка,
Неуловима
Нелла-волна.

II

На поворотах
Лодка послушна,
Твердо направлен
Легкий разбег.

Хочешь на веслах,
Хочешь под парус,
Неукротимый
Плавает челн.

В омуте синем
Розовый бал,
Лишь бы почина
Я не проспал.

Ах, как увертлива
Нелла-рыбачка,
Неуловима
Нелла-волна.

III

Плавится в небе
Медленный полдень,
В солнечных стрелах
Искрится зыбь.

Вечером весла
Тяжесть теряют,
Дремлет Кияйя,
Спит Позилипп.

Падают звезды,
Море шумит,
Весь чешуею
Невод кипит.

Ах, как увертлива
Нелла-рыбачка,
Неуловима
Нелла-волна.

IV

Я снаряжаю
Длинную лесу
Хитрой приманкой,
Цепким крючком.

Рыбы глотают
Воздух подводный,
Жабрами дышат,
Бьют плавники.

И просияет
Бедный рыбак.
Чудо! Удача!
Рыба-судьба!

Ах, как увертлива
Нелла-рыбачка,
Неуловима
Нелла-волна.

V

Я пробегаю
Взморья лазорье,
Якорь кидаю
В темной воде.

Море синее
Неба в апреле,
Нежной макрели
Нету нигде.

Трудно рыбачить,—
Сердце, не плачь,
Близится время
Новых удач.

Ах, как увертлива
Нелла-рыбачка,
Неуловима
Нелла-волна.

6–840

243.

НИНА ИЗ СОРРЕНТО

I

На гулянье в Пьедихотта
Посмотреть она решилась.
Ты явилась в лучшем платье,
Мое счастье и проклятье.
Как послушна маме дочка —
Вся в оборочках, в кружочках.
Из Сорренто эта лента,
Эти черные глаза.
— Здравствуй, Нина из Сорренто,—
Повторяют голоса.

2

Закатился свет удачи,
Крови нет в моем загаре.
Спотыкаюсь, как незрячий,
Не играю на гитаре.
Нет, не ветер, сердца ярость
Раздувает скромный парус.
Не берет меня пучина —
Солоней слеза моя.
А в Сорренто злая Нина
Ускользает от меня.

3

А когда залив спокоен,
Я боюсь его прогневать:
Под затишье роковое
Я с кормы гляжу на невод.
И в прозрачности зеленой,

И в пучине разъяренной —
Черных кружев паутина,
Лента красная плывет.
А в Сорренто злая Нина
Не узнает, не поймет.

4

В пестрой ракушке улитка
Равнодушна поневоле.
Глухи розовые уши.
Не дождусь счастливой доли.
Закружился мрак воздушный,
Гонит тучи ветер южный.
Содрогается пучина,
Опрокинулась ладья.
А в Сорренто злая Нина
Уверяет: я ничья.

244.

КАНАТЕЛЛА

I

Умоляю, Канателла,
Чернобровая, будь скромней!
Мне смертельно надоела
Толчея молодых людей.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

2

Веер карт различной масти —
Вереница разных лиц.
Нет спасенья от напасти:
Слишком много в клетке птиц.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

3

Ты притопнешь, вскинешь бровью:
Что случилось? Пустяки!
Я терпенье длил воловье,
Ревность сжала мне виски.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

4

Сговоримся, друг мятежный,
Жемчуг мой, мой острый нож:
Отточи свой выбор нежный —
Иль на кровь меня толкнешь.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

ПРОЗА

1930–1937

245.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

1

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью вифлеемского волхва и одесского Ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно малых. Закон спасения Веньямин Федорович видел в черепаших темпах.

Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом задерживал опасное развитие болезни.

Наличность профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывала всеобщее удовлетворение.

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его — Исая Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним — Исаем Бенедиктовичем.

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исая Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербуржские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исая к Анатолю Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготовляя себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исай Бенедиктович был хорош только в начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его обратно в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, ближе к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

2

Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит,— и старые девы — гнусные жа-

бы — подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь!

3

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех.

Кто эта безмужница? — Легкая кавалерия.

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут,— таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у ней укороченная, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч сватается. Филипп Филиппыч не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру,— с парным для него из той же бани нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия: январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было 12 пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзины и за то, что я не профессор.

Днем и ночью я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москвы-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки, прямо на улице, из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на новую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено
Все ущелье стоном сокола,—

вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей?— ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка.

6

У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много — и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жиллет.

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет, как трава осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы жиллет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец — никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян — муравьиный нарком из страны армянской — этой младшей сестры земли иудейской.

Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома.

Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан.

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его к секретарям в армянский особняк на самой чистой посольской улице Москвы.

Я чуть не поехал в Эривань, с командировкой от древнего Наркомпроса, читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий.

Если б я поехал в Эривань, три дня и две ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал в дороге самую лучшую книжку Зощенки, и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел

на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...Не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки,— сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала псякровь, стала — все-терпимость...

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же смешно, как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и что он в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из «Уленшпигеля»:

«Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете мук сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить!— крупные слезы наворачиваются на глаза. Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему руку.

Дяденька Горнфельд! Зачем ты пошел жаловаться в «Биржовку» в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом.

10

Есть одна секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта беляночка — настоящая правда — с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она другая правда — та жестокая партийная девственница — Правда-Партия.

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжелобольного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите мне занести в протокол. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу! Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего

процесса! Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, «Вечную память», вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка!
Где же твоя мамочка?
Черная оспа
Пошла от Фоспа.
Твоя мама окривела,
Мертвой ниткой шьется дело.

Александр Иваныч Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность...

Александр Иваныч! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться...

12

На таком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намеренье совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немытых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно силясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски — «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший — сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне.

In mezzo del cammin del nostra vita — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе — она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, я — едва не задох-

нувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа — навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебреников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романес с Тверского бульвара! Мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, протоколах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно — звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому любопытно подчас, что это я все не так делаю: что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут: другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени.

Я виноват, двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиваньем спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас как ни в чем не бывало снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы. В карманах — дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-треть-

их, я подписал с Вельзевулом или Гизом грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, отрыгнуть в четверном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немыслимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая честь! Хоть бы раз Иван Мойсеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак... Французику — шер мэтр — дорогой учитель, а мне — Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я — стареющий человек — огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало, все им мало. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была — я же в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку! Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек заместо свечечек...

16

Сколько бы я ни трудился, если б я носил на спине лошадей, если б я крутил мельничьи жернова,— все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, прокóлы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет. Он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для

Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда Гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое — один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец шарманщик с шубертовским лееркастеном — такой неудачник, такой шаромыжник...

Спи, моя милая... Эм-эс-пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека...

Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает — ветер носит.

1930

246.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ

СЕВАН

На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших вшивых отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонтом монастырских общежитий.

Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотоле спокойную известковую воду сначала ду-

рашливую зыбь, потом птичье кипение и, наконец, буйную ладожскую дурь.

Тогда нельзя было отказать себе в удовольствии отмерять триста шагов по узкой тропинке пляжа насупротив мрачного Гюнейского берега.

Здесь Гокча образует пролив раз в пять шире Невы. Великолепный пресный ветер со свистом врывался в легкие. Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гутенберговскую Библию под тяжко насупленным небом.

Не менее семидесяти процентов населения острова составляли дети. Они, как зверьки, лазили по гробницам монахов, то бомбардировали мирную корягу, приняв ее студеные судороги на дне за корчи морского змея, то приносили из влажных трущоб буржуазных жаб и ужей с ювелирными женскими головками, то гоняли взад и вперед обезумевшего барана, который никак не мог понять, кому мешает его бедное тело, и тряс нагулянным на привольи курдюком.

Рослые степные травы на подветренном горбу Севанского острова были так сильны, сочны и самоуверенны, что их хотелось расчесать железным гребнем.

Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями — остатками богомольных пикников окрестного люда.

Кроме того, он буквально вымощен огненно-рыжими плитами безымянных могил — торчащими, расшатанными и крошащимися.

В самом начале моего пребывания пришло известие, что каменщики на длинной и узкой косе Самакаперта, роя яму под фундамент для маяка, наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в Эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа.

Рано утром я был разбужен стрекотанием мотора. Звук топтался на месте. Двое механиков разогревали крошечное сердце припадочного двигателя, поливая его мазутом. Но, едва налаживаясь, скороговорка — что-то вроде «не пито — не едено, не пито — не едено» — угасала и таяла в воде.

Профессор Хачатурьян, с лицом, обтянутым орлиной кожей, под которой все мускулы и связки выступали, перену-

мерованные и с латинскими названиями,— уже прохаживался по пристани в длинном черном сюртуке османского покроя. Не только археолог, но и педагог по призванию, большую часть своей деятельности он провел директором средней школы — армянской гимназии в Карсе. Приглашенный на кафедру в советскую Эривань, он перенес сюда и свою преданность индоевропейской теории, и глухую вражду к яфетическим выдумкам Марра, а также поразительное незнание русского языка и России, где никогда не бывал.

Разговорившись кой-как по-немецки, мы сели в баркас с товарищем Кариньяном — бывшим председателем армянского ЦИКа.

Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на бездействие, курение папирос и столь невеселую трату времени, как чтение напостовской литературы, с видимым трудом отвыкал от своих официальных обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на его румяных щеках.

Мотор бормотал «не пито — не едено», словно рапортуя т. Кариньяну, островок быстро отбежал назад, выпрямив свою медвежью спину с осьмигранниками монастырей. Баркас провожала мошкара, и мы плыли в ней, как в кисее, по утреннему кисельному озеру.

В яме нами были действительно обнаружены и глиняные черепки, и человеческие кости, но, кроме того, был найден черенок ножа с клеймом старинной русской фабрики N.N.

Впрочем, я с уважением завернул в свой носовой платок пористую известковую корочку от чьей-то черепной коробки.

Жизнь на всяком острове,— будь то Мальта, Святая Елена или Мадера,— протекает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее друг к другу, чем на большой земле, с ее широкопалыми дорогами и отрицательной свободой.

Ушная раковина истончается и получает новый завиток.

На Севане подобралась, на мое счастье, целая галерея умных и породистых стариков — почтенный краевед Иван Яковлевич Сагателян, уже упомянутый археолог Хачатурьян, наконец, жизнерадостный химик Гамбаров. Я предпочитал их спокойное общество и густые кофейные речи плоским разговорам молодежи, которые, как всюду в мире, вращались вокруг экзаменов и физкультуры.

Химик Гамбаров говорит по-армянски с московским акцентом. Он весело и охотно обрусел. У него молодое сердце и сухое поджарое тело. Физически это приятнейший человек и прекрасный товарищ в играх.

Был он помазан каким-то военным елеем, словно только что вернулся из полковой церкви, что, впрочем, ничего не доказывает и бывает иной раз с превосходными советскими людьми.

С женщинами — он рыцарственный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании — враг колкостей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик из франкской земли.

Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбачьей сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью.

Что сказать о севанском климате?

— Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Стеклянная палочка дачного градусника бережно передавалась из рук в руки.

Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских материй. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои узкие язычки, высовывая их на секунду ломтиками медвежьего мяса...

Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно переставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.

Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки.

Однажды, соревнуясь с комсомольцем X., Гамбаров затеял обогнуть вплавь всю тушу Севанского острова. Шестидесятилетнее сердце не выдержало, и, сам обессилевший, X. вынужден был покинуть товарища, вернулся к старту и полуживой выбросился на гальку. Свидетелями несчастья были вулканические стены островного кремля, исключавшие всякую мысль о причале...

То-то поднялась тревога. Шлюпки на Севане не оказалось, хотя ордер на нее был уже выписан.

Люди заметались по острову, гордые сознанием непопра-

вимого несчастья. Непрочитанная газета загремела жестью в руках. Остров затошнило, как беременную женщину.

У нас не было ни телефона, ни голубиной почты для сообщения с берегом. Баркас отошел в Еленовку часа два назад, и — как ни напрягай ухо — не слышно было даже стрекотания на воде.

Когда экспедиция во главе с товарищем Кариньяном, имея с собой одеяло, бутылку коньяку и все прочее, привезла окоченевшего, но улыбающегося Гамбарова, подобранного на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплескания, какие мне приходилось слышать в жизни: человека приветствовали за то, что он еще не труп.

На рыбной пристани Норадуза, куда нас возили на экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорового пения, меня поразил струг совершенно готовой барки, вздернутой в сыром виде на дыбу верфи. Размером он был с доброго троянского коня, а свежими музыкальными пропорциями напоминал коробку бандуры.

Кругом курчавились стружки. Землю разъедала соль, а чешуйки рыбы подмигивали пластиночками кварца.

В кооперативной столовой, такой же бревенчатой и — минхерц-петровской, как и все в Норадузе, кормили вповалку густыми артельными щами из баранины.

Рабочие заметили, что у нас нет с собой вина, и, как подобает настоящим хозяевам, наполнили наши стаканы.

Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы недостойны говорить, а должны лишь чураться в нашей немощи —

вода по-армянски — джур,
деревня — гьюх.

Никогда не забуду Арнольди.

Он припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его походке.

Ученое начальство острова проживало на шоссе в молоканской Еленовке, где в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды великаньих форелей.

Уж эти гости!

Их приносила на Севан быстрая, как телеграмма, американская яхта, ланцетом взрезавшая воду,— и Арнольди вступал на берег — грозой от науки, Тамерланом добродушия.

У меня создалось впечатление, что на Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтобы с ним покумекать, он и высаживался на остров.

Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь. Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Звардноца в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?

Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел.

АШОТ ОВАНЕСЬЯН

Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть подальше промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.

Воздух на набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.

Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала также, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания.

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ.

Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер.

Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи...

Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые, с выхвалью, пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово — это работа. Голова товарища Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмурь его очей стоила улыбки.

Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов...

Голова по-армянски: глух', с коротким придыханием после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста.

Видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота.

Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...

МОСКВА

Незадолго перед тем, роясь под лестницей грязно-розового особняка на Якиманке, я разыскал оборванную книжку Синьяка в защиту импрессионизма. Автор изъяснял «закон оптической смеси», прославлял работу мазками и внушал важность употребления одних чистых красок спектра.

Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. То и дело он обращался к его

«Путешествию в Марокко», словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря, к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...

Мне показалось, будто я сменил копытообразную и пропыленную городскую обувь на легкие мусульманские чувяки.

За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь.

К тому же легкость вторглась в мою жизнь, как всегда сухую и беспорядочную и представляющуюся мне щекочущим ожиданием какой-то беспроигрышной лотереи, где я могу вынуть все, что угодно: кусок земляничного мыла, сидение в архиве в палатах первопечатника или вожделенное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры — молодой белокурый юрисконсульт — врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

Должно быть, величайшая дерзость — беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам.

Мне кажется, это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу.

Саламандра ничего не подозревает о черном и желтом крапе на ее спине. Ей невдомек, что эти пятна располагаются двумя цепочками или же сливаются в одну сплошную дорожку, в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной оклейки террария.

Но мыслящая саламандра — человек — угадывает погоду завтрашнего дня,— лишь бы самому определить свою расцветку.

Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло».

Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне.

И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины.

Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде.

Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смирных и понятливых.

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опоило ливнями,— что гром, что бром — им было безразлично.

Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров.

Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодушным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора.

Я подозвал жену:

— Смотри, сейчас оно упадет.

Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой,— казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

14. 4

возвращена. Замечу в скобках, как скучное и само собой разумеющееся, что уклад жизни Бориса Сергеевича мне известен, что круг его деятельности и интересов только по домашним ~~внешним~~ признакам и научной специфике разнится от моего. У меня всегда было о нем дурное предчувствие, но там где другой сказал бы о нем „~~пропащий~~" я хочу сказать — как бы внешне не обернулось для него — он сейчас начинает и начинает хорошо. У меня отняли моего собеседника, мое второе я, человека которого я мог и имел время убеждать, что в революции есть и энтелехия и виталистическое буйство и роскошь живой природы

Осип Мандельштам. Письмо к М. Шагинян от 5 апреля 1933 г. Копия рукой Н. Мандельштам. Фрагмент. Архив М. Шагинян

Наконец ему накинули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей ложнице. Еще мгновение — и к поверженному истукану подбежали дети.

В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.

Выбор университета остановился на Б.С.Кузине, хорошо образованном молодом зоологе. Б.С. проживал со старушкой матерью на Б. Якиманке, состоял в профсоюзе, перед каждым встречным и поперечным из гордости вытягивался в струнку и выделял из всей академической среды старика Сергеева, который собственноручно смастерил и приладил все высокие красные шкапы зоологической библиотеки и, проведя ладонью, с закрытыми глазами, безошибочно называл породу уже обделанной древесины — будь то дуб, ясень или сосна.

Б.С. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийцы — профессора Каммерера и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвивающуюся кверху, как готический фейерверк.

Кузин был довольно опытным путешественником в масштабе СССР. И в Бухаре, и в Ташкенте мелькала его лагерная гимнастерка и раздавался заразительный военный смех. Повсюду он сеял друзей. Не так давно один мулла — святой человек, похороненный на горе,— прислал ему формальное извещение о своей кончине на чистом фарсидском языке. По мнению муллы, славный и ученый молодой человек, исчерпав запас здоровья и наплодив достаточно детей,— но не раньше,— должен был с ним соединиться.

Слава живущему! Всякий труд почтенен!

В Армению Кузин собирался нехотя. Все бегал за мешками и ведрами для сбора кошенили и жаловался на хитрость чиновников, не выдававших ему тары.

Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы,— есть в проводах зловеще-свадебное оживление.

То и дело хлопала наружная дверь, и с мышиной якиманской лестницы прибывали гости обоего пола: ученики советских авиационных школ — беспечные конькобежцы воздуха, сотрудники дальних ботанических станций, специалисты по горным озерам, люди, побывавшие на Памире и в Западном Китае и просто молодые люди.

Началось разливание по рюмкам виноградных московских вин, милое отнекивание женщин и девушек, брызнул сок помидоров и бестолковый общий говор: об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову, о ташкентской дороговизне, о дяде Саше и его гриппе, о чем угодно...

Кто-то рассказывал, что внизу на Якиманке разлегся бронзовый инвалид, который тут и живет, пьет водку, читает газеты, дуется в кости, а на ночь снимает деревянную ногу и спит на ней, как на подушке.

Другой сравнивал якиманского Диогена с феодальной японкой, третий кричал, что Япония — страна шпионов и велосипедистов.

Предмет беседы весело ускользал, словно кольцо, передаваемое за спиной, и шахматный ход коня, всегда уводящий в сторону, был владыкой застольного разговора...

Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и неравнодушна к сое, к хлопку или хондрилле.

А на столе роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении.

В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они убеждали меня. В их скор-

лупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь.

А на подмосковных дачах мне почти не приходилось бывать. Ведь не считать же автомобильные поездки в Узкое по Смоленскому шоссе, мимо толстобрюхих бревенчатых изб, где капустные заготовки огородников как ядра с зелеными фитилями. Эти бледно-зеленые капустные бомбы, нагроможденные в безбожном изобилии, отдаленно мне напоминали пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.

Теперь не то, но перелом пришел, пожалуй, слишком поздно.

Еще в прошлом году на острове Севане, в Армении, гуляя в высокой поясной траве, я восхищался безбожным горением маков. Яркие до хирургической боли, какие-то лжекотильонные знаки, большие, слишком большие для нашей планеты, несгораемые полоротые мотыльки, они росли на противных волосатых стеблях.

Я позавидовал детям. Они ретиво охотились за маковыми крыльями в траве. Нагнулся раз, нагнулся другой... Уже в руках огонь, словно кузнец одолжил меня углями.

Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники.

На высоте немногих сот футов над уровнем моря невзрослые леса одевали все холмогорье. Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, подготовляя луночки для ботанической рассады.

То-то я обрадовался коралловым деньгам северного лета. Спелые железистые ягоды висели трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам.

Итак, Б.С., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне последовать за вами. Я надеюсь, они изменятся.

Вы остановитесь на улице Спандарьяна, 92, у милейших людей — Тер-Оганьянов. Помните, как было? Я бежал к вам «по Спандарьяну», глотая едкую строительную пыль, которой славится молодая Эривань. Еще мне были любы и новы шероховатости, шершавости и торжественности отремонтированной до морщин Араратской долины, город, как будто весь развороченный боговдохновенными водопроводчиками, и большеротые люди, с глазами, просверленными прямо из черепа,— армяне.

Мимо сухих водокачек, мимо консерватории, где в подвальчике разучивали квартет и откуда слышался сердитый голос профессора: «падайте! падайте!»— то есть дайте нисходящее движение в адажио,— к вашей подворотне.

Не ворота, а длинный прохладный туннель, прорубленный в дедовском доме, и в него, как в зрительную трубу, брезжил дворик с зеленью такой не по сезону тусклой, как будто ее выжгли серной кислотой.

Кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски — и все это опресноки. Такова Армения.

На балкончике вы показали мне персидский пенал, крытый лаковой живописью цвета запекшейся с золотом крови. Он был обидно пустой. Мне захотелось понюхать его почтенные затхлые стенки, служившие сардарскому правосудию и моментальному составлению приговоров о выкалывании глаз.

Затем, снова уйдя в ореховый сумрак квартиры Тер-Оганьянов, вы возвратились с пробиркой и показали мне кошениль. Красно-бурые горошины лежали на ветке.

Эту пробу вы взяли из татарской деревни Сарванлар, верстах в двадцати от Эривани. Оттуда хорошо виден отец Арарат, и в сухой пограничной атмосфере невольно чувствуешь себя контрабандистом. И, смеясь, вы мне рассказывали, какая есть в Сарванларе в дружественной вам татарской семье отличная девчурочка-обжорка... Ее хитренькое личико всегда обмазано кислым молоком и пальчики лоснятся от бараньего жира... Во время обеда вы, отнюдь не страдая изжогой брезгливости, все же откладывали для себя потихоньку лист лаваша, потому что обжорка ставила ножки на хлеб, как на скамеечку.

Я смотрел, как сдвигалась и раздвигалась гармоника басурманских морщинок у вас на лбу — пожалуй, самое одухотворенное в вашем физическом облике. Эти морщинки, как будто натертые барашковой шапкой, реагировали на каждую значительную фразу, и они гуляли на лбу ходуном, хорохором и ходором. Было в вас что-то, мой друг, годуновско-татарское.

Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных, нескладных рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора.

Есть у Гете в «Вильгельме Мейстере» человечек по имени Ярно: насмешник и естествоиспытатель. Он по неделям скрывается в латифундиях образцово-показательного мира, ночует в башенных комнатах на захолодавших простынях и выходит к обеду из глубин благонамеренного замка.

Этот Ярно был членом своеобразного ордена, учрежденного крупным помещиком Леотаром — для воспитания современников в духе второй части «Фауста». Общество имело широкую агентурную — вплоть до Америки — сеть, организацию, близкую к иезуитской. Велись тайные кондуитные списки, протягивались щупальца, улавливались люди.

Именно Ярно поручено было наблюдение за Мейстером.

Вильгельм путешествовал с мальчуганом Феликсом, сыном несчастной Марианны. Жить в одном месте свыше трех суток запрещалось параграфом искуса. Румяный Феликс — розовое дидактическое дитя — гербаризировал, восклицал: «Sag mir, Vater»[1],— поминутно вопрошал отца, отламывая куски горных пород, и заводил знакомства-однодневки.

У Гете вообще очень скучные, благонравные дети. Дети в изображении Гете — это маленькие Эроты любознательности с колчаном метких вопросов за плечами...

И вот Мейстер в горах встречается с Ярно.

Ярно буквально вырывает из рук Мейстера его трехдневную путевку. Позади и впереди у них годы разлуки. Тем лучше! Тем звучнее эхо для лекции геолога в лесном университете.

Вот почему теплый свет, излучаемый устным поучением, ясная дидактика дружеской беседы намного превосходит вразумляющее и поучающее действие книг.

Я с благодарностью вспоминаю один из эриванских разговоров, которые вот сейчас, спустя какой-нибудь год, уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают достоверностью, помогающей нам ощущать самих себя в предании.

Речь зашла о «теории эмбрионального поля», предложенной профессором Гурвичем.

Зачаточный лист настурции имеет форму алебарды или двухстворчатой удлиненной сумочки, переходящей в язычок. Он похож также на кремневую стрелу из палеолита. Но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку.

---

[1] Скажи мне, отец *(нем.)*.

7-840

Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжьте эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины, соедините их между собой, и получится выпуклость.

В дальнейшем силовое поле резко меняет свою игру и гонит форму к геометрическому пределу, к многоугольнику.

Растение — это звук, извлеченный палочкой терменвокса, воркующий в перенасыщенной волновыми процессами сфере. Оно — посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании,— в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растение в мире — это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!

Еще недавно, Борис Сергеевич, один писатель[1] принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом или старался по мере греховных сил им быть.

Мне кажется, ему уготовано место в седьмом кругу дантовского ада, где вырос кровоточащий терновник. И когда какой-нибудь турист из любопытства отломит веточку этого самоубийцы, он взмолится человеческим голосом, как Пьетро де Винеа: «Не тронь! Ты причинил мне боль! Иль жалости ты в сердце не имеешь? Мы были люди, а теперь деревья...»

И капнет капля черной крови...

Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему листа настурции? Наконец вспыхнула фраза: «Мировая скорость стручка лопающейся настурции».

Кому не знакома зависть к шахматным игрокам? Вы чувствуете в комнате своеобразное поле отчуждения, струящее враждебный к неучастникам холодок.

А ведь эти персидские коники из слоновой кости погружены в раствор силы. С ними происходит то же, что с настурцией московского биолога Е.С.Смирнова и с эмбриональным полем профессора Гурвича.

Угроза смещения тяготеет над каждой фигуркой во все время игры, во все грозовое явление турнира. Доска пучится от напряженного внимания. Фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации, как волнушки-грибы в бабье лето.

Задача разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой импрессионистской среде в храме воздуха и света и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ.

---

[1] М.Э.Козаков. *(Примеч. О.Э.Мандельштама).*

Правда ли, что наша кровь излучает митогенетические лучи, пойманные немцами на звуковую пластинку, лучи, способствующие, как мне передавали, усиленному делению ткани?

Все мы, сами о том не подозревая, являемся носителями громадного эмбриологического опыта: ведь процесс узнавания, увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста. И здесь и там — росток, зачаток и — черточка лица или полухарактера, полузвук, окончание имени, что-то губное или нёбное, сладкая горошина на языке,— развивается не из себя, но лишь отвечает на приглашение, лишь вытягивается, оправдывая ожидание.

Этими запоздалыми рассуждениями, Б.С., я надеюсь хотя бы отчасти вас вознаградить за то, что мешал вам в Эривани играть в шахматы.

СУХУМ

В начале апреля я приехал в Сухум — город траура, табака и душистых растительных масел. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа — здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами.

Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку «апсны» — хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы. Уже сейчас молодые люди читают Пушкина на эсперанто. Каждому — свое! Но какое грозное предостережение!..

Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского или с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью.

Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся.

Хотя в общественной жизни Абхазии есть много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым совхозом на Новом Афоне и высоким качеством ткварчельского угля.

Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечнозеленую гору... Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как шестипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы.

Подвойский произносил нагорные проповеди о вреде курения и отечески журил садовников. Однажды он задал мне глубоко поразивший меня вопрос:

— Каково было настроение мелкой буржуазии в Киеве в 19-м году?

Мне кажется, его мечтой было процитировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии.

В двадцативерстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности.

Тема: бег к морю пологих вулканических холмов, соединенных цепочкой — для пешехода.

Вариации: зеленый ключик высоты передается от вершины к вершине и каждая новая гряда запирает лощину на замок.

Спустились к немцам — в «дорф», в котловину, и были густо облаяны овчарками.

....

Я был в гостях у Гулиа — президента Абхазской академии наук и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костекальда.

Чудесная провансальская фигура!

Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском гаере Евреинове, который увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на недоступность серьезных научных исследований ввиду отдаленности Тифлиса.

Твердолобый перестук биллиардных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костяных вязаль-

ных спиц. Разбойник кий разорял пирамиду, и четверо эпических молодцов из армии Блюхера, схожие, как братья, дежурные, четкие, с бульбой смеха в груди — находили аховую прелесть в игре.

И старики партийцы от них не отставали.

С балкона ясно видна в военный бинокль дорожка и трибуна на болотном маневренном лугу цвета биллиардного сукна. Раз в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя.

Родичи, разбросанные по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам.

На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом Тэта.

И как-то я увидел пляску смерти — брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попыхивают огоньки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие.

Черт знает куда их заносило!

Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются, вычерчивают, пожирают черное чтиво настоящей минуты.

Наше плотное тяжелое тело истлеет точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. [Да поможет нам кисть, резец и голос и его союзник — глаз.]

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!

Безыменский, силач, подымающий картонные гири, кругологоловый, незлобивый чернильный купец, нет, не купец, а продавец птиц,— и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа,— он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазием.

Неистощимый оперный репертуар клокотал в его горле. Концертно-садовая, боржомная бодрость никогда его не покидала. Байбак с мандолиной в душе, он жил на струне романса, и сердцевина его пела под иглой граммофона.

Тут я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.

Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку — на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка.

И я начинал понимать, что такое обязательность цвета — азарт голубых и оранжевых маек — и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.

Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкапчика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума.

Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять — катышки желтоватого сливочного мороженого.

Зато я невзлюбил Матисса, художника богачей. Красная краска его холстов шипит содой. Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зрения, но бычью силу ему придает, так что глаз наливается кровью.

Уж эти мне ковровые шахматы и одалиски!

Шахские прихоти парижского мэтра!

Дешевые овощные краски Ван-Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су.

Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся как желоб в электрическом бешенстве. И узкое корыто биллиарда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видел такого лающего колорита.

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия — карты из школы Берлица.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.

Синьяк придумал кукурузное солнце.

Объяснительница картин ведет за собой культурников. Посмотришь — и скажешь: магнит притягивает утку.

Озенфан сработал нечто удивительное — красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне,— модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды.

А еще вам кланяется синий еврей Пикассо и серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах.

Но не довольно ли?

В дверях уже скучает обобщение.

Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины.

Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам...

Прогулочным шагом, как по бульвару,— насквозь!

Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.

Спокойно, не горячась — как татарчата купают в Алуште лошадей,— погружайте глаз в новую для него материальную среду — и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.

Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации,— все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.

Когда это равновесие достигнуто — и только тогда — начинайте второй этап реставрации картины, ее отмывания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.

Тончайшими кислотными реакциями глаз — орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой,— поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.

Материал живописи организован беспроигрышно, и в этом его отличие от натуры. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.

А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны.

Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу. И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину — очная ставка с замыслом.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный, почтительный. Оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в ридикюль.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок,— и все это — отдаленное и липовое — было напихано в веревочную сетку.

ВОКРУГ НАТУРАЛИСТОВ

Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках. Вы думаете, он так же мирился с эволюцией, как научные дикари XIX века? А по-моему, стыд за природу ожег смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов.

Вперед! Aux armes![1] Смоем с себя бесчестие эволюции.

Чтение натуралистов-систематиков (Линнея, Бюффона, Палласа) прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Россия в изображении замечательного натуралиста Палла-

---

[1] К оружию! *(фр.)*.

са: бабы гонят краску мариону из квасцов с березовыми листьями, липовая кора сама сдирается на лыки, заплетается в лапти и лукошки. Мужики употребляют густую нефть как лекарственное масло. Чувашки звякают болоболочками в косах.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта — тот ни черта не поймет в Палласе.

Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. Белыми руками концертмейстера он собирает российские грибы. Сырая замша, гнилой бархат, а разломаешь — внутри лазурь.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта — тот ничего не поймет в Палласе.

Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпанная и, кажется, запретная тема. Из всего материального, из всех физических тел книга — предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Будучи всецело охвачены деятельностью чтения, мы любуемся главным образом своими родовыми свойствами, испытываем как бы восторг перед классификацией своих возрастов.

Но если Линней, Бюффон и Паллас окрасили мою зрелость, то я благодарю кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

В зоологическом музее:

Кап... кап... кап...

— кот наплакал эмпирического опыта.

Да заверните же, наконец, кран!

Довольно!

Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пиквик. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Он непреднамеренный юморист. Ему присущ (сопутствует) юмор ситуации.

Но разве добродушие — метод творческого познания и достойный способ жизнеощущения?

В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия — ад для человека.

Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильная, развитая в лодочку. Головка незначительная, кошачья.

Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побывал и в Чесме, и при Трафальгаре.

И вдруг я поймал себя на диком желании взглянуть на природу нарисованными глазами этого чудовища.

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда.

Ламарк выплакал глаза в лупу. В естествознании он — единственная шекспировская фигура.

Смотрите, этот раскрасневшийся полупочтенный старец сбегает вниз по лестнице живых существ, как молодой человек, обласканный министром на аудиенции или осчастливленный любовницей.

Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма как результат изменчивости внешней среды. Это было бы уже чересчур большой наглостью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функции выражаются в известной благосклонности, которая постепенно и непрерывно погашается суровостью, связывающей живое тело и награждающей его смертью.

Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма — приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов.

Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий.

У Ламарка басенные звери. Они приспосабливаются к условиям жизни по Лафонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда, асимметричное и симметрическое строение глаз у некоторых рыб.

Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализующие рассудительные звери были прекрасным живым материалом для эволюции. Они уже разверстали между собой ее мандаты.

Парнокопытный разум млекопитающих одевает их пальцы закругленным рогом.

Кенгуру передвигается логическими скачками.

Это сумчатое в описании Ламарка состоит из слабых, то есть примирившихся со своей ненужностью, передних ног, из сильно развитых, то есть убежденных в своей важности, задних конечностей и мощного тезиса, именуемого хвостом.

Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова, то бишь Ламарка-Лафонтена. Найдя себе убежище в Люксембургском саду, она обросла мячами и воланами.

А я люблю, когда Ламарк изволит гневаться и вдребезги разбивается вся эта швейцарская педагогическая скука. В понятие природы врывается марсельеза!

Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов.

Но внутреннее ощущение, порожденное гневом, направляет к лобному отростку «флюиды», способствующие образованию рогового и костяного вещества.

Снимаю шляпу. Пропускаю учителя вперед. Да не умолкнет юношеский гром его красноречия!

«Еще» и «уже» — две светящиеся точки ламарковской мысли, живчики эволюционной славы и светописи, сигнальщики и застрельщики формообразования.

Он был из породы старых настройщиков, которые бренчат костлявыми пальцами в чужих хоромах. Ему разрешались лишь хроматические крючки и детские арпеджио.

Наполеон позволял ему настраивать природу, потому что считал ее императорской собственностью.

В зоологических описаниях Линнея нельзя не отметить преемственной связи и некоторой зависимости от ярмарочного зверинца. Владелец странствующего балагана или наемный шарлатан-объяснитель стремится показать товар лицом. Эти зазывалы-объяснители меньше всего думали о том, что им придется сыграть некоторую роль в происхождении стиля классического естествознания. Они врали напропалую, мололи чушь на голодный желудок, но при этом сами увлекались своим искусством. Их вывозила нелегкая кривая, а также профессиональный опыт и прочная традиция ремесла.

Линней ребенком в маленькой Упсале не мог не посещать ярмарок, не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце. Как и все мальчишки, он млел и таял перед ученым детиной в ботфортах и с хлыстом, перед доктором баснословной зоологии, который расхваливал пуму, размахивая огромными красными кулачищами.

Сближая важные творения шведского натуралиста с красноречием базарного говоруна, я отнюдь не намерен принизить Линнея. Я хочу лишь напомнить, что натуралист — профессиональный рассказчик, публичный демонстратор новых интересных видов.

Раскрашенные портреты зверей из линнеевской «Системы природы» могли висеть рядом с картинками Семилетней войны и олеографией блудного сына.

Линней раскрасил своих обезьян в самые нежные колониальные краски. Он обмакивал свою кисточку в китайские лаки, писал коричневым и красным перцем, шафраном, оливой, вишневым соком. При этом со своей задачей он справлялся проворно и весело, как цирюльник, бреющий бюргермейстера, или голландская хозяйка, размалывающая кофе на коленях в угробистой мельнице.

Восхитительна Колумбова яркость Линнеева обезьянника.

Это Адам раздает похвальные грамоты млекопитающим, призвав себе на помощь багдадского фокусника и китайского монаха.

Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь — драгоценный неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи.

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!

У леопардов хитрые уши наказанных школьников.

Плакучая ива свернулась в шар, обтекает и плавает.

Адам и Ева совещаются, одетые по самой последней райской моде.

Горизонт упразднен. Нет перспективы. Очаровательная недогадливость. Благородное лестничное восхождение лисицы и чувство прислоненности садовника к ландшафту и к архитектуре.

Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее.

В персидской поэзии дуют посольские подарочные ветры из Китая.

Она черпает долголетие серебряной разливательной лож-

кой, одаривая им кого захочет лет тысячи на три или на пять. Поэтому цари из династии Джемджидов долговечны, как попугаи.

Быв добрыми неимоверно долгое время, любимцы Фирдусси внезапно и ни с того ни с сего делаются злыднями, повинуясь единственно роскошному произволу вымысла.

Земля и небо в книге «Шах-намэ» больны базедовой болезнью — они восхитительно пучеглазы.

Я взял Фирдусси у Государственного библиотекаря Армении — Мамикона Артемьевича Геворкьяна. Мне принесли целую стопку синих томиков — числом, кажется, восемь. Слова благородного прозаического перевода — это было французское издание Молля — благоухали розовым маслом.

Мамикон, пожевав отвислой губернаторской губой, пропел своим неприятным верблюжьим голосом несколько стихов по-персидски.

Геворкьян красноречив, умен и любезен, но эрудиция его чересчур шумная и напористая, а речь жирная, адвокатская.

Читатели вынуждены удовлетворять свою любознательность тут же, в кабинете директора,— под его личным присмотром, и книги, подаваемые на стол этого сатрапа, получают вкус мяса розовых фазанов, горьких перепелок, мускусной оленины и плутоватой зайчатины.

АШТАРАК

Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдумано синицей в духе древнейшего атеизма.

Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строительства и набитая пассажирами консервная жестянка — вот вам окрестности Эривани.

И вдруг — скрипка, расхищенная на сады и дома, разбитая на систему этажерок,— с распорками, перехватами, жердочками, мостиками.

Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов — отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано.

Ночлег пришелся в обширном четырехспальном доме раскулаченных. Правление колхоза вытрусило из него обстановку и учредило в нем деревенскую гостиницу. На террасе, способной приютить все семя Авраама, скорбел удойный умывальник.

Фруктовый сад — тот же танцкласс для деревьев. Школьная робость яблонь, алая грамотность вишен... Вы посмотрите на их кадрили, их ритурнели и рондо.

Я слушал журчание колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарака — и пропускала верблюда в игольное ушко.

Ваше письмо на 18 листах, исписанное почерком прямым и высоким, как тополевая аллея, я получил и на него отвечаю:

Первое столкновение в чувственном образе с материей армянской архитектуры.

Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натыкается на заплесневший хлеб природы или на каменный пирог.

Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви.

Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну, конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?

Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже — на какой-то глубине постыдные.

Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.

Так было у меня с армянским языком.

Я в себе выработал шестое — «араратское» чувство: чувство притяжения горой.

Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется.

Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении смирная. Так — церквушка в шестигранной ками-

лавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми устами щелистых окон.

Дверь — тише воды, ниже травы.

Встал на цыпочки и заглянул внутрь: но там же купол, купол!

Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки.

Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг, восток — с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе места.

Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу — чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?

Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра.

Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.

Стукнув пальцем по коробу капитанского барометра, он шел во двор — к водоему и на клетчатом листке чертил кривую осадков.

Он возделывал малотоварный фруктовый участок в десятичную долю гектара, крошечный вертоград, запеченный в каменно-виноградном пироге Аштарака, и был исключен, как лишний едок, из колхоза.

В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками — невинная проба ума и таланта.

В нем был гул несовершенного прошедшего.

Труженик в черной рубашке с тяжелым огнем в глазах, с открытой театральной шеей, он удалялся в перспективу исторической живописи — к шотландским мученикам, к Стюартам.

Еще не написана повесть о трагедии полуобразования.

Мне кажется, биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда «Вертер».

Аштарак — селенье богатое и хорошо угнездившееся — старше многих европейских городов. Славится праздниками

жатвы и песнями ашугов. Люди, кормящиеся около винограда,— женолюбивы, общительны, насмешливы, склонны к обидчивости и ничегонеделанью. Аштаракцы не составляют исключения.

С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял. Так кончается большинство армянских сказок. Многие из них записаны в Аштараке. В этом районе — фольклорная житница Армении.

АЛАГЕЗ

— Ты в каком времени хочешь жить?

— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном — в «долженствующем быть».

Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная басмаческая честь. Оттого-то мне и нравится славный латинский «герундивум» — этот глагол на коне.

Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги как прообраз всей нашей культуры, и не только «долженствующая быть», но «долженствующая быть хвалимой» — laudatura est — та, что нравится...

Такую речь я вел с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагеза.

В Эривани Алагез торчал у меня перед глазами, как «здрасьте» и «прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снеговая корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабренные кручи.

И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов.

Кусок Алагеза жил тут же, со мной, в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла — камень обсидиан. Визитная карточка в пуд, забытая какой-нибудь геологической экспедицией.

Подступы к Алагезу не утомительны, и ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14 000 футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь, как по маслу.

Из окна моей комнаты на пятом этаже эриванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагезе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле он складчатая система и развивается постепенно — по мере

подъема шарманка диоритовых пород раскручивалась, как альпийский вальс.

Ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспомню, екает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова.

Деревня Бьюракан ознаменована охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту.

В школе к нам присоединился странствующий плотник — человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артелей, ни профсоюзов. Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика — по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде.

Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с дудочкой.

В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом было много возни.

Представьте себе грубую пасочницу — бабу в фижмах или роброне, с кошачьей головкой и большим круглым ртом на самой середине робы, куда свободно залезает пятерня.

Счастливая находка из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного внимания горожан.

Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами. Походка их безобразна, словно они больны водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, заметая пыль подолами.

Мухи едят ребят, гроздьями забираются в уголок глаза.

Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша — столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести.

Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное.

Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов.

На луке седла моего болталась неощипанная курица, зарезанная утром в Бьюракане.

Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямлянам, народу, который старше римлян.

Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Казалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте и, не подготовленные к валовому сбору, застигнутые врасплох, копошились в кошах, звенели посудой для удоя и запихивали в лежбище ягнят, спеша заключить на всю ночь и свое володарство — распределяя по лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, отсыревшие головы скота.

Армянские и курдские копи по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагеза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах.

Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему дворика с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат, как пожарища.

Проводники, взятые из Бьюракана, обрадовались ночевке в Камарлу: там у них были родичи.

Бездетные старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра.

Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготовляя дымный ужин и постельные войлочные коши.

— На, возьми войлок! На, возьми одеяло... Да расскажи что-нибудь о Москве.

Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубаху и обрядила ею мужа.

Я стеснялся, как во дворце.

1. Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.

2. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползают мокрицы.

3. Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку.

4. Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время — он прижимал виноградины к нёбу и был ловок, как кончик языка флейтиста.

5. Семя Аршака зачахло в мошонке, и голос его жидок, как блеяние овцы...

6. Царь Шапух — как думает Аршак — взял верх надо мной, и — хуже того — он взял мой воздух себе.

7. Ассириец держит мое сердце.

8. Он — начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает слюну мою,— до того привык он к мысли, что я нахожусь здесь — в крепости Ануш.

9. Народ кушанов возмутился против Шапуха.

10. Они прорвали границу в незащищенном месте, как шелковый шнур.

11. Наступление кушанов кололо и беспокоило царя Шапуха, как ресница, попавшая в глаз.

12. Обе стороны сражались, зажмурившись, чтобы не видеть друг друга.

13. Некий Драстамат, самый образованный и любезный из евнухов, был в середине войска Шапуха, ободрял командующего конницей, подольстился к владыке, вывел его, как шахматную фигуру, из опасности и все время держался на виду.

14. Он был губернатором провинции Андех в те дни, когда Аршак бархатным голосом отдавал приказания.

15. Вчера был царь, а сегодня провалился в щель, скрючился в утробе, как младенец, согревается вшами и наслаждается чесоткой.

16. Когда дошло до награждения, Драстамат вложил в острые уши ассирийца просьбу, щекочущую, как перо:

17. Дай мне пропуск в крепость Ануш. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении.

Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашами по позвоночнику. Бархатные луга отягощают и щекочут веки. Пролежни оврагов вхрамываются в бока.

Сон мурует тебя, замуровывает... Последняя мысль: нужно объехать какую-то гряду...

1931—1932

247.

К ПРОБЛЕМЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ ДАРВИНА

(Из записной книжки писателя)

...Вспомнил, что это искусство щелкуна
нигде не было описано как следует.

*Дарвин. Путешествие вокруг света
на корабле «Бигль»*

Во все критические эпохи естественные науки были ареной особо ожесточенной борьбы за мировоззрение. Только внимательно изучив историю воззрений на природу, мы поймем закономерность в смене литературных стилей естествознания.

Дарвин не навязывает природе какой бы то ни было цели, он отрицает за нею какую бы то ни было благость. Всего более далек он от мысли приписывать ей волю или разумные зиждущие свойства.

С удивительным постоянством Дарвин дает захватывающие снимки животного или насекомого, застигнутого врасплох в самом типическом для него положении.

«Щелкун, брошенный на спину и приготовляющийся к прыжку, загибает голову и грудь назад, так что грудной отросток выдается наружу и помещается на краю своего влагалища. Пока продолжается это загибание головы назад, грудной отросток действием мышц сгибается подобно пружине; в это время животное опирается на землю краем головы и надкрыльев».

Нам уже трудно оценить всю небывалую свежесть этого описания, которое так и просится на пленку кино. Для того чтобы понять всю глубину художественно-научной революции, осуществленной Дарвином, сравним эту хищную, насквозь функциональную зарисовку жука с одним из описаний Палласа — натуралиста линнеевской школы, автора «Путешествия по разным провинциям Российского государства»:

«Азиятская козявка. Величиной с сольтицияльного жука, а видом кругловатая с шароватою грудью. Стан и ноги с прозеленью золотые, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылия гладкие, лоснящиеся, с примесью виолетового цвета — черные. Усы ровные, передние ноги несколько побольше. Поймана при Индерском озере».

Насекомое преподнесено как драгоценность в оправе, как живопись в медальоне.

Систематика Линнея нуждалась в таких описаниях: «предустановленная гармония» в природе постигается непосредственно через классификацию, познавать и восхищаться одно и то же.

«Сие изящное строение сердца с приходящими к нему жилами служит единственным побуждением к кровообращению»,— говорит Линней.

Почти столетие отделяет Линнея от зрелого Дарвина. Между ними — Кювье, Бюффон и Ламарк. Структурные и анатомические признаки в натуралистических сочинениях возобладали над чисто живописными приметами. Искусство «миниатюры» Палласа пришло в упадок. Но по существу мало что изменилось.

На место неподвижной системы природы пришла живая цепь органических существ, подвижная лестница, стремящаяся к совершенству. Вместо бога-архитектора (Линней) у деиста Ламарка — конституционный монарх. Классификация, по Ламарку, нечто искусственное, как бы волосяная сетка, накинутая человеком на разнообразие явлений. Что же остается натуралисту, как не восхищаться по-прежнему, но уже не единичными феноменами природы, а ее классами, расположенными в порядке поступательного развития.

Французская революция оставила глубокий отпечаток на стиле естествоведов. Тот же Бюффон в своих научных трудах выступает в роли революционного оратора. Он восхвалял «естественное состояние» лошадей, ставил людям в пример табуны диких коней, воздавал почести гражданской доблести коня.

А Ламарк, пишущий свои лучшие труды как бы на гребне волны Конвента, постоянно впадает в тон законодателя и не столько доказывает, сколько декретирует законы природы.

Замечательный прозаизм научных трудов Дарвина был глубоко подготовлен историей. Дарвин изгнал из своего литературного обихода всякое красноречие, всякую риторику и телеологический пафос во всех его видах.

Он имел мужество быть прозаичным потому, что имел многое и многое сказать и не чувствовал себя никому обязанным ни благодарностью, ни восхищением.

Лишь сочетание мысли с могучим и н с т и н к т о м естествоиспытателя позволило Дарвину добиться таких результатов.

Я имею в виду инстинкт отбора, скрещивания и селектирования фактов, который приходит на помощь научному доказательству, создает благоприятную среду для обобщения.

«Происхождение видов» состоит из 15 глав. Каждая из них расчленяется на 10—15 подглавок, размерами не больше воскресного фельетона из «Таймса». Книга построена с таким расчетом, чтобы читатель с каждой точки обозревал все целое труда. О чем бы ни говорил Дарвин, куда бы ни уводили извилины его научной мысли, проблема стоит всегда в своем полном объеме. Факты наступают на читателя не в виде одиночных примеров-иллюстраций, а развернутым фронтом — системой.

Приливы и отливы научной достоверности, подобно ритму фабульного рассказа, оживляют дыхание каждой главы и подглавки. Только в совместном звучании, только в созвеньях научные примеры Дарвина получают значимость. Дарвин избегает выписывать весь длинный «полицейский» паспорт животного со всеми его приметами. Он пользуется природой, как великолепно организованной картотекой. В результате — изумительная свобода в расположении научного материала, разнообразие фигур доказательства и емкость изложения.

Дарвин рассказывает о том, как сложилось его убеждение. Так, рассказав о сухопутных хищниках, превращающихся в водных, и пояснив это превращение переходными типами, он тут же оговаривается: «Если бы меня спросили, как некоторые насекомоядные и четвероногие развились в летучих мышей, я бы, пожалуй, смутился. Но это не важно».

Дневник путешествия на «Бигле» с его новым принципом естественнонаучной вахты продолжается в «Происхождении видов». С тою лишь разницей, что Дарвин протягивает корреспондентские нити к бесчисленным адресатам, несущим ту же самую службу, во все концы земного шара.

Движимый инстинктом высшей целесообразности, Дарвин счастливо избегает «затоваривания» природы, тесноты, нагроможденности. Он на всех парах уходит от плоскостного каталога к объему, к пространству, к воздуху. Это ощутимо даже в самых сухих и служебных звеньях «Происхождения видов».

Чувство цвета у Дарвина больше всего изощряется на низших формах живых существ, где оно приходит на помощь

характеристике их строения. В путевом дневнике Дарвина встречаются цветовые характеристики крабов, спрутов, медуз, моллюсков, заставляющие вспоминать самые смелые красочные достижения импрессионистов.

Дарвин строго следит за профилем своего доказательства. В поисках разнокачественных опорных точек он создает настоящие *гетерогенные* ряды, то есть группирует несхожее, контрастирующее, различно окрашенное. Он протягивает координаты от примера к примеру — в ширину, в глубину, в высоту, воздействуя с помощью подлинной *селекции* материала.

«Я назову только три случая: инстинкт, побуждающий кукушку откладывать яйца в чужих гнездах, рабовладельческий инстинкт муравьев и строительство пчелиных сотов».

Автор выхватил из гущи опыта всего-навсего три примера.

Первый окрашен *биологически* (размножение), второй — *исторически* (рабовладельчество), третий — *архитектурно* (пчелиные соты).

Блестяще разработанная столетними усилиями терминология в зоологии и в ботанике сама по себе обладает исключительной впечатляющей, образной силой. У Дарвина названия животных и растений звучат как только что найденные меткие прозвища.

Дарвина и Диккенса читала одна и та же публика. Научный успех Дарвина был в некоторой своей части и литературным. Читатель испытывал жесточайшую реакцию против всего сентиментального, кисло-сладкого, пуританского. Этот читатель всему на свете предпочитал *характерное*, картинам природы — социальные контрасты. Реализм Чарльза Дарвина пришелся как нельзя более кстати. Его научная проза, с ее биографической сухостью, с ее атмосферической зоркостью, с ее характеристиками в действии, на взрывающихся пачками примерах, была воспринята как литературно-библиографический документ.

Быть может, всего более подкупало читателя то, что Дарвин не расточал литературных восторгов перед законами и тенденциями, которые с такой ясностью утвердил.

Глаз натуралиста — орудие его мысли, так же как и его литературный стиль.

Бодрящая ясность, словно погожий денек умеренного английского лета, то, что я готов назвать «хорошей научной погодой», в меру приподнятое настроение автора заражают читателя, помогают ему освоить теорию Дарвина.

Окруженный жесточайшими врагами, Дарвин никогда не покидает спокойного уравновешенного тона.

Не обращать внимания на форму научных произведений — так же неверно, как игнорировать содержание художественных. Элементы искусства неутомимо работают в пользу научных теорий.

Никто не сумеет популяризировать Дарвина лучше его самого. Его научный стиль необходимо изучать. Но подражать бесполезно, потому что историческая ситуация, при которой стиль возник, никогда больше не повторится.

1932

248.

РАЗГОВОР О ДАНТЕ

Così gridai colla faccia levata...[1]

(Inf, XVI, 76)

I

Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями.

В таком понимании поэзия не является частью природы — хотя бы самой лучшей, отборной — и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами.

Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизме-

---

[1] Так я вскричал, запрокинув голову... *(Здесь и далее перевод с итальянского Н.В.Котрелева.)*

римость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала.

Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в «общеевропейском» и внешнекультурном значении этого слова.

Борцы, свивающиеся в клубок на арене, могут быть рассматриваемы как орудийное превращение и созвучие.

«...Эти обнаженные и лоснящиеся борцы, которые прохаживаются, кичась своими телесными доблестями, прежде чем сцепиться в решительной схватке...»

Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга.

Вообразите нечто понятое, схваченное, вырванное из мрака, на языке, добровольно и охотно забытом тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания-исполнения.

В поэзии важно только исполняющее понимание — отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа.

Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться.

Иначе неизбежен долбеж, вколачиванье готовых гвоздей, именуемых «культурно-поэтическими» образами.

Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью.

Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками,— так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку.

Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации.

Она прочнейший ковер, сотканный из влаги,— ковер, в котором струи Ганга, взятые как текстильная тема, не смешиваются с пробами Нила или Евфрата, но пребывают разноцветны — в жгутах, фигурах, орнаментах, но только не в узорах, ибо узор есть тот же пересказ. Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как *разыгранный* кусок природы. Животный, растительный, степной, скифский, египетский — какой угодно, национальный или варварский,— он всегда говорящ, видящ, деятелен.

Орнамент строфичен.

Узор строчковат.

Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме — il disio![1]

Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу.

Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.

Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску...

Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-чуть познакомился с его фонетикой и просодией, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился: ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило — это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм.

E consolando usava l'idioma
Che prima i padri e le madri trastulla;
....
Favoleggiava con la sua famiglia
De'Troiani, di Fiesole, e di Roma[2].

(Par., XV, 122-123, 125-126)

Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите весь словарь итальянский и листайте его как

[1] Стремление, вожделение.
[2] И, баюкая дитя на языке, который больше тешит самих отцов и матерей... рассказывала в кругу семьи о троянцах, о Фьезоле и о Риме.

хотите... Здесь все рифмует друг с другом. Каждое слово просится в concordanza[1].

Чудесно здесь обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет. Каждое слово спешит взорваться, слететь с губ, уйти, очистить место другим.

Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит детскую заумь в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь.

Творенье Данта есть прежде всего выход на мировую арену современной ему итальянской речи — как целого, как системы.

Самый дадаистический из романских языков выдвигается на международное первое место.

II

Необходимо показать кусочки дантовских ритмов. Об этом не имеют понятия, а знать это нужно. Кто говорит — Дант скульптурен, тот во власти нищенских определений великого европейца. Поэзии Данта свойственны все виды энергии, известные современной науке. Единство света, звука и материи составляет ее внутреннюю природу. Чтение Данта есть прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас от цели. Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии.

«Inferno»[2] и в особенности «Purgatorio»[3] прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханьем и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии. Для обозначения ходьбы он употребляет множество разнообразных и прелестных оборотов.

---

[1] Соответствие, созвучие.
[2] "Ад".
[3] "Чистилище".

У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах. Даже остановка — разновидность накопленного движения: площадка для разговора создается альпийскими усилиями. Стопа стихов — вдох и выдох — шаг. Шаг — умозаключающий, бодрствующий, силлогизирующий.

Образованность — школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам — вот любимая похвала Данта.

В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что «бегает быстрее».

«...Он отвернулся и показался мне одним из тех, которые бегают взапуски по зеленым лугам в окрестностях Вероны, и всей своей статью он напоминал о своей принадлежности к числу победителей, а не побежденных...»

Омолаживающая сила метафоры возвращает нам образованного старика Брунетто Латини в виде юноши — победителя на спортивном пробеге в Вероне.

Что же такое дантовская эрудиция?

Аристотель, как махровая бабочка, окаймлен арабской каймой Аверроеса.

Averrois, che il gran comento feo...[1]

(Inf., IV, 144)

В данном случае араб Аверроес аккомпанирует греку Аристотелю. Они компоненты одного рисунка. Они умещаются на мембране одного крыла.

Конец четвертой песни «Inferno» — настоящая цитатная оргия. Я нахожу здесь чистую и беспримесную демонстрацию упоминательной клавиатуры Данта.

Клавишная прогулка по всему кругозору античности. Какой-то шопеновский полонез, где рядом выступают вооруженный Цезарь с кровавыми глазами грифа и Демокрит, разъявший материю на атомы.

Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования.

Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопления частностей, а вследствие того, что одна за

---

[1] Аверроэс, великий толкователь...

другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы, уходит в свое функциональное пространство, или измерение, но каждый раз в строго узаконенный срок и при условии достаточно зрелой для этого и единственной ситуации.

Самих вещей мы не знаем, но зато весьма чувствительны к их положению. И вот читая песни Данта, мы получаем как бы информационные сводки с поля военных действий и по ним превосходно угадываем, как звукоборствует симфония войны, хотя сам по себе каждый бюллетень чуть-чуть и кое-где передвигает стратегические флажки или показывает на кой-какие изменения в тембре канонады.

Таким образом, вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана. Ни одну минуту она не остается похожа на себя самое. Если бы физик, разложивший атомное ядро, захотел его вновь собрать, он бы уподобился сторонникам описательной и разъяснительной поэзии, для которой Дант на веки вечные чума и гроза.

Если б мы научились слышать Данта, мы бы слышали созревание кларнета и тромбона, мы бы слышали превращение виолы в скрипку и удлинение вентиля валторны. И мы были бы слушателями того, как вокруг лютни и теорбы образуется туманное ядро будущего гомофонного трехчастного оркестра.

Еще, если б мы слышали Данта, мы бы нечаянно окунулись в силовой поток, именуемый то композицией — как целое, то в частности своей — метафорой, то в уклончивости — сравнением, порождающий определения для того, чтобы они вернулись в него, обогащали его своим таяньем и, едва удостоившись первой радости становления, сейчас же теряли свое первородство, примкнув к стремящейся между смыслами и смывающей их материи.

Начало десятой песни «Inferno». Дант вталкивает нас во внутреннюю слепоту композиционного сгустка:

«...Теперь мы вступили на узкую тропу между стеной скалы и мучениками — учитель мой и я у него за плечами...»

Все усилия направлены на борьбу с гущиной и неосвещенностью места. Световые формы прорезаются, как зубы. Разговор здесь необходим, как факелы в пещере.

Дант никогда не вступает в единоборство с материей, не приготовив органа для ее уловления, не вооружившись изме-

рителем для отсчета конкретного каплющего или тающего времени. В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает.

И вот мы видим, что диалог десятой песни «Inferno» намагничен временными глагольными формами — несовершенное и совершенное прошедшее, сослагательное прошедшее, само настоящее и будущее даны в десятой песни категорийно, категорично, авторитарно.

Вся песнь построена на нескольких глагольных выпадах, дерзко выпрыгивающих из текста. Здесь разворачивается как бы фехтовальная таблица спряжений, и мы буквально слышим, как глаголы временят.

Выпад первый:

«La gente che per li sepolcri giace
Potrebbesi veder?..» —

«Этот люд, уложенный в приоткрытые гроба, дозволено будет ли мне увидеть?..»

Второй выпад:

«...Volgiti: che fai?»[1]

В нем дан ужас настоящего, какой-то terror praesentis. Здесь беспримесное настоящее взято как чуранье. В полном отрыве от будущего и прошлого настоящее спрягается как чистый страх, как опасность.

Три оттенка прошедшего, складывающего с себя ответственность за уже свершившееся, даны в терцине:

Я пригвоздил к нему свой взгляд,
И он выпрямился во весь рост,
Как если бы уничижал ад великим презреньем.

Затем, как мощная туба, врывается прошедшее в вопросе Фаринаты:

«...Chi fur li maggior tui?» —

«Кто были твои предки?»

[1] «...Оборотись: что делаешь?» — обращение Вергилия к Данте, испугавшемуся встающей из горящей гробницы тени Фаринаты.

Как здесь вытянулся вспомогательный — маленькое обрубленное «fur» вместо «furon»! Не так ли при помощи удлинения вентиля образовалась валторна?

Дальше идет обмолвка совершенным прошедшим. Эта обмолвка подкосила старика Кавальканти: о своем сыне, еще здравствующем поэте Гвидо Кавальканти, он услышал от сверстника его и товарища — от Алигьери нечто — все равно что́ — в роковом совершенном прошедшем: «ebbe»[1].

И как замечательно, что именно эта обмолвка открывает дорогу главному потоку диалога: Кавальканти смывается, как отыгравший гобой или кларнет, а Фарината, как медлительный шахматный игрок, продолжает прерванный ход, возобновляет атаку:

«E se», continuando al primo detto,
«S'egli han quell'arte», disse, «male appresa,
Ciò mi tormenta più che questo letto»[2].

Диалог в десятой песни «Inferno» — нечаянный прояснитель ситуации. Она вытекает сама собой из междуречья.

Все полезные сведенья энциклопедического характера оказываются сообщенными уже в начальных стихах песни. Амплитуда беседы медленно и упорно расширяется; косвенно вводятся массовые сцены и толповые образы.

Когда встает Фарината, презирающий ад наподобие большого барина, попавшего в тюрьму, маятник беседы уже раскачивается во весь диаметр сумрачной равнины, изрезанной огнепроводами.

Понятие скандала в литературе гораздо старше Достоевского, только в тринадцатом веке, и у Данта, оно было гораздо сильнее. Дант нарывается, напарывается на нежелательную и опасную встречу с Фаринатой совершенно так же, как проходимцы Достоевского наталкивались на своих мучителей — в самом неподходящем месте. Навстречу плывет голос — пока еще неизвестно чей. Все труднее и труднее становится читателю дирижировать разрастающейся песнью. Этот голос — первая тема Фаринаты — крайне типичная для «Inferno» малая дантовская arioso умоляющего типа:

---

[1] Форма прошедшего времени от вспомогательного глагола “иметь”.

[2] “И если,— продолжая прежде сказанное,— если они этим искусством,— сказал он,— овладели плохо, то это мучит меня больше, чем это ложе” (Искусством возвращения в родной город после неудачи и изгнания.— Гибеллин Фарината говорит о судьбе своей партии).

«...О тосканец, путешествующий живьем по огненному городу и разговаривающий столь красноречиво! Не откажись остановиться на минуту... По говору твоему я опознал в тебе гражданина из той благородной области, которой я — увы! — был слишком в тягость...»

Дант — бедняк. Дант — внутренний разночинец старинной римской крови. Для него-то характерна совсем не любезность, а нечто противоположное. Нужно быть слепым кротом для того, чтобы не заметить, что на всем протяжении «Divina Commedia»[1] Дант не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться. Я это не выдумываю, но беру из многочисленных признаний самого Алигьери, рассыпанных в «Divina Commedia».

Внутреннее беспокойство и тяжелая, смутная неловкость, сопровождающая на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не умеющего применить свой внутренний опыт и объективировать его в этикет измученного и загнанного человека,— они-то и придают поэме всю прелесть, всю драматичность, они-то и работают над созданием ее фона как психологической загрунтовки.

Если бы Данта пустить одного, без «dolce padre»[2] — без Виргилия, скандал неминуемо разразился бы в самом начале и мы имели бы не хождение по мукам и достопримечательностям, а самую гротескную буффонаду.

Предотвращаемые Виргилием неловкости систематически корректируют и выправляют течение поэмы. «Divina Commedia» вводит нас вовнутрь лаборатории душевных качеств Данта. То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта. Тень, пугающая детей и старух, сама боялась — и Алигьери бросало в жар и холод: от чудных припадков самомнения до сознания полного ничтожества.

Слава Данта до сих пор была величайшей помехой к его познанию и глубокому изучению и еще надолго ею останется. Лапидарность его не что иное, как продукт огромной внутренней неуравновешенности, нашедшей себе выход в сонных казнях, в воображаемых встречах, в заранее обдуманных и

---

[1] "Божественная комедия".
[2] "Сладчайший отец".

взлелеянных желчью изысканных репликах, направленных на полное уничтожение противника, на окончательное торжество.

Сладчайший отец, наставник, разумник, опекун в который раз одергивает внутреннего разночинца четырнадцатого века, который так мучительно находил себя в социальной иерархии, в то время как Боккаччо — его почти современник — наслаждался тем же самым общественным строем, окунался в него, резвился в нем.

«Che fai?» — «что делаешь?» — звучит буквально как учительский окрик — ты с ума спятил!.. Тогда выручает игра на регистрах, заглушающих стыд и покрывающих смущение.

Представлять себе дантовскую поэму вытянутым в одну линию рассказом или даже голосом — абсолютно неверно. Задолго до Баха, и в то время, когда еще не строили больших монументальных органов, но лишь очень скромные эмбриональные прообразы будущего чудища, когда ведущим инструментом была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы.

«Come avesse lo inferno in gran dispitto»[1] (Inf., X, 36) — стих-родоначальник всего европейского демонизма и байроничности. Между тем, вместо того чтобы взгромоздить свою скульптуру на цоколь, как сделал бы, например, Гюго, Дант обволакивает ее сурдинкой, окутывает сизым сумраком, упрятывает на самое дно туманного звукового мешка.

Она дана на ниспадающем регистре, она падает, уходит вниз, в слуховое окно.

Другими словами — фонетический свет выключен. Тени сизые смесились.

«Divina Commedia» не столько отнимает у читателя время, сколько наращивает его, подобно исполняемой музыкальной вещи.

Удлиняясь, поэма удаляется от своего конца, а самый конец наступает нечаянно и звучит как начало.

Структура дантовского монолога, построенного на органной регистровке, может быть хорошо понята при помощи

---

[1] "Как если бы уничижал ад великим презреньем". *(Перевод О.Мандельштама).*

8-840

аналогии с горными породами, чистота которых нарушена вкрапленными инородными телами.

Зернистые примеси и лавовые прожилки указывают на единый сдвиг, или катастрофу, как на общий источник формообразования.

Стихи Данта сформированы и расцвечены именно геологически. Их материальная структура бесконечно важнее пресловутой скульптурности. Представьте себе монумент из гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен не на изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого же мрамора или гранита. Другими словами, вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для раскрытия его идеи,— таким образом вы получите довольно ясное понятие о том, как соотносится у Данта форма и содержание.

Всякий период стихотворной речи — будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая — необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, «солнце», мы не выбрасываем из себя готового смысла,— это был бы семантический выкидыш,— но переживаем своеобразный цикл.

Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося «солнце», мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге.

Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно,— «мёд», а кончается — «медь»; начинается — «лай», а кончается — «лёд».

Дант, когда ему нужно, называет веки глазными губами. Это когда на ресницах виснут ледяные кристаллы мерзлых слез и образуют корку, мешающую плакать.

Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli,
Gocciar su per le labbra...[1]

(Inf.; XXXII, 46-47)

---

[1] Их глаза, прежде влажные внутри, сочились на губы...

Итак, страданье скрещивает органы чувств, создает гибриды, приводит к губастому глазу.

У Данта не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую.

Он сам говорит:

Io premerei di mio concetto il suco —

(Inf., XXXII, 4)

«Я выжал бы сок из моего представления, из моей концепции»,— то есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой.

Таким образом, как это ни странно, форма выжимается из содержания-концепции, которое ее как бы облекает. Такова четкая дантовская мысль.

Но выжать что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом ни закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. Другими словами, всякое формообразование в поэзии предполагает ряды, периоды или циклы формозвучаний совершенно так же, как и отдельно произносимая смысловая единица.

Научное описание дантовской «Комедии», взятой как течение, как поток, неизбежно приняло бы вид трактата о метаморфозах и стремилось бы проникать в множественные состояния поэтической материи, подобно тому как врач, ставящий диагноз, прислушивается к множественному единству организма. Литературная критика подошла бы к методу живой медицины.

III

Вникая по мере сил в структуру «Divina Commedia», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну-единственную, единую и недробимую строфу. Вернее,— не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник. От-

сутствие у меня сколько-нибудь ясных сведений по кристаллографии — обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во многих других,— лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру «Divina Commedia», но такова удивительная стимулирующая сила Данта, что он пробудил во мне конкретный интерес к кристаллографии, и в качестве благодарного читателя — lettore — я постараюсь его удовлетворить.

Формообразование поэмы превосходит наши понятия о сочинительстве и композиции. Гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт. Предлагаемые примерные определения меньше всего имеют в виду метафорическую отсебятину. Тут происходит борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого. Лишь при помощи метафоры возможно найти конкретный знак для формообразующего инстинкта, которым Дант накапливал и переливал терцины.

Надо себе представить таким образом, как если бы над созданием тринадцатитысячегранника работали пчелы, одаренные гениальным стереометрическим чутьем, привлекая по мере надобности все новых и новых пчел. Работа этих пчел — все время с оглядкой на целое — неравнокачественна по трудности на разных ступенях процесса. Сотрудничество их ширится и осложняется по мере сотообразования, посредством которого пространство как бы выходит из себя самого.

Пчелиная аналогия подсказана, между прочим, самим Дантом. Вот эти три стиха — начало шестнадцатой песни «Inferno»:

Già era in loco ove s'udia il rimbombo
Dell'acqua che cadea nell'altro giro,
Simile a quel che l'arnie fanno rombo[1].

Дантовские сравнения никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны. Они всегда преследуют конкретную задачу дать внутренний образ структуры, или тяги. Возьмем обширнейшую группу «птичьих» сравнений — все эти тянущиеся караваны то журавлей, то грачей, то классические военные фаланги ласточек, то неспособное к латинскому строю анархически беспорядочное воронье,—

[1] Я был уже там, где слышался гул воды, падавшей в другой круг, гул, подобный гудению пчел.

эта группа развернутых сравнений всегда соответствует инстинкту паломничества, путешествия, колонизации, переселения. Или же, например, возьмем не менее обширную группу речных сравнений, живописующих зарождение на Апеннинах орошающей тосканскую долину реки Арно или же спуск в долину Ломбардии альпийской вскормленницы — реки По. Эта группа сравнений, отличающаяся необычайной щедростью и ступенчатым ниспадением из трехстишия в трехстишие, всегда приводит к комплексу культуры, родины и оседлой гражданственности, — к комплексу политическому и национальному, столь обусловленному водоразделами, а также мощностью и направлением рек.

Сила дантовского сравнения — как это ни странно — прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью. Скажите, пожалуйста, какая была необходимость приравнивать близящуюся к окончанию поэму к части туалета — «gonna» (по-теперешнему — «юбка», а по-староитальянскому — в лучшем случае «плащ» или вообще «платье»), а себя уподоблять портному, у которого — извините за выражение — вышел весь материал?

IV

По мере того как Дант все более и более становился не по плечу и публике следующих поколений, и самим художникам, его обволакивали все большей и большей таинственностью. Сам автор стремился к ясному и отчетливому знанию. Для современников он был труден, был утомителен, но вознаграждал за это познанием. Дальше пошло гораздо хуже. Пышно развернулся невежественный культ дантовской мистики, лишенный, как и само понятие мистики, всякого конкретного содержания. Появился «таинственный» Дант французских гравюр, состоящий из капюшона, орлиного носа и чем-то промышляющий на скалах. У нас в России жертвой этого сластолюбивого невежества со стороны не читающих Данта восторженных его адептов явился не кто, как Блок:

Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет...

Внутреннее освещение дантовского пространства, выводимое только из структурных элементов, никого решительно не интересовало.

Сейчас я покажу, до чего мало были озабочены свеженькие читатели Данта его так называемой таинственностью. У меня перед глазами фотография с миниатюры одного из самых ранних дантовских списков середины XIV века (собрание Перуджинской библиотеки). Беатриче показывает Данту Троицу. Яркий фон с павлиньими разводами — как веселенькая ситцевая набойка. Троица в вербном кружке — румяная, краснощекая, купечески круглая. Дант Алигьери изображен весьма удалым молодым человеком, а Беатриче — бойкой и круглолицей девушкой. Две абсолютно бытовые фигурки: пышущий здоровьем школяр ухаживает за не менее цветущей горожанкой.

Шпенглер, посвятивший Данту превосходные страницы, все же увидел его из ложи немецкой бург-оперы, и когда он говорит «Дант», сплошь и рядом нужно понимать — «Вагнер» в мюнхенской постановке.

Чисто исторический подход к Данту так же неудовлетворителен, как политический или богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное мышленье.

Мне изо всей силы хочется опровергнуть отвратительную легенду о безусловно тусклой окрашенности или пресловутой шпенглеровской коричневости Данта. Для начала сошлюсь на показание современника-иллюминатора. Эта миниатюра из той же коллекции Перуджинского музея. Она к первой песни: «Увидел зверя и вспять обратился».

Вот описание расцветки этой замечательной миниатюры, более высокого типа, чем предыдущая, и вполне адекватной тексту.

Одежда Данта ярко-голубая («adzura chiara»). Борода у Виргилия длинная и волосы серые. Тога тоже серая. Плащик розовый. Горы обнаженные, серые.

Таким образом, мы здесь видим ярко-лазурный и розовый крапы в дымчато-серой породе.

В семнадцатой песни «Inferno» имеется транспортное чудище, по имени Герион,— подобие сверхмощного танка, к тому же нечто крылатое. Свои услуги он предлагает Данту и

Виргилию, получив соответствующий наряд от владычной иерархии на доставку двух пассажиров в нижерасположенный восьмой круг.

> Due branche avea pilose infin l'ascelle:
> Lo dosso e il petto ed ambedue le coste
> Dipinte avea di nodi e di rotelle.
> Con più color, sommesse e soprapposte,
> Non fer mai drappo Tartari nè Turchi,
> Nè fur tal tele per Aragne imposte[1]
>
> *(Inf., XVII, 13-18)*

Речь идет о расцветке кожи Гериона. Его спина, грудь и бока пестро расцвечены орнаментом из узелков и щиточков. Более яркой расцветки, поясняет Дант, не употребляют для своих ковров ни турецкие, ни татарские ткачи...

Ослепительна мануфактурная яркость этого сравнения, и до последней степени неожиданна торгово-мануфактурная перспектива, в нем раскрывающаяся.

По теме своей семнадцатая песнь «Ада», посвященная ростовщичеству, весьма близка и к товарному ассортименту, и к банковскому обороту. Ростовщичество, восполнявшее недостаток банковской системы, в которой уже чувствовалась настоятельная потребность, было вопиющим злом того времени, но также и необходимостью, облегчавшей товарооборот Средиземноморья. Ростовщиков позорили в церкви и в литературе, и всё же к ним прибегали. Ростовщичеством промышляли и благородные семейства — своеобразные банкиры с землевладельческой, аграрной базой,— это особенно раздражало Данта.

Ландшафт семнадцатой песни — раскаленные пески, то есть нечто перекликающееся с аравийскими караванными путями. На песке сидят самые знатные ростовщики — Gianfigliacci и Ubbriachi из Флоренции, Scrovigni из Падуи. На шее у каждого из них висят мешочки — или ладанки, или кошельки — с вышитыми на них фамильными гербами по цветному фону: лазурный лев на золотом фоне — у одного; гусь, более белый, чем только что вспахтанное масло, на кроваво-красном — у другого; и голубая свинья на белом фоне — у третьего.

---

[1] Две его лапы заросли шерстью до плеч; спина, и грудь, и оба бока были разукрашены узлами и пятнами. Больше цветов в основу и уто́к никогда не пускали ни татары, ни турки, и Арахна такой ткани не натягивала на свой станок.

Прежде чем погрузиться на Гериона и спланировать на нем в пропасть, Дант обозревает эту странную выставку фамильных гербов. Обращаю внимание на то, что мешочки ростовщиков даны как образчики красок. Энергия красочных эпитетов и то, как они поставлены в стих, заглушает геральдику. Краски называются с какой-то профессиональной резкостью. Другими словами, краски даны в той стадии, когда они еще находятся на рабочей доске художника, в его мастерской. И что же тут удивительного? Дант был свой человек в живописи, приятель Джотто, внимательно следивший за борьбой живописных школ и сменой модных течений.

Credette Cimabue nella pittura...[1]

(Purg., XI, 94)

Насмотревшись досыта на ростовщиков, садятся на Гериона. Виргилий обвивает шею Данта и говорит служебному дракону: «Спускайся широкими и плавными кругами: помни о новой ноше...»

Жажда полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не меньше, чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству. Ориентация потеряна. Ничего не видно. Впереди только татарская спина — страшный шелковый халат Герионовой кожи. О скорости и направлении можно судить только по хлещущему в лицо воздуху. Еще не изобретена летательная машина, еще не было Леонардовых чертежей, но уже разрешена проблема планирующего спуска.

И, наконец, сюда врывается соколиная охота. Маневры Гериона, замедляющего спуск, уподобляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв понапрасну, медлит вернуться на оклик сокольничего и, уже спустившись, обиженно вспархивает и садится поодаль.

Теперь попробуем охватить всю семнадцатую песнь в целом, но с точки зрения органической химии дантовской образности, которая ничего общего не имеет с аллегоричностью. Вместо того чтобы пересказывать так называемое содержание, мы взглянем на это звено дантовского труда как на непрерывное превращение материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося проникнуть внутрь себя самого.

---

[1] Полагал Чимабуе, что в живописи (он — победитель)...

Образное мышленье у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью. Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет,— отвлекаясь от технической невозможности,— который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора.

Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения.

Семнадцатая песнь «Inferno» — блестящее подтверждение обратимости поэтической материи в только что упомянутом смысле. Фигура этой обратимости рисуется примерно так: завитки и щиточки на пестрой татарской коже Гериона — шелковые ковровые ткани с орнаментом, развеянные на средиземноморском прилавке,— морская, торговая, банковско-пиратская перспектива — ростовщичество и возвращение к Флоренции через геральдические мешочки с образчиками не бывших в употреблении свежих красок — жажда полета, подсказанная восточным орнаментом, поворачивающим материю песни к арабской сказке с ее техникой летающего ковра,— и, наконец, второе возвращение во Флоренцию при помощи незаменимого, именно благодаря своей ненужности, сокола.

Не довольствуясь этой воистину чудесной демонстрацией обратимости поэтической материи, оставляющей далеко позади все ассоциативные ходы новейшей европейской поэзии, Дант, как бы в насмешку над недогадливым читателем, уже после того, как все разгружено, все выдохнуто, отдано, спускает на землю Гериона и благосклонно снаряжает его в новое странствие, как бородку стрелы, спущенной с тетивы.

V

До нас, разумеется, не дошли Дантовы черновики. Мы не имеем возможности работать над историей его текста. Но отсюда, конечно, еще не следует, что не было перемаранных рукописей и что текст вылупился готовым, как Леда из яйца или Афина Паллада из головы Зевса. Но злополучное шестивековое расстояние, а также весьма простительный факт недошедших черновиков сыграли с нами злую шутку. Уже который век о Данте пишут и говорят так, как будто он изъяснялся непосредственно на гербовой бумаге.

Лаборатория Данта? Нас это не касается. Какое до нее дело невежественному пиетету? Рассуждают так, как если бы Дант имел перед глазами еще до начала работы совершенно готовое целое и занимался техникой муляжа: сначала из гипса, потом в бронзу. В лучшем случае ему дают в руки резец и позволяют скульптурничать, или, как любят выражаться, «ваять». При этом забывают одну маленькую подробность: резец только снимает лишнее и черновик скульптора не оставляет материальных следов (что очень нравится публике) — сама стадиальность работы скульптора соответствует серии черновиков.

Черновики никогда не уничтожаются.

В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет готовых вещей.

Здесь нам мешает привычка к грамматическому мышленью — ставить понятие искусства в именительном падеже. Самый процесс творчества мы подчиняем целевому предложному падежу и мыслим так, как если бы болванчик со свинцовым сердечком, покачавшись как следует в разные стороны, претерпев различные колебания по опросному листику: о чем? о ком? кем и чем? — под конец утверждался в буддийском гимназическом покое именительного падежа. Между тем готовая вещь в такой же мере подчиняется косвенным, как и прямым падежам. К тому же все наше учение о синтаксисе является мощнейшим пережитком схоластики, и, будучи в философии, в теории познания, поставлено на должное, служебное место, будучи совершенно преодолено математикой, которая имеет свой самостоятельный, самобытный синтаксис,— в искусствоведеньи эта схоластика син-

таксиса не преодолевается и наносит ежечасно колоссальный вред.

В европейской поэзии дальше всего ушли от дантовского метода и — прямо скажу — ему полярны, противоположны именно те, кого называют парнасцами: Эредиа, Леконт де Лиль. Гораздо ближе Бодлэр. Еще ближе Верлэн, и наиболее близок во всей французской поэзии Артур Рэмбо. Дант по природе своей колебатель смысла и нарушитель целостности образа. Композиция его песней напоминает расписание сети воздушных сообщений или неустанное обращение голубиных почт.

Итак, сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения. Для того чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную сторону. Именно таков и закон парусного лавированья.

Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплаванья и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавированья и маневрированья. Дант глубоко чтил искусство современного ему мореплаванья. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человечеству с древнейших времен.

Мне хочется указать здесь на одну из замечательных особенностей дантовской психики — на его страх перед прямыми ответами, быть может обусловленный политической ситуацией опаснейшего, запутаннейшего и разбойнейшего века.

В то время как вся «Divina Commedia», как было уже сказано, является вопросником и ответником, каждое прямое высказыванье у Данта буквально вымучивается: то при помощи повивальной бабки — Виргилия, то при участии няньки — Беатриче и т.д.

«Inferno», песнь шестнадцатая. Разговор ведется с чисто тюремной страстностью: во что бы то ни стало использовать крошечное свидание. Вопрошают трое именитых флорентийцев. О чем? Конечно, о Флоренции. У них колени трясутся от нетерпения, и они боятся услышать правду. Ответ получается лапидарный и жестокий — в форме выкрика. При этом у самого Данта после отчаянного усилия дергается подбородок и запрокидывается голова — и это дано ни более ни менее как в авторской ремарке:

Così gridai colla faccia levata[1].

Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой,— с такой силой подчеркивающей текучесть явления и такими росчерками перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того как дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться. Мне уже не раз приходилось говорить, что метафорические приемы Данта превосходят наши понятия о композиции, поскольку наше искусствоведенье, рабствующее перед синтаксическим мышленьем, бессильно перед ним.

Когда мужичонка, взбирающийся на холм
В ту пору года, когда существо, освещающее мир,
Менее скрытно являет нам свой лик
И водяная мошкара уступает место комарикам,
Видит пляшущих светляков в котловине,
В той самой, может быть, где он трудился как жнец
и как пахарь,—
Так язычками пламени отсверкивал пояс восьмой,
Весь обозримый с высоты, на которую я взошел;
И подобно тому, как тот, кто отомстил при помощи медведей,
Видя удаляющуюся повозку Ильи,
Когда упряжка лошадей рванулась в небо,
Смотрел во все глаза и ничего разглядеть не мог,
Кроме одного-единственного пламени,
Тающего, как поднимающееся облачко,—
Так языкастое пламя наполняло щели гробниц,
Утаивая добро гробов — их поживу,
И в оболочке каждого огня притаился грешник.

(Inf., XXVI, 25-42)

Если у вас не закружилась голова от этого чудесного подъема, достойного органных средств Себастьяна Баха, то попробуйте указать, где здесь второй, где здесь первый член сравнения, что с чем сравнивается, где здесь главное и где второстепенное, его поясняющее.

---

[1] Так я вскричал, запрокинув голову.

Импрессионистская подготовка встречается в целом ряде дантовских песней. Цель ее — дать в виде разбросанной азбуки, в виде прыгающего, светящегося, разбрызганного алфавита те самые элементы, которым по закону обратимости поэтической материи надлежит соединиться в смысловые формулы.

Так вот в этой интродукции мы видим легчайший светящийся гераклитов танец летней мошкары, подготовляющий нас к восприятию важной и трагической речи Одиссея.

Двадцать шестая песнь «Inferno» — наиболее парусная из всех композиций Данта, наиболее лавирующая, наилучше маневрирующая. По изворотливости, уклончивости, флорентийской дипломатичности и какой-то греческой хитрости она не имеет себе равных.

В песни ясно различимы две основных части: световая, импрессионистская подготовка и стройный драматический рассказ Одиссея о последнем плаваньи, о выходе в атлантическую пучину и страшной гибели под звездами чужого полушария.

По вольному течению мысли разбираемая песнь очень близка к импровизации. Но если вслушаться внимательнее, то окажется, что певец внутренне импровизирует на любимом заветном греческом языке, пользуясь для этого — лишь как фонетикой и тканью — родным итальянским наречием.

Если ребенку дать тысячу рублей, а потом предложить на выбор оставить себе или сдачу, или деньги, то, конечно, он выберет сдачу, и таким способом вы сможете у него отобрать всю сумму, подарив ему гривенник. Совершенно то же самое произошло с европейской художественной критикой, которая пригвоздила Данта к гравюрным ландшафтам ада. К Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь.

Наша наука говорит: отодвинь явление — и я с ним справлюсь и освою его. «Далековатость» (выражение Ломоносова) и познаваемость для нее почти однозначны.

У Данта расстающиеся и прощающиеся образы. Трудно спускаться по излогам его многоразлучного стиха.

Еще не успели мы оторваться от тосканского мужичонки,

любующегося фосфорной пляской светлячков, еще в глазах импрессионистская рябь от растекающейся в облачко колесницы Ильи,— как уже процитирован костер Этеокла, уже названа Пенелопа, уже проморгали Троянского коня, уже Демосфен одолжил Одиссею свое республиканское красноречие и — снаряжается корабль старости.

Старость в понимании Данта прежде всего кругозорность, высшая объемность, кругосветность. В Одиссеевой песни земля уже кругла.

Эта песнь о составе человеческой крови, содержащей в себе океанскую соль. Начало путешествия заложено в системе кровеносных сосудов. Кровь планетарна, солярна, солона...

Всеми извилинами своего мозга дантовский Одиссей презирает склероз, подобно тому как Фарината презирает ад.

«Неужели мы рождены для скотского благополучия и остающуюся нам горсточку вечерних чувств не посвятим дерзанию выйти на запад, за Геркулесовы вехи — туда, где мир продолжается без людей?..»

Обмен веществ самой планеты осуществляется в крови — и Атлантика всасывает Одиссея, проглатывает его деревянный корабль.

Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в Futurum.

Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его.

Дант — антимодернист. Его современность неистощима, неисчислима и неиссякаема.

Вот почему Одиссеева речь, выпуклая, как чечевица зажигательного стекла, обратима и к войне греков с персами, и к открытию Америки Колумбом, и к дерзким опытам Парацельса, и к всемирной империи Карла Пятого.

Песнь двадцать шестая, посвященная Одиссею и Диомиду, прекрасно вводит нас в анатомию дантовского глаза, столь естественно приспособленного лишь для вскрытия самой структуры будущего времени. У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок.

К самому Данту применимы слова гордеца Фаринаты:

«Noi veggiam, come quei ch'ha mala luce»[1].

(Inf., X, 100)

То есть: мы — грешные души — способны видеть и различать только отдаленное будущее, имея на это особый дар. Мы становимся абсолютно слепы, как только перед нами захлопываются двери в будущее. И в этом своем качестве мы уподобляемся тому, кто борется с сумерками и, различая дальние предметы, не разбирает того, что вблизи.

Плясовое начало сильно выражено в ритмике терцин двадцать шестой песни. Здесь поражает высшая беззаботность ритма. Стопы укладываются в движение вальса:

E se già fosse, non saria per tempo.
Così foss'ei, da che pure esser dee;
Chè più graverà, com'più m'attempo[2].

(Inf., XXVI, 10-12)

Нам, иностранцам, трудно проникнуть в последнюю тайну чужеродного стиха. Не нам судить, не за нами последнее слово. Но мне представляется, что здесь — именно та пленительная уступчивость итальянской речи, которую может до конца понять только слух прирожденного итальянца.

Здесь я цитирую Марину Цветаеву, которая обмолвилась «уступчивостью речи русской»...

Если следить внимательно за движением рта у толкового чтеца, то покажется, будто он дает уроки глухонемым, то есть работает с таким расчетом, чтобы быть понятым и без звука, артикулируя каждую гласную с педагогической наглядностью. И вот достаточно посмотреть, как звучит двадцать шестая песнь, чтоб ее услышать. Я бы сказал, что в этой песни беспокойные, дергающиеся гласные.

Вальс по преимуществу волновой танец. Даже отдаленное его подобие было бы невозможно в культуре эллинской, египетской, но мыслимо в китайской — и вполне законно в

---

[1] "Мы видим, как подслеповатые".

[2] И если бы уже пришло, то было б впору. Раз должно прийти, пусть бы уже пришло; поскольку чем я старше становлюсь, тем тяжелее мне будет. (О наказании, которое должно постичь Флоренцию).

новой европейской. (Этим сопоставлением я обязан Шпенглеру.) В основе вальса чисто европейское пристрастие к повторяющимся колебательным движениям, то самое прислушиванье к волне, которое пронизывает всю нашу теорию звука и света, все наше учение о материи, всю нашу поэзию и всю нашу музыку.

VI

Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии! Ведь признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя!

Дант и его современники не знали геологического времени. Им были неведомы палеонтологические часы — часы каменного угля, часы инфузорийного известняка — часы зернистые, крупичатые, слойчатые. Они кружились в календаре, делили сутки на квадранты. Однако средневековье не помещалось в системе Птоломея — оно прикрывалось ею.

К библейской генетике прибавили физику Аристотеля. Эти две плохо соединимые вещи не хотели сращиваться. Огромная взрывчатая сила Книги Бытия — идея спонтанного генезиса со всех сторон наступала на крошечный островок Сорбонны, и мы не ошибемся, если скажем, что Дантовы люди жили в архаике, которую по всей окружности омывала современность, как тютчевский океан объемлет шар земной. Нам уже трудно себе представить, каким образом абсолютно всем знакомые вещи — школьная шпаргалка, входившая в программу обязательного начального обучения,— каким образом вся библейская космогония с ее христианскими придатками могла восприниматься тогдашними образованными людьми буквально как свежая газета, как настоящий экстренный выпуск.

И если мы с этой точки зрения подойдем к Данту, то окажется, что в предании он видел не столько священную его, ослепляющую сторону, сколько предмет, обыгрываемый при помощи горячего репортажа и страстного экспериментированья.

В двадцать шестой песни «Paradiso»[1] Дант дорывается до личного разговора с Адамом, до подлинного интервью. Ему ассистирует Иоанн Богослов — автор Апокалипсиса.

Я утверждаю, что все элементы современного экспериментированья имеются налицо в дантовском подходе к преданию. А именно: создание специальной нарочитой обстановки для опыта, пользованье приборами, в точности которых нельзя усумниться, и проверка результата, апеллирующая к наглядности.

Ситуация двадцать шестой песни «Paradiso» может быть определена как торжественный экзамен в концертной обстановке и на оптических приборах. Музыка и оптика образуют узел вещи.

Антиномичность дантовского «опыта» заключается в том, что он мечется между примером и экспериментом. Пример извлекается из патриаршей торбы древнего сознания с тем, чтобы быть возвращенным в нее обратно, как только минет надобность. Эксперимент, выдергивая из суммы опыта те или иные нужные ему факты, уже не возвращает их обратно по заемному письму, но пускает в оборот.

Евангельские притчи и схоластические примерчики школьной науки суть поедаемые и уничтожаемые злаки. Экспериментальная же наука, вынимая факты из связной действительности, образует из них как бы семенной фонд — заповедный, неприкосновенный и составляющий как бы собственность нерожденного и долженствующего времени.

Позиция экспериментатора по отношению к фактологии, поскольку он стремится к смычке с нею в самой достоверности, по существу своему зыбуча, взволнованна и вывернута на сторону. Она напоминает уже упомянутую мной фигуру вальсированья, ибо после каждого полуоборота на отставленном носке пятки танцора хотя и смыкаются, но смыкаются каждый раз на новой паркетине и качественно различно. Кружащий нам головы мефисто-вальс экспериментированья был зачат в треченто, а может быть, и задолго до него, и был он зачат в процессе поэтического формообразования, в волновой процессуальности, в обратимости поэтической материи, самой точной из всех материй, самой пророческой и самой неукротимой.

За богословской терминологией, школьной грамматикой и аллегорическим невежеством мы проглядели экпериментальные пляски Дантовой «Комедии» — мы облагообразили Дан-

[1] “Рая”.

та по типу мертвой науки, в то время как его теология была сосудом динамики.

Для осязающей ладони, наложенной на горлышко согретого кувшина, он получает свою форму именно потому, что он теплый. Теплота в данном случае первее формы, и скульптурную функцию выполняет именно она. В холодном виде, насильственно оторванная от своей накаленности, Дантова «Комедия» годится лишь для разбора механистическими щипчиками, а не для чтения, не для исполнения.

Come quando dall'acqua o dallo specchio
    Salta lo raggio all'opposita parte,
    Salendo su per lo modo parecchio
A quel che scende, e tanto si diparte
    Dal cader della pietra in egual tratta,
    Si come mostra esperienza ed arte...

(Purg., XV, 16-21)

«Подобно тому как солнечный луч, ударяющий о поверхность воды или в зеркало, отпрядывает назад под углом, который соответствует углу его падения, что отличает его от упавшего камня, который отскакивает перпендикулярно от земли,— что подтверждается и на опыте, и на искусстве...»

В ту минуту, когда у Данта забрезжила потребность в эмпирической проверке данных предания, когда у него впервые появился вкус к тому, чтó я предлагаю назвать священной — в кавычках — индукцией, концепция «Divina Commedia» была уже сложена и успех ее был уже внутренне обеспечен.

Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант.

Col quale il fantolin corre alla mamma[1] —

(Purg., XXX, 44)

так ластится Дант к авторитету.

---

[1] С какою (доверчивостью) малыш бежит к матери.

Ряд песен «Paradiso» даны в экзаменационной оболочке, в твердой капсуле экзамена. В некоторых местах даже явственно слышится хриплый бас экзаменатора и дребезжащий голосок бакалавра. Вкрапленность гротеска и жанровой картинки («экзамен бакалавров») составляет необходимую принадлежность высокоподъемных и концертных композиций третьей части. А первый ее образчик дан уже во второй песни «Рая» (диспут с Беатриче о происхождении лунных пятен).

Для уразумения самой природы дантовского общения с авторитетами, то есть формы и метода его познания, необходимо учесть и концертную обстановку школярских песен «Комедии», и подготовку самих органов для восприятия. Я уже не говорю о совершенно замечательном по своей постановке эксперименте со свечой и тремя зеркалами, где доказывается, что обратный путь света имеет своим источником преломление луча, но не могу не отметить подготовки глаза к апперцепции новых вещей.

Эта подготовка развивается в настоящее анатомированье: Дант угадывает слоистое строение сетчатки: «di gonna in gonna»...[1]

Музыка здесь не извне приглашенный гость, но участница спора; а еще точнее — она способствует обмену мнений, увязывает его, благоприятствует силлогистическому пищеварению, растягивает предпосылки и сжимает выводы. Роль ее и всасывающая и рассасывающая,— роль ее чисто химическая.

Когда читаешь Данта с размаху и с полной убежденностью, когда вполне переселяешься на действенное поле поэтической материи; когда сопрягаешься и соизмеряешь свои интонации с перекличками оркестровых и тематических групп, возникающих ежеминутно на изрытой и всколебленной смысловой поверхности; когда начинаешь улавливать сквозь дымчато-кристаллическую породу формозвучания внедренные в нее вкрапленности, то есть призвуки и примыслы, присужденные ей уже не поэтическим, а геологическим разумом,— тогда чисто голосовая интонационная и ритмическая работа сменяется более мощной, координирующей деятельностью — дирижированьем и над голосоведущим пространством вступает в силу рвущая его гегемония дирижерской палочки, выпя-

[1] От оболочки к оболочке.

чивась из голоса, как более сложное математическое измерение из трехмерности.

Что первее — слушанье или дирижированье? Если дирижированье лишь подталкиванье и без того катящейся музыки, то к чему оно, если оркестр и сам по себе хорош, если он безукоризненно сыгрался? Оркестр без дирижера, лелеемый как мечта, принадлежит к тому же разряду «идеалов» всеевропейской пошлости, как всемирный язык эсперанто, символизирующий лингвистическую сыгранность всего человечества.

Посмотрим, как появилась дирижерская палочка, и мы увидим, что пришла она не поздно и не рано, а именно тогда, когда ей следовало прийти, и пришла как новый, самобытный вид деятельности, творя по воздуху свое новое хозяйство.

Послушаем, как родилась или, вернее, вылупилась из оркестра современная дирижерская палочка.

1732 — Такт (темп или удар) — раньше отбивался ногой, теперь обыкновенно рукой. Дирижер — conducteur — der Anführer (Вальтер. «Музыкальный словарь»).

1753 — Барон Гримм называет дирижера Парижской оперы дровосеком, согласно обычаю отбивать такт во всеуслышанье,— обычай, который со времен Люлли господствовал во французской опере (Шюнеман. «Geschichte der Dirigierens»[1], 1913).

1810 — На Франкенгаузенском музыкальном празднестве Шпор дирижировал палочкой, скатанной из бумаги, «без малейшего шума и без всяких гримас» (Шпор. «Автобиография»)[2].

Дирижерская палочка сильно опоздала родиться — химически реактивный оркестр ее предварил. Полезность дирижерской палочки далеко не исчерпывающая ее мотивировка. В пляске дирижера, стоящего спиной к публике, находит свое выражение химическая природа оркестровых звучаний. И эта палочка далеко не внешний, административный придаток или своеобразная симфоническая полиция, могущая быть устраненной в идеальном государстве. Она не что иное, как танцующая химическая формула, интегрирующая внятные для слуха реакции. Прошу также отнюдь не считать ее

---

[1] "История дирижирования" *(нем.)*.

[2] К а р с А. История оркестровки. Музгиз, 1932. *(Примеч. О.Мандельштама).*

добавочным немым инструментом, придуманным для вящей наглядности и доставляющим дополнительное наслаждение. В некотором смысле эта неуязвимая палочка содержит в себе качественно все элементы оркестра. Но как содержит? Она не пахнет ими и не может пахнуть. Она не пахнет точно так же, как химический знак хлора не пахнет хлором, как формула нашатыря или аммиака не пахнет аммиаком или нашатырем.

Дант выбран темой настоящего разговора не потому, чтобы я предлагал сосредоточить на нем внимание в порядке учебы у классиков и усадить его за своеобразным кирпотинским табльдотом вместе с Шекспиром и Львом Толстым,— но потому, что он самый большой и неоспоримый хозяин обратимой и обращающейся поэтической материи, самый ранний и в то же время самый сильный химический дирижер существующей только в наплывах и волнах, только в подьемах и лавированьях поэтической композиции.

VII

Дантовские песни суть партитуры особого химического оркестра, в которых для внешнего уха наиболее различимы сравнения, тождественные с порывами, и сольные партии, то есть арии и ариозо,— своеобразные автопризнания, самобичевания или автобиографии, иногда короткие и умещающиеся на ладони, иногда лапидарные, как надгробная надпись; иногда развернутые, как похвальная грамота, выданная средневековым университетом; иногда сильно развитые, расчлененные и достигшие драматической оперной зрелости, как, например, знаменитая кантилена Франчески.

Тридцать третья песнь «Inferno», содержащая рассказ Уголино о том, как его с тремя сыновьями уморил голодом в тюремной башне пизанский архиепископ Руджери, дана в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый, отравленный мед.

Густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. В мире не существует силы, которая могла бы ускорить движение меда, текущего из наклоненной склянки. Поэтому виолончель могла сложиться и оформиться только тогда, когда европейский анализ времени достиг достаточных успехов, когда были преодолены бездумные солнечные часы и бывший наблюда-

тель теневой палочки, передвигающейся по римским цифрам на песке, превратился в страстного соучастника дифференциальной муки и в страстотерпца бесконечно малых. Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила. Спросите у Брамса — он это знает. Спросите у Данта — он это слышал.

Рассказ Уголино — одна из самых значительных дантовских арий, один из тех случаев, когда человек, получив какую-то единственную возможность быть выслушанным, которая никогда уже не повторится, весь преображается на глазах у слушателя, играет на своем несчастье как виртуоз, извлекает из своей беды дотоле никем не слышанный и ему самому неведомый тембр.

Следует твердо помнить, что тембр — структурное начало, подобно щелочности или кислотности того или иного химического соединения. Колба не является пространством, в котором совершается химическая реакция. Это было бы чересчур просто.

Виолончельный голос Уголино, обросшего тюремной бородой, голодающего и запертого вместе с тремя сыновьями-птенцами, из которых один носит резкое скрипичное имя Ансельмуччио, выливается из узкой щели —

Breve pertugio dentro dalla muda[1],—

(Inf., XXXIII, 22)

он вызревает в коробке тюремного резонатора — тут виолончель не на шутку братается с тюрьмой.

Il carcere — тюрьма дополняет и акустически обусловливает речевую работу автобиографической виолончели.

В подсознаньи итальянского народа тюрьма играла выдающуюся роль. Тюремные кошмары всасывались с молоком матери. Треченто бросало людей в тюрьму с удивительной беспечностью. Обыкновенные тюрьмы были доступны обозрению, как церкви или наши музеи. Интерес к тюрьме эксплуатировался как самими тюремщиками, так и устрашающим аппаратом маленьких государств. Между тюрьмой и свободным наружным миром существовало оживленное общение, напоминающее диффузию — взаимное просачиванье.

И вот история Уголино — один из бродячих анекдотов, кошмарик, которым матери пугают детей,— один из тех приятных ужасов, которые с удовольствием проборматыва-

[1] Узкая щель в темной клетке (для линьки ловчих птиц).

ются, ворочаясь с боку на бок в постели, как средство от бессонницы. Она балладно общеизвестный факт, подобно Бюргеровой «Леноре», «Лорелее» или «Erlkönig'y»[1].

В таком виде она соответствует стеклянной колбе, столь доступной и понятной независимо от качества химического процесса, в ней совершающегося.

Но виолончельное largo, преподносимое Дантом от лица Уголино, имеет свое пространство, свою структуру, раскрывающиеся через тембр. Колба-баллада с ее общеизвестностью разбита вдребезги. Начинается химия с ее архитектонической драмой.

«I'non so chi tu sei, nè per che modo
Venuto se'quaggiu; ma Fiorentino
Mi sembri veramente quand'io t'odo.
Tu dei saper ch'io fui Conte Ugolino...»

(Inf., XXXIII, 10-14)

«Я не знаю, кто ты и как сюда сошел, но по говору ты мне кажешься настоящим флорентийцем. Ты должен знать, что я был Уголино...»

«Ты должен знать» — «tu dei saper» — первый виолончельный нажим, первое выпячивание темы.

Второй виолончельный нажим: если ты не заплачешь сейчас, то я не знаю, что же способно выжать слезы из глаз твоих...

Здесь раскрываются воистину безбрежные горизонты сострадания. Больше того, сострадающий приглашается как новый партнер и уже звучит из отдаленного будущего его вибрирующий голос.

Однако я не случайно упомянул про балладу. Рассказ Уголино именно баллада по своей химической сущности, хотя и заключенная в тюремную реторту. Здесь следующие элементы баллады: разговор отца с сыновьями (вспомните «Лесного царя»); погоня за ускользающей скоростью, то есть, продолжая параллель с «Лесным царем», в одном случае — бешеный скок с трепещущим сыном на руках, в другом — тюремная ситуация, то есть отсчет капающих тактов, приближающих отца с тремя детьми к математически представимому, но для отцовского сознания невозможному порогу голодной смерти. Тот же ритм скачки дан здесь в скрытом виде — в глухих завываниях виолончели, которая из всех сил стремится выйти

[1] "Лесной царь" *(нем.)* — баллада Гете.

из ситуации и дает звуковую картину еще более страшной, медленной погони, разлагая скорость на тончайшие фибры.

Наконец, подобно тому как виолончель сумасбродно беседует сама с собой и выжимает из себя вопросы и ответы, рассказ Уголино интерполируется трогательными и беспомощными репликами сыновей:

«...ed Anselmuccio mio
Disse: «Tu guardi sì, padre: che hai?» —

(Inf., XXXIII, 30-31)

«...и Ансельмуччио мой сказал: «Отец, куда ты смотришь? Что с тобой?»

То есть драматическая структура самого рассказа вытекает из тембра, а вовсе не сам тембр подыскивается для нее и напяливается на нее, как на колодку.

VIII

Мне кажется, Дант внимательно изучал все дефекты речи, прислушивался к заикам, шепелявящим, гнусящим, не выговаривающим букв и многому от них научился.

Так хочется сказать о звуковом колорите тридцать второй песни «Inferno».

Своеобразная губная музыка: «abbo» — «gabbo» — «babbo» — «Tebe» — «plebe» — «zebe» — «converrebbe». В создании фонетики как бы участвует нянька. Губы то ребячески выпячиваются, то вытягиваются в хоботок.

Лабиальные образуют как бы «цифрованный бас» — basso continuo, то есть аккордную основу гармонизации. К ним пристраиваются чмокающие, сосущие, свистящие, а также цокающие и дзекающие зубные.

Выдергиваю на выбор одну только ниточку: «cagnazzi» — «riprezzo» — «quazzi» — «mezzo» — «gravezza»...

Щипки, причмокиванья и губные взрывы не прекращаются ни на одну секунду.

В песнь вкраплен словарик, который бы я назвал ассортиментом бурсацкой травли или кровожадной школьной дразнилки: «cuticagna» — загривок; «dischiomi» — выщипываешь волосья, патлы; «sonar con el mascelle» — драть глотку, лаять; «pigliare a gabbo» — бахвалиться, брать спрохвала. При помощи этой нарочито бесстыжей, намеренно инфантильной

оркестровки Дант выращивает кристаллы для звукового ландшафта Джудекки (круг Иуды) и Кайны (круг Каина).

Non fece al corso suo sì grosso velo
D'inverno la Danoia in Osteric,
Nè Tanai là sotto il freddo cielo,
Com'era quivi: chè, se Tambernic
Vi fosse su caduto, o Pietrapana,
Non avria pur dall'orlo fatto cric[1].

(Inf., XXXII, 25-30)

Вдруг ни с того ни с сего раскрякалась славянская утка: «Osteric», «Tambernic», «cric» (звукоподражательное словечко — «треск»).

Лед дает фонетический взрыв и рассыпается на имена Дуная и Дона. Холодообразующая тяга тридцать второй песни произошла от внедрения физики в моральную идею: предательство — замороженная совесть — атараксия позора — абсолютный нуль.

Тридцать вторая песнь по темпу современное скерцо. Но какое? Анатомическое скерцо, изучающее дегенерацию речи на звукоподражательном инфантильном материале.

Тут вскрывается новая связь — еда и речь. Постыдная речь обратима вспять, обращена назад — к чавканью, укусу, бульканью — к жвачке.

Артикуляция еды и речи почти совпадают. Создается странная саранчовая фонетика:

Mettendo i denti in nota di cicogna —

«Работая зубами на манер челюстей кузнечиков».

Наконец, необходимо отметить, что тридцать вторая песнь переполнена анатомическим любострастием.

«...Тот самый знаменитый удар, который одновременно нарушил и целость тела и повредил его тень...» Там же с чисто хирургическим удовольствием: «...тот, кому Флоренция перерубила шейные позвонки...» —

Di cui segò Fiorenza la gorgiera...

И еще: «Подобно тому как голодный с жадностью кидается

---

[1] Не укрывался на своем ложе таким толстым покровом зимой ни Дунай в Австрии, ни Танаис (Дон) там, под холодным небом, каков был тут; пусть бы даже (гора) Тамберник или Пьетрапана рухнула на него — не выщербился бы и край.

на хлеб, один из них, навалившись на другого, впился зубами в то самое место, где затылок переходит в шею...» —

Là've il cervel s'aggiunge colla nuca...

Все это приплясывает дюреровским скелетом на шарнирах и уводит к немецкой анатомии.

Ведь убийца — немножечко анатом.

Ведь палач для средневековья — чуточку научный работник.

Искусство войны и мастерство казни — немножечко преддверье к анатомическому театру.

IX

Inferno — это ломбард, в котором заложены без выкупа все известные Данту страны и города. Мощнейшая конструкция инфернальных кругов имеет каркас. Ее не передать в виде воронки. Ее не изобразить на рельефной карте. Ад висит на железной проволоке городского эгоизма.

Неправильно мыслить inferno как нечто объемное, как некое соединение огромных цирков, пустынь с горящими песками, смердящих болот, вавилонских столиц и докрасна раскаленных мечетей. Ад ничего в себе не заключает и не имеет объема, подобно тому как эпидемия, поветрие язвы или чумы,— подобно тому как всякая зараза лишь распространяется, не будучи пространственной.

Городолюбие, городострастие, городоненавистничество — вот материя inferno. Кольца ада не что иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный город развеян всюду — он им окружен. Мне хочется сказать, что inferno окружен Флоренцией. Итальянские города у Данта — Пиза, Флоренция, Лукка, Верона — эти милые гражданские планеты — вытянуты в чудовищные кольца, растянуты в пояса, возвращены в туманное, газообразное состояние.

Антиландшафтный характер inferno составляет как бы условие его наглядности.

Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуке, но не одним, а множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство существует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд. Уточнить образы Данта так же немыслимо, как перечислить фамилии людей, участвовавших в переселении народов.

«Подобно тому как фламандцы между Гуцантом и Брюгге, опасаясь нахлестывающего морского прилива, воздвигают плотины, чтобы море побежало вспять; и наподобие того как падованцы сооружают насыпи вдоль набережной Бренты в заботе о безопасности своих городов и замков в предвиденьи весны, растапливающей снега на Кьярентане (часть снеговых Альп),— такими были и эти, хоть и не столь монументальные, дамбы, кто бы ни был строивший их инженер...» (Inf., XV, 4-12).

Здесь луны многочленного маятника раскачиваются от Брюгге до Падуи, читают курс европейской географии, лекцию по инженерному искусству, по технике городской безопасности, по организации общественных работ и по государственному значению для Италии альпийского водораздела.

Мы — ползающие на коленях перед строчкой стиха,— что сохранили мы от этого богатства? Где восприемники его, где его ревнители? Как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки?

Страшно подумать, что ослепительные взрывы современной физики и кинетики были использованы за шестьсот лет до того, как прозвучал их гром, и нету слов, чтобы заклеймить постыдное, варварское к ним равнодушие печальных наборщиков готового смысла.

Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает.

Из всех наших искусств только живопись, притом новая, французская, еще не перестала слышать Данта. Это живопись, удлиняющая тела лошадей, приближающихся к финишу на ипподроме.

Каждый раз, когда метафора поднимает до членораздельного порыва растительные краски бытия, я с благодарностью вспоминаю Данта.

Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст природы, и разучились описывать то единственное, что по структуре своей поддается поэтическому изображению, то есть порывы, намеренья и амплитудные колебания.

Птоломей вернулся с черного крыльца!.. Напрасно жгли Джордано Бруно!..

Наши создания еще в утробе своей известны всем и каждому, а дантовские многочленные, многопарусные и кинетически раскаленные сравнения до сих пор сохраняют прелесть никому не сказанного.

Изумительна его «рефлексология речи» — целая до сих пор не созданная наука о спонтанном психофизиологическом воздействии слова на собеседников, на окружающих и на самого говорящего, а также средства, которыми он передает порыв к говоренью, то есть сигнализирует светом внезапное желание высказаться.

Здесь он ближе всего подходит к волновой теории звука и света, детерминирует их родство.

«Подобно тому как зверь, накрытый попоной, нервничает и раздражается и только шевелящиеся складки материи выдают его недовольство, так же первосозданная душа (Адама) изъявила мне сквозь оболочку (света), до чего ей приятно и весело ответить на мой вопрос...» (Par., XXVI, 97-102).

В третьей части «Комедии» («Paradiso») я вижу настоящий кинетический балет. Здесь всевозможные виды световых фигур и плясок, вплоть до пристукиванья свадебных каблучков.

«Передо мной пылали четыре факела, и тот, который ближе, вдруг оживился и так зарозовел, как если бы Юпитер и Марс вдруг превратились в птиц и обменялись перьями...» (Par., XXVII, 10-15).

Не правда ли, странно: человек, который собрался говорить, вооружается туго натянутым луком, делает припас бородатых стрел, приготовляет зеркала и выпуклые чечевичные стекла и щурится на звезды, как портной, вдевающий нитку в игольное ушко...

Эта сборная цитата, сближающая разные места «Комедии», придумана мной для наивящей характеристики речеподготовляющих ходов дантовской поэзии.

Подготовка речи еще более его сфера, нежели сама артикуляция, то есть речь.

Вспомните дивную мольбу, обращенную Виргилием к хитрейшему из греков.

Вся она зыблется мягкостью итальянских дифтонгов.

Эти виющиеся, заискивающие и заикающиеся язычки незащищенных светильников, лопочущие о промасленном фитиле...

«O voi, che siete due dentro ad un foco,
S'io meritai di voi mentre ch'io vissi,
S'io meritai di voi assai o poco...»[1]

(Inf., XXVI, 79-81)

[1] "О вы, двое в одном огне, если я прославил вас, пока жил, если я прославил вас хоть немножко (— остановитесь!)".

По голосу Дант определяет происхождение, судьбу и характер человека, как современная ему медицина разбиралась в здоровье по цвету мочи.

X

Он преисполнен чувством неизъяснимой благодарности к тому кошничному богатству, которое падает ему в руки. Ведь у него немалая забота: надо приуготовить пространство для наплывов, надо снять катаракту с жесткого зрения, надо позаботиться о том, чтобы щедрость изливающейся поэтической материи не протекла между пальцами, не ушла в пустое сито.

Tutti dicean: «Benedictus qui venis»,
E fior gittando di sopra e dintorno,
«Manibus o date lilia plenis»[1].

(Purg., XXX, 19-21)

Секрет его емкости в том, что ни единого словечка он не привносит от себя. Им движет все что угодно, только не выдумка, только не изобретательство. Дант и фантазия — да ведь это несовместимо!.. Стыдитесь, французские романтики, несчастные incroyables'и в красных жилетах, оболгавшие Алигьери! Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик... Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминованный подлинник, одолженный ему из библиотеки приора.

Я, кажется, забыл сказать, что «Комедия» имела предпосылкой как бы гипнотический сеанс. Это верно, но, пожалуй, слишком громко. Если взять это изумительное произведение под углом письменности, под углом самостоятельного искусства письма, которое в 1300 году было вполне равноправно с живописью, с музыкой и стояло в ряду самых уважаемых профессий, то ко всем уже приложенным аналогиям прибавится еще новая — письмо под диктовку, списыванье, копированье.

---

[1] Все говорили: "Благословен ты, грядущий",— разбрасывая цветы.— "Несите лилий полные горсти!"

Иногда, очень редко, он показывает нам свой письменный прибор. Перо называется «penna», то есть участвует в птичьем полете; чернило называется «inchiostro», то есть монастырская принадлежность; стихи называются тоже «inchiostri», или обозначаются латинским школьным «versi», или же, еще скромнее,— «carte», то есть изумительная подстановка вместо стихов страницы.

И когда уже написано и готово, на этом еще не ставится точка, но необходимо куда-то понести, кому-то показать, чтобы проверили и похвалили.

Тут мало сказать списыванье — тут чистописанье под диктовку самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик гораздо важнее так называемого поэта.

...Вот еще немного потружусь, а потом надо показать тетрадь, облитую слезами бородатого школьника, строжайшей Беатриче, которая сияет не только славой, но и грамотностью.

Задолго до азбуки цветов Артура Рэмбо Дант сопряг краску с полногласием членораздельной речи. Но он — красильщик, текстильщик. Азбука его — алфавит развевающихся тканей, окрашенных цветными порошками — растительными красками.

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva[1].

(Purg., XXX, 31-33)

Его порывы к краскам скорее могут быть названы текстильными порывами, нежели алфавитными. Краска для него распахивается только в ткани. Текстиль у Данта — высшее напряжение материальной природы, как субстанции, определяемой окрашенностью. А ткачество — занятие наиболее близкое к качественности, к качеству.

...Теперь я попробую описать один из бесчисленных дирижерских полетов Дантовой палочки. Мы возьмем этот полет вкрапленным в реальную оправу драгоценного и мгновенного труда.

---

[1] Поверх белоснежного покрова повитая масличными ветвями, явилась мне донна, в огненноцветном платье под зеленой мантией.

Начнем с письма. Перо рисует каллиграфические буквы, выводит имена собственные и нарицательные. Перо — кусочек птичьей плоти. Дант, никогда не забывающий происхождения вещей, конечно, об этом помнит. Техника письма с его нажимами и закруглениями перерастает в фигурный полет птичьих стай.

E come augelli surti di riviera,
  Quasi congratulando a lor pasture,
  Fanno di sè or tonda or altra schiera,
Si dentro ai lumi sante creature
  Volitando cantavano, e faciensi
  Or D, or I, or L, in sue figure[1].

(Par., XVIII, 73-78)

Подобно тому как буквы под рукой у писца, повинующегося диктору и стоящего вне литературы как готового продукта, идут на приманку смысла, как на сладостный корм,— так же точно и птицы, намагниченные зеленой травой, то врозь, то вместе, клюют что попало, то разворачиваясь в окружность, то вытягиваясь в линию...

Письмо и речь несоизмеримы. Буквы соответствуют интервалам. Старая итальянская грамматика, так же как и наша русская, все та же волнующаяся птичья стая, все та же пестрая тосканская «schiera»[2], то есть флорентийская толпа, меняющая законы, как перчатки, и забывающая к вечеру изданные сегодня утром для общего блага указы.

Нет синтаксиса — есть намагниченный порыв, тоска по корабельной корме, тоска по червячному корму, тоска по неизданному закону, тоска по Флоренции.

XI

Вернемся еще раз к вопросу о дантовском колорите.

Внутренность горного камня, запрятанное в нем алладиново пространство, фонарность, ламповость, люстровая подве-

[1] И подобно тому, как птицы, поднявшись с берега, словно бы радуясь своим лугам, выстраиваются то в круг, то в другую фигуру, так (живущие) в светочах святые создания пели в полете и слагали в своих перестроениях то D, то I, то L.

[2] Толпа, стая.

сочность заложенных в нем рыбьих комнат — наилучший из ключей к уразумению колорита «Комедии».

Минералогическая коллекция — прекраснейший органический комментарий к Данту.

Позволю себе маленькое автобиографическое признание. Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и т.д. Тут я понял, что камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное пространство. Для того чтобы это понять, надо себе представить, что все геологические изменения и самые сдвиги вполне разложимы на элементы погоды. В этом смысле метеорология первичнее минералогии, объемлет ее, омывает, одревливает и осмысливает.

Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу, высвечивают ее из камня-погоды.

Камень — импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен.

Соединив несоединимое, Дант изменил структуру времени, а может быть, и наоборот: вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертона времени.

Избранный Дантом метод анахронистичен — и Гомер, выступающий со шпагой, волочащейся на боку, в сообществе Виргилия, Горация и Лукиана из тусклой тени приятных орфеевых хоров, где они вчетвером коротают бесслезную вечность в литературной беседе,— наилучший его выразитель.

Показателями стояния времени у него являются не только круглые астрономические тела, но решительно все вещи и характеры. Все машинальное ему чуждо. К каузальной причинности он брезглив: такие пророчества годятся свиньям на подстилку.

«Faccian le bestie Fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchin la pianta,
S'alcuna surge ancor nel lor letame...»[1]

(Inf., XV, 73-75)

На прямой вопрос, что такое дантовская метафора, я бы ответил — не знаю, потому что определить метафору можно только метафорически,— и это научно обосновываемо. Но мне кажется, что метафора Данта обозначает стояние времени. Ее корешок не в словечке «как», но в слове «когда». Его «quando» звучит как «come». Овидиев гул ему ближе, чем французское красноречие Виргилия.

Снова и снова я обращаюсь к читателю и прошу его нечто себе «представить», то есть обращаюсь к аналогии, ставящей себе единственную цель — восполнить недостаточность нашей определительной системы.

Итак, вообразите себе, что в поющий и ревущий орган вошли, как в приоткрытый дом, и скрылись в нем патриарх Авраам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их родичами и Рахилью, ради которой Иаков столько претерпел.

А еще раньше в него вошли наш праотец Адам с сыном своим Авелем, и старик Ной, и Моисей — законодатель и законопослушник...

«Trasseci l'ombra del primo parente,
D'Abel suo figlio, e guella di Noè,
Di Moisè legista e ubbidiente;
Abraam patriarca, e David re,
Israel con lo padre, e co'suoi nati,
E con Rachele, per cui tanto fe'...»[2]

(Inf., IV, 55-60)

После этого орган приобретает способность двигаться — все трубы его и меха приходят в необычайное возбуждение, и, ярясь и неистовствуя, он вдруг начинает пятиться назад.

Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей,

---

[1] "Пусть фьезольские скоты пожрут себя, как подстилку, но не тронут ростка, если что-то еще может вырасти в их навозе".

[2] "Он вывел тень прародителя, его сына Авеля и тень Ноя, послушливого законодателя Моисея; патриарха Авраама и царя Давида, Израиля с отцом, и с его отпрысками, и с Рахилью, ради которой он столько всего совершил".

9–840

вошли друг в друга, смесились и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное Дантовой «Комедии».

Отнять Данта у школьной риторики — значит оказать немаловажную услугу всему европейскому просвещению. Я надеюсь, что здесь не потребуется вековых трудов, но только дружными международными усилиями удастся создать подлинный антикомментарий к работе целого ряда поколений схоластов, ползучих филологов и лжебиографов. Неуважение к поэтической материи, которая постигается лишь через исполнительство, лишь через дирижерский полет,— оно-то и было причиной всеобщей слепоты к Данту, величайшему хозяину и распорядителю этой материи, величайшему дирижеру европейского искусства, опередившему на многие столетия формирование оркестра, адекватного — чему? — интегралу дирижерской палочки...

Каллиграфическая композиция, осуществляемая средствами импровизации,— такова приблизительно формула дантовского порыва, взятого одновременно и как полет и как нечто готовое. Сравнения суть членораздельные порывы.

Самые сложнейшие конструктивные части поэмы выполняются на дудочке, на приманке. Сплошь и рядом дудочка предпосылается вперед.

Тут я имею в виду дантовские интродукции, выпускаемые им как будто наудачу, как будто пробные шары.

Quando si parte il giuoco della zara,
  Colui che perde si riman dolente,
  Ripetendo le volte, e tristo impara:
Con l'altro se ne va tutta la gente:
  Qual va dinanzi, e qual di retro il prende,
  E qual da lato gli si reca a mente.
Ei non s'arresta, e questo e quello intende;
  A cui porge la man più non fa pressa;
  E così dalla calca si difende.

(Purg., VI, 1-9)

«Когда заканчивается игра в кости, проигравший в печальном одиночестве переигрывает партию, уныло подбрасывая костяшки. Вослед за удачливым игроком увязывается вся компания: кто забегает вперед, кто одергивает его сзади, кто подмазывается к нему сбоку, напоминая о себе; но баловень счастья идет себе дальше, всех без различия выслушивает и

при помощи рукопожатий освобождается от назойливых приставал...»

И вот «уличная» песнь «Чистилища» с ее толкотней назойливых флорентийских душ, требующих, во-первых, сплетен, во-вторых, заступничества и, в-третьих, снова сплетен, идет на приманке жанра, на типичной фламандской дудочке, которая стала живописью только триста лет спустя.

Напрашивается еще одно любопытное соображение: комментарий (разъяснительный) — неотъемлемая структурная часть самой «Комедии». Чудо-корабль вышел из верфи вместе с прилипшими к нему ракушками. Комментарий выводится из уличного говора, из молвы, из многоустой флорентийской клеветы. Он неизбежен, как альциона, вьющаяся за батюшковским кораблем.

...Вот, вот, посмотрите: идет старый Марцукко... Как он прекрасно держался на похоронах сына!.. Замечательно мужественный старик... А вы знаете, Пьетро де ла Брочья совсем напрасно отрубили голову — он чист как стеклышко... Тут замешана черная женская рука... Да вот, кстати, он сам — подойдем, спросим...

Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена содержания, по той простой причине, что она существует лишь в исполнении. Готовая вещь есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая, остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей.

Говоря о Данте, правильнее иметь в виду порывообразование, а не формообразование — текстильные, парусные, школярские, метеорологические, инженерийные, муниципальные, кустарно-ремесленные и прочие порывы, список которых можно продолжить до бесконечности.

Другими словами — нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направление дательными. Это закон обратимой и обращающейся поэтической материи, существующей только в исполнительском порыве.

...Здесь все вывернуто: существительное является целью, а не подлежащим фразы. Предметом науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненности порыва и текста.

1933

249.

ДАГЕСТАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ:
аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, тюрки, таты, ногайцы.

Составил и комментировал Эффенди Капиев, ГИХЛ, стр. 256.

Книга составлена в историческом разрезе: безыменное народное творчество, знаменитые певцы прошлого века, гремевшие далеко за пределами родного аула, но доверявшие свою поэзию только памяти односельчан, потому что родная речь не имела грамоты, — дальше поэты и литераторы буржуазно-просветительной эпохи, выбившиеся «в люди», живавшие и учившиеся в столицах, дальше — изумительное по революционной жизненности и верности родному народу поколение молодых писателей-революционеров, с незабываемым Гарун Саидовым во главе; наконец, сегодняшняя советская литература Дагестана, созидаемая участниками и организаторами стройки, усвоившими большевистскую теорию, людьми, совмещающими, как, например, лакский поэт Черинов, интерес к мировой литературе, работу над Пушкиным и Шекспиром с сельскохозяйственной научной подготовкой.

Восемь глав сборника: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки и т.д.— это ущелья, по которым обособленно развивалось творчество народов Дагестана.

Для составителей книги, знающих главные языки Дагестана и чувствующих форму каждого поэта, такое деление кажется закономерным, но в сглаживающем русском переводе читатель, восемь раз окунаемый в прошлое и восемь раз переживающий революционный перелом, невольно путается и устает.

Если в старом Дагестане были замечательные поэты: например — аварец Махмуд и даргинец Бажирай (пред‹исловие› Эф. Капиева), то надобно было бы их выделить, поручив перевод мастерам русского стиха, чтоб сохранился размер, напев и словесный узор. Того же Махмуда Дзахо Гатуев излагает частью свободным стихом, частью зарифмованной прозой. Получается как бы длинная выписка изречений в арабско-персидском вкусе. Между тем дагестанскому народ-

ному творчеству свойственна энергия и узорность, сближающая поэтов с златокузнецами — оружейниками.

Каждой насечке узора соответствуют удар, искра. Слово в горской песне берется в тиски для выпрямления, скребком очищается от окалины, куется на подвижной наковальне, чеканится не только снаружи, но и изнутри, как сосуд.

Большинство стихов дагестанского сборника в русской передаче лишены материальности, словесной активности. Даже неловко выписывать такие строчки, как «соловей поет зарею, беззаботно и игриво» (перевод Бугаевского из Етим Эмина — крупнейшего лезгинского поэта, о котором готовит монографию Дагестанский научно-исследовательский институт).

В самом начале книги радуют прекрасные переводы Андрея Глобы «Тюрьма царская проклятая» и «Салтинский мост».

Если б цепь порвать,
Если б дверь сломать,
Если б аргамак мой
Подо мной опять.

Составители не сочли нужным сообщить, связаны ли переводчики наказом приближаться к точной форме подлинника или работают по вдохновению, натягивая текст подстрочника на более удобную для них русскую колодку. Поэтому о пьесах Глобы можно лишь сказать, что в них удачно скрестилась новая советская лирика с народной дагестанской темой.

Гей, почему все черешни в цвету
    И скворцы поют?
Гей, почему на Салтинском мосту
    Барабаны бьют?

Глубоко впечатляющую песнь хунзахских партизан «Смерть большевика Муссы Кундахавы» перевел Александр Шпирт. Вот доказательство, как много может сделать даже лишенный особых лирических данных переводчик, если он уважает свой материал.

В селенье Цацан-Юрт приехал ты
И на субботник шел, наш друг
                                        Мусса,
И на дороге встретили тебя
Отравленные местью кулаки.
Большевика хотели обмануть,
Пожатьем рук хотели обмануть,
Чтоб руки вывернуть, чтоб повалить —
Уловкой взять хотели храбреца.

Хунзахская песня — высокий образец революционного чувства; нежность к погибшему товарищу, горе, просветленное уверенностью в победе, наивная сила крестьянской речи — так кстати, так по-агитационному умно подчеркивающей конкретное в биографии Муссы — открывают этой пьесе дорогу в широкий массовый репертуар, несмотря на большие стилистические срывы.

Однако я сейчас же оговорюсь, что в дагестанском сборнике очень немного стихов, достойных войти в русский литературный обиход, и это тем более досадно, что большинство дагестанских лириков распевает свои сочинения, владеет голосом, как поэтическим оружием, и органически не может создавать мертвых вещей.

Политические лозунги дагестанская лирика всегда поворачивает к родной стране, национально окрашивает, бережно доводя их содержание до вчера еще неграмотного, жадного слушателя. Никакой риторики в строении образа у дагестанских поэтов нет, а в переводах она есть.

Когда поэт Шамсудин говорит: «Светлая свобода с мудрыми порядками, мощная и стройная, как в русле река»,— нужно иметь в виду, что мощная и плавная река для горца — новый образ, уводящий его из домашнего кругозора. Горная речка узкая и стеснена скалами. Вот почему, говоря о партии, которая принесла в тесный аул мировую революцию, дагестанский лирик начинает свежим для него образом равнинной реки.

В переводе, очевидно, все сдвинуто, смещено: у реки завелись порядки, ей приписан невозможный строй, а величавое ее течение техническими средствами стиха не передается.

Сытое великодержавное невежество мешало дагестанцев в одну кучу с кавказцами вообще. В громадном и нищенском ауле Кубачи работали чеканщики в бараньих шапках. В городах европейской России ютились кустари-отходники — выходцы из маленькой дагестанской народности — лаки — лудильщики по профессии. В губернском городе они продолжали трагедию домашнего существования: неуменье помочь друг другу, так прекрасно характеризованное в песне Гаджи Ахтинского:

Мы слова, нужного двоим,
Вдвоем не сложим, Дагестан.

Бедняки-лудильщики становились хозяйчиками поневоле и били по голове учеников-подростков, выжимая из них «прибавочную стоимость», чтобы спасти саклю от продажи с

публичных торгов, и кинжал с узорной насечкой находил свое место в трагедии. Обезумевшие, забитые подмастерья обкрадывали хозяев. Дело шло к развязке, деньги оборачивались кровью: «Эй... Голова моя в огне... Это не я, не я убил. Держите. Шестьсот тысяч рублей... Держите. Люди, где вы, люди?.. Смилуйтесь. Эй, мальчик. Иди. Иди, укажи мне дорогу в Багдад...»

Об этом рассказывает лакский драматург Гарун Саидов — студент Коммерческого института, вернувшийся в Дагестан делать революцию и зарубленный контрреволюционными бандитами в 1919 году в расцвете замечательных творческих сил.

В пьесе Гарун Саидова роль трагического вестника исполняет почтальон с телеграммой, которую никто не может прочесть, потому что все неграмотны.

Надо ли удивляться, что в дагестанской фольклорной, только на днях сложенной песне о культштурме говорится:

О желанной, как солнце красное,
Грамоте будем петь...

Переводчик Зайцев правильно понял свадебную запевку этого стихотворения.

Не следует подходить к поэзии современного Дагестана с укороченной, облегченной меркой. У дагестанских авторов за плечами большая словесная культура родного народа. У них взыскательные и творчески одаренные слушатели.

«Писатели переключаются на отображение величественных процессов, меняющих лик страны. Наиболее значительным произведением, рисующим развернутый образ горца, пришедшего на завод, является поэма лезгинского писателя А. Фатахова "Ударник Гассан" (цитирую предисловие Капиева). В этой поэме пейзаж дан набором готовых линяло-акварельных красок: «В голубой, небесной чаще звезд сияющая россыпь», речь по газетному очерку: «план четвертого квартала выполнен наполовину». Сюжет строится по способу благополучного развития: премированный колхозник-ударник на заводе. Лирическая поэма превращается в какой-то разжевывающий аппарат. Читательский интерес убывает по мере развития темы.

Поэма Фатахова — быть может, почетная для молодого лезгинского писателя неудача, но все же срыв. Если даже ее обесцветил переводчик,— остается мертвенность сюжетной композиции.

Дагестанской прозы составители сборника как будто стесняются и называют ее схематичной. В этом они глубоко неправы. В дагестанской прозе большое скованное, оригинальное и недоразвитое мастерство. Молодые авторы, о которых идет речь, правильно угадали, что прозаическое искусство состоит в извлечении максимального общего эффекта из подробностей, из частностей. Их внешне бессюжетные вещи без натяжки детальны, без дробности подробны, что редко случается с нашими молодыми прозаиками.

«По густо-синему небу с коротким клекотом, чертя зигзаги, вился стервятник. Он парил от одного хребта к другому, словно штопал невидимыми нитями зияющую между горами пропасть» (Шахабудны Михайлов).

«На засаленной жирной странице журнала крестики посещаемости напоминают жирную баранту...»

«Мертвые каменные переулки...» «...Пышные воротники шуб...»

Надо поблагодарить тов. Эффенди Капиева и Дзахо Гатуева за прекрасно задуманный сборник и глубоко проработанный материал. Несомненно, они сделали все от них зависящее для прочного знакомства нашего читателя с дагестанской поэзией. Но следовало бы отвести наиболее равнодушных и слишком ловких переводчиков, сообщить в предисловии принципы перевода, вкратце сказать о ладе и музыкальном сопровождении дагестанской народной песни (не упомянуты даже инструменты) и, наконец, кроме ценнейших сведений, вкрапленных в биографические справки, дать общую характеристику советской дагестанской литературы, как содружества и как организации.

1935

250.

СТИХИ О МЕТРО.

Сборник литкружковцев Метростроя.
Гослитиздат, 1935 г., 87 стр., цена 1 руб. 50 коп.

В одной из шахт Метростроя на Смоленской площади работали люди 34 профессий (резинщики, химики, токари, формовщики, мебельщики и др.) — так велика была тяга к работе на Метрострое.

В другом участке работы пом. директора кинофабрики обучал пришедших с ним на Метрострой киноработников тоннельному мастерству: так бесконечно много давала квалификация на Метрострое, общение с этим университетом социалистического труда.

Один из строителей — бывший чернорабочий, четырнадцатилетним мальчиком спустившийся в шахты Донбасса,— пройдя метростроевский стаж, заговорил в печати о «стиле работы».

Почти каждый выступающий на страницах прессы участник Метростроя считает нужным сближать социалистический труд с художественным творчеством, и нередко о труде говорят в терминах искусства.

В шахте под Свердловской площадью комсомолка Паня напевает, работая, арию: «не счесть алмазов в каменных пещерах», и, быть может, в двух шагах в Большом театре звучит та же ария — поразительное было бы совпадение.

«Кто первым дорвется до юрских глин?»— интересный лозунг соревнования. Вдумайтесь в него: строители метро научно разбираются в геологических пластах и эпохах. В толщу времени эти люди, озабоченные тем, чтобы построенные их руками тоннели выдержали давление грядущих веков, вторгаются, как полновластные хозяева: изучить строение породы, победить ее сопротивленье, вырвать у нее свободное пространство, залить его светом, наполнить движением, социалистической радостью.

«Большое дело, громадное дело соорудил. Вынуть сто тысяч кубометров одного грунта и уложить двадцать тысяч кубов одного бетона, не считая облицовки и других работ. И вот получается роскошная станция — Крымская площадь. Мрамор. Свет. Колонны. Рельсы, сверкая, уходят вдаль... А ведь подумать, каждый из нас стоял на своем маленьком участке, борясь с водой, с плывунами, — каждый в отдельности кажется таким беспомощным! Метро — это победа коллектива».

К лирическому сборнику «Стихи о метро» нельзя подобрать лучшего эпиграфа, чем эти слова. В них дан ключ к пониманию лирики метростроевцев.

Первая встреча бригады с «непонятной, тяжелой землей», «тихий, но строгий бетон» (его нужно укладывать по два куба в день) и — через три года — подземные дворцы, в описании которых созидавшие их поэты теряются, проявляют беспомощность, потому что старые слова для описания роскоши и

великолепия здесь неприменимы, потому что в само созерцание здесь входит новый момент, момент новой эстетики: эти предметы созданы нами.

Стихи о метро подобраны любовно, внутренне спаяны и стоят примерно на одном уровне выполнения. Отдельные строки и стихотворения выделяются особо над этим уровнем, но у читателя все же преобладает впечатление, что сборник написан одним автором, но в разных манерах. (Наиболее четкая поэтическая индивидуальность у тов. Кострова). Тематика книги — организаторский энтузиазм, размах работы, связь с партией, ценность законченного труда, углубление товарищеской солидарности, трудность работы, ответственность перед будущим («тоннелям надо выдержать века»), ощущение работы как памятника, который коллектив воздвигает себе в эпохе.

Поэты-метростроевцы ни на минуту не забывают, что им помогала строить вся страна, что вне первой и продолжающей ее второй пятилетки Метрострой был бы немыслим, превратился бы в утопию. И эта живая связь со всей страной, с пятьюстами сорока заводов, которые осваивали и выполняли для Метростроя важнейшие задания, воплотилась в личном руководстве тов. Кагановича.

Звонил, находясь на Урале,
Молнировал из Сибири
И в шахту спускался прямо,
Окончив дела в цека.

Здесь в четырех отлично вывеpенных строчках передан размах огромной политической работы, даны связанные между собой географические дистанции, показана техника рабочего дня члена Политбюро, работника ЦК и выражен стиль этой работы.

И вот я обращаю внимание на то, как хороши, как уместны в этом маленьком отрывке глаголы — т.е. носители действия: звонил, молнировал, спускался.

Поэт, забывший о глаголе, все равно что летчик или шофер, заснувший у руля.

Сложные технические процессы, то и дело упоминаемые поэтами, слиты с душевными переживаниями — будь то сознание исторической ответственности величия работы, радость напряжения творческих сил, будь то личное чувство — к девушке — товарищу по бригаде.

Не сказал я, что, когда с тобою
Мы носили гравий на замесы,
Брался я за ручки так, что вдвое
Для тебя был ящик легковесней.

(Бахтюков)

Лирической вершиной этой маленькой книжки «Стихи о метро» я считаю одно стихотворение Кострова.

Да здравствуют
Товарищи мои,
Ведущие подземные бои,
Идущие сквозь плывуны
И камень,
Сквозь толщи глин,
Прессованных веками,
Сквозь черный сумрак
Неживых ночей.
Товарищи, несущие в ночах
Большое дело
На своих плечах.
....
Работники
Простого благородства,
Художники труда
И производства,
Ведущие великие бои,
Да здравствуют
Товарищи мои.
Товарищи,
Чьих дел глубокий след
Останется в земле
На сотни лет.

Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с пушкинского «да здравствуют музы, да здравствует разум» и хмельных языковских здравиц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух. Поздравляем товарища Кострова с отдельной удачей и тут же оговоримся, что он наделал в сборнике «Метро» множество поэтических ошибок.

Потери такой
Нам нисколько не жаль,
Ты был работником средним.

Напрасно Костров думает, что о средних работниках нужно писать плохо и вяло. Этот вид соответствия формы и содержания поэзию не устраивает.

Следует отметить, что книга метростроевцев содержит ряд свежих стихов о Москве. И это естественно, потому что метростроевцы, выходя «на-гора» и сменив спецовки на обычный костюм, напряженнее, чем когда-либо, вслушивались в биение жизни города, вглядывались в толпы, в улицы, и после грохота кессонных работ старый знакомец — «трамвайский язык», как говорил Маяковский, был им люб и дорог. «Ползет вода — змеистая, кривая, сверкучая от желтого луча» (Смирнов); у него же: «осеннее чувинькание синиц».

Бахтюков держит поэтическую связь с Метростроем даже тогда, когда говорит откуда-то с черноземов.

Как широко распахнуты просторы,
Какое море смелой тишины!

Лирическим героем стихов о метро является, в сущности, бригада, а не отдельный человек. Вера Лихтерман говорит именно о бригаде с той детальной зоркостью и внимательностью, которую старая поэзия применяла только к отдельным людям:

Переливается, звенит
Просеиваемый гранит.
На ресницах иней пыли,
Глянь — бригада вся седая.

Побольше внимания к деталям словесной работы литкружковцев. Лирика тоже требует, чтобы «нигде не капало» (технический лозунг т. Кагановича для метро). Не замечая этих маленьких удач, не называя по имени их авторов, мы обескуражим поэтов. Поэты хиреют от суммарных оценок, они становятся беспризорны от невнимательно-рассеянной критической ласки.

Если бы лирики «Метро» в стихах своих работали по большому и дальнозоркому плану, как у себя на производстве, если б работа их ощущалась ими самими как литературный цех Метростроя, они достигли бы больших результатов. Как на формальные недостатки их работы следует указать на недостаточную емкость строфы, а также на однообразие и автоматичность ритмов. В словарном отношении книжка богаче, чем большинство аналогичных сборников, и это признак культурного роста.

Можно также пожелать поэтам большей свободы в построении образа и в развитии лирической темы. Ведь для советского поэта работа над лирическим стихотворением также является ударной стройкой, и материал для этой стройки, как бы обслуживая ее, доставляет вся страна, вся социалистическая действительность, понятая как целое.

1935

251.

Г.САННИКОВ. ВОСТОК.

Стихи и поэмы 1925-34 г. Москва. ГИХЛ. 1935 г.

В посвящении книга определяется самим автором как пока еще неполное собрание сочинений.

Санников, бывший участник поэтической группы «Кузница», с первых шагов прекрасно овладел техникой культурного традиционного стиха, обновленного и омоложенного усилиями лучших символистов.

При этом у Санникова наблюдается учет достижений футуристической поэзии. Новое звучит у него приглушенно, под сурдинку, в мягкой оболочке старого. Первый раздел книги Санникова хронологически совпадает с романтическими выпадами Н. Тихонова и Багрицкого. Уже значительно позднее, в одном из лирических отступлений, в поэме «Египтяне», Санников говорит, характеризуя этот свой период:

Я вместе с Байроном угрюмым,
На бурю променяв покой,
Запоем пил из звездных рюмок
Ночей тропический настой.

По земному шару, который Маяковский обошел почти весь и всерьез, Санников начал весьма рискованное путешествие с Чайльд-Гарольдовой командировкой, давно утратившей всякий конкретный исторический смысл.

В этих стихах 26-27 года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты, шимми и чарльстоны. Океаны бессмысленны и дики — они не наши — чужие. Следующий отдел — «Пески и Розы». Язвы Востока прикрыты классической поэзией, мозаикой мечетей. Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры:

Я тебе расскажу, красавица,
Только ты не хитри, не клянись,
Красота твоя очень славится,
Но ни к чорту не годна жизнь.

В подражаниях персидскому Санников удачно воспроизводит скупую лирику классиков пустыни, певцов небытия.

«Подымется ветер,
Заметет следы,
И будто я не был,
Не будешь и ты».

А в совсем недавнем (34 г.) обращении к Фирдоуси говорит:

Мы в твой народный славы гул
Поэзии вплетаем ветви,
И при твоем тысячелетьи
Несем почетный караул.

«Песнь о городе Тавризе» посвящена тегеранскому восстанию 1908 года: тегеранские базары, море барашковых папах...

Когда поэт показывает свою лабораторию, это может быть и ценно и интересно: мысль борется с новым материалом. Но я решительно отказываюсь назвать «поэтической лабораторией» большую часть опытов Санникова, посвященных росту народного хозяйства и технологии; скорее это кухня, не умеющая обращаться с продуктами.

Я имею в виду самые интересные по замыслу, деловые главы «Каучука» и «Египтян».

...Должны быть созданы нормы —
Научно обоснованная монополия...
....
Вопрос о длине волокна
Для пролетарского государства
не безразличен.

Санников злоупотребляет свойством всякой разумной речи распадаться на смысловые единицы: обыкновенные части фразы он выдает за стихи... «Комиссия... в акте, на месте происшествия написанном, установила объективно...»

Хочется лишь выправить расстановку слов в таких стихах, как это сделал бы любой газетный корректор.

Это тем более досадно, что Санников стремится расширить область поэзии и чувствует огромную ответственность перед нашей современностью.

Он прощается с самодовлеющими, условными формами лирики, в которых мог спокойно преуспевать на радость эстетам. Но такая тематика, как наука, революционная практика, борьба и жизнь масс, требует творчества, а не списывания хотя бы из блестящей газетной статьи или из учебника химии.

В лучших отрывках своих поэм Санников достигает «сложной простоты» — редкое умение, которое всегда радует в лирике.

Ничто не нарушает сна,
Повсюду шерстяные тени.
И кажет голые колени
Над городом луна.

В «Каучуке» Санников говорит о горном каучуконосном растении тау-сагызе, словно о романтическом кавказском герое эпохи Марлинского:

При шапке крупного размера
Листвы игольчатой, с лица
Он выглядел довольно дико...

Блеском романтического костра озарено случайное открытие каучуконосного растения.

Здесь не что иное, как черпанье новизны при помощи старого ковша или искусное омоложение дряхлеющего литературного канона; иногда стихи Санникова звучат как дурная копия с «Эдды» Боратынского, переложенного на хлопок.

Между тем автора горячо интересует стык между наукой и классовой борьбой. Каждая поэма изображает цикл классовых боев, протекающих в трудной и своеобразной обстановке среднеазиатских республик, и надо признать, что с расширением тематики лирическое дыхание автора заметно окрепло: «Песня комсомолки» в «Египтянах», баллада о коврике Пенде Гюль, который пламенеет в клубе рика с портретом В.И. Ленина, замечательные ткацкие баллады, фрагмент «в невеселом городе Тавризе, где сады, сады, полюбил я лирику Гафиза и простую мудрость Саади»,— все это обязано своим рождением перевороту, перелому, наступившему в творчестве Санникова. Дело теперь для поэта уже не

в узорности, не в орнаментике как таковой, не в изощренности так называемого восточного искусства, которое в «Египтянах» иронически названо супрематистским. Шерсть, из которой ткутся ковры, прополоскана в коровьей моче. В цветных нитях бегут труды и дни дехканства.

Но читатель вправе спросить: удалась ли Санникову его основная задача?

Необходимо указать, что в «Каучуке», несмотря на его перегруженность научными формулами, несмотря на песню шелестящих шин, настойчиво требующих труда, изобретательства, социального творчества, основное действие, т.е. борьба за советский каучук в обстановке классовых боев, дано сквозь дымку условной романтической поэмы. Байская дочь Рейхан, у которой отца раскулачили и отправили в Караганду,— «казачка, похожая на Офелию». И в этом последнем обстоятельстве, конечно, никакой беды нет, но плохо то, что функционально, в силу нагрузки образа, эта кулацкая Офелия, поднимающая Алаш-Арду против Кызыласкеров с феодальным знаменем, на котором начертан старый закон — Адат,— оказывается героиней второй поэмы, просвечивающей сквозь первую.

Крепнущие кадры всевозможных специальностей, которые так дороги Санникову, не могут быть поэтически характеризованы с помощью переклички сегодняшнего героя и, например, Алеко из пушкинских «Цыган». Для того, чтобы связать диалектическую часть «Египтян» с романтической подосновой, Санников охотно прибегает к пародии, к едкой лирической иронии. Так, сравнивает он растерявшегося от личных и общественных неудач Кречетова с тенью Петрарки, вздыхающего по Лауре в долине реки Сарги, и говорит о «кречетовской луне». Подобными нитками, однако, не заштопаешь разрыва.

В «Египтянах» не существует второй просвечивающей поэмы. Восстание басмачей здесь не опоэтизировано по Марлинскому, как авантюра Рейхан в «Каучуке». Разрыв идет по другой линии: между изобразительной и деловой частью поэмы — «куполообразная, беспамятная, старая, окаменелая мечеть Тимура». Тут же рядом бешеное и сложное движение:

Шумная тачанка,
Гражданская подруга,
Ухарство и лихость
Махновских ночей.
Тронулся навстречу
Город полукругом...

Санников великолепно понимает огромное историческое значение советской химии. Он сознает всю глубокую связь между творческими поисками этой революционнейшей отрасли нашего научного мышления и методами поэзии. Однако он только учится химии на глазах у читателя, сдает свои зачеты: «углерод четырехвалентен; одновалентен всегда водород». «Полимеризация даст переворот — диметилдивинил элементов. Диметилдивинил, или $CH_2 = C(CH_3) - C(CH_3) = CH_2$. Все это правильно и к поэзии (здесь мы расходимся с любителями «изящного» как такового) имеет самое близкое отношение; но здесь ровно ничего не сделано для взаимного сближения поэтической и химической мысли. Научный термин — только словесный знак, насыщенный понятиями. Водород — самый подвижный элемент в органической химии. Перемещаясь, вступая в соединения, он работает с удивительной дерзостью, как гимнаст на трапеции. Санников же работает на узорчатом персидском коврике. Высоту Тимуровой мечети он изображает хорошо, а дерзость органической химии передает экзаменационным лепетом.

Иногда с поэтом случаются курьезы, потому что для социально ценного содержания он не умеет найти естественной поэтической формы.

...Для промышленного применения
Через колбы, реторты и сетки,—
Достиженье советского гения,
Не предусмотренное пятилеткой.

Настоящий балаганный раешник, речь ярмарочного зазывалы с бойкой и нелепой рифмовкой отвлеченных слов.

Традиционно прозрачные «бахчисарайские» строфы перемежаются с многоярусными формулами социологии и химии, грубо уложенными в стихи. Автор на одной странице бывает красноречив и многоязычен, традиционен, как старообразный школьник, и лихорадочно современен, как мастер революционного репортажа. Зрелость, косность, подражательность и новизна удивительно совмещаются в одном поэте.

Поэмы «Каучук» и «Египтяне» похожи на ранние географические карты с неосвоенными пространствами. Санников, например, берет в типографскую рамку интересные цифровые сводки, нумеруя их как строфы. Цифры сами по себе замечательно выпуклы. Но какое здесь неуважение к числу,

непонимание образной творческой природы числового мышления. Чтобы цифры советской статистической науки заговорили поэтическим языком, надо и над ними проделать такую же положительную работу, как и над словом. Голое цитирование даже самого замечательного факта — только типографский прием. Никакой дерзости и новизны в этом приеме нет. Гораздо важнее то, что происходит внутри поэтического хозяйства Санникова, т.е. внутренняя сдача позиций белому пятну поэтически не освоенного факта. При этом всегда условно сохраняется видимость, и только видимость, оживленного лиро-эпического рассказа, и больше того: манера автора всякий раз в таких случаях приобретает невероятную бойкость. Образное оживление таких мест идет за счет воспоминаний из древней истории: «по Геродоту, солдаты Ксеркса были в хлопковых одеждах, Искандер, прободая Персию, видел муслины нежные»...

Но как только дело доходит до прозаического мяса, до упорствующего сырья,— Санников решительно перестает изобретать, но стучит на пишущей машинке:

А дело в том, что добровольно
Никто не вызвался поехать
На саранчовый фронт возглавить
Борьбу за хлопок многопольный.

Метрически однозначащие девятисложные строчки являются здесь обыкновенными единицами прозаической речи, притом очень дурно построенной, т.к. естественная живая проза не терпит однообразия: абсолютно однородные части не соединяются в ткань.

Сотрудничество советского поэта с широчайшими кадрами строителей социализма, с работниками науки, с колхозниками, с красноармейцами должно быть поэтически образующей силой, должно найти свое прямое отражение в самой структуре произведения, в каждой клетке поэтической ткани. Когда Санников заканчивает: «Египтянин победил», т.е. высокосортный, культурный хлопок засеял сотни тысяч колхозных гектаров — с исторической необходимостью, несмотря на все происки врага, то хозяйственная победа является здесь последним звеном поэтической композиции.

Однако нельзя передоверять своей поэтической работы даже рожденному в коллективных усилиях жизненному факту, нельзя украшаться этим фактом, только регистрируя его.

Научная формула должна претвориться в дышащее слово,

сложнейшие элементы строительства — в поэтическую химию — в единый и целеустремленный стиль. Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве.

1935

252.

АДАЛИС.— ВЛАСТЬ.

Стихи. Советский писатель. Москва, 1934 г.

Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав с одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расщепленное перо на веревочке, или же из междугородной будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

— Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи.

Прежде всего, необходимо дышать не для себя, не для своей грудной клетки, а для других, для многих, в пределе — для всех. Воздух, который мы в себя вобрали, нам уже не принадлежит, и меньше всего тогда, когда он находится в наших легких.

Второе, и это второе, очевидно, первее первого, это то, что я назвал бы убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать.

И вот мы получили книжечку стихов — сестрински-нежных и матерински-гордых, товарищески-открытых и в то же время деловитых, служебных, озабоченных, командировочно-спешных стихов, которые требуют помощи и сами хотят помочь.

Мы должны быть благодарны Адалис за то, что у нее нет собственнического отношения к теме.

Лирическое себялюбие мертво, даже в лучших своих проявлениях. Оно всегда обедняет поэта.

Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по жесткой смете, «на базе бурого угля» строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где «рабочая ночь» пахнет озоном и северолесом, и в

совхозе «Бурное», где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери. Адалис говорит:

«Так дико я близок с чужими людьми и делами,
Что часто мне кажется, мир есть мое продолженье».

Прелесть стихов Адалис — почти осязаемая, почти зрительная — в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, только начерченная набегает, наплывает на действительность уже материальную.

В литературе и в кино это соответствует сквозному плану, когда через контур сюжета или картины уже просвечивает то, что должно наступить.

В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел на правильную мысль, уверен, что ее выскажет, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением.

Море приобретает глубокий цвет синей кальки чертежника.

Граница, отделяющая страну от хищных соседей, отмечена и характеризована мирными новостройками.

Сады, гитары и моря Италии идут на описание шахтерского городка, который возникает чуть южнее завода.

Сон, виданный в раннем детстве, запах бузины, жары и орехов, красные шары на спинах выгнутых мостов — вытряхивается из памяти через десятки лет и продолжается, как свежая работа: населяется каменщиками из Тамбова и Торжка, получает прививку мичуринского винограда, оглашается «безбрежным влажным пением» во время обеда и отдыха трудящихся.

Дитя не вернется в утробу,
И хлеб не вместится в зерно,
Как слива не втянется в завязь,—
И в этом их тайная честь! —
Мы больше не можем обратно
В звериные норы пролезть!

Даже мысль о том, что лирическая работа совершается только поэтами, дика и чужда для Адалис. Это — тоже звериная нора, куда нельзя залезать обратно.

И вот Адалис всеми силами старается доказать, что за нее лирически думают и чувствуют все те, кого она называет товарищами, друзьями. Как заводы для обогащения руды —

руды социального переживания, поставлены у Адалис встречи и в еще более глубоком ряду стоят рассказы встреченных, о тех других, с кем сталкивались они. Трое товарищей, которых кто-то приволок к себе в комнату читать бюллетени о взятии южанами Шанхая, и мимоза, бросавшая в этой комнате тени на крутящийся потолок,— потолок, крутящийся потому, что на улице в это время пробегали фары первых автомобилей «Амо», и купленный на радостях для четверых литр столового, чей вкус запомнился вместе с мимозой и Шанхаем,— все эти элементы не составляют никакой цепи, никакого искусственного сцепления и могут рассыпаться в любую минуту, потому что сейчас же соберутся в другом месте, в другом сгустке, в других сочетаниях, потому что ничто социально пережитое не пропадет.

И это качество новой лирики, избавляющее ее от необходимости дрожать за то, что порвется хрупкая нить ассоциаций, что выпадет петелька из кружева, что в развитие темы проникнет что-нибудь чужеродное, нарушающее строй,— это качество выступает у Адалис как доверие к жизни во всей ее перекатной полноте.

Цель поэта — не только создать и поставить перед читателем образ, но также соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он, читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...

Дорога в Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте, а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость волейбола, радость футбола и радость яблока — получают у Адалис эмоциональную округлость, единство,— внутреннюю форму, социальную спайку.

Адалис рассказывает о неумении своих современников бросать начатую работу — единственном из неумений, которое составляет наше богатство и наше счастье.

Книжка ее одновременно и гордая, и робкая — одна из первых ласточек социалистической лирики, избавляющей поэта, т.е. лирически работающего конкретного человека, от хищнической эксплуатации собственных чувств, снимающей с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности.

Стихи заняты, стихи озабочены. Им некогда любоваться собой...

А мастерство?

Послушайте, что говорит Адалис о Багрицком.

Нам голос умершего друга
В глубокую полночь звучал...
По радио передавалась
Былая повадка сполна.
Едва выносимая жалость
Шатала меня, как волна...
Сердитый, смешной и знакомый,
Он громко дышал и хрипел,
Он громко о жизни зеленой,
О воинской свежести пел...

Это и есть мастерство.

1935

253.

М. ТАРЛОВСКИЙ — «РОЖДЕНИЕ РОДИНЫ».

Стихи. Гослитиздат. 1935 г.

Для характеристики поэта очень важен его инвентарь: круг предметов, привлекающих его внимание. Не менее важно и то, «что» говорит поэт об этих вещах. Но самый простой и сухой перечень явлений, остановивших на себе внимание художника, определяет профиль его творчества.

Вообразим невероятный случай: поэт пишет только о саксонском старом фарфоре, окружает его размышлениями глубоко идейного порядка, делает исторические выводы и перебрасывает от кофейного сервиза тематический мостик к современности. Но без блюдечка с цветочками и ободочками он шагу ступить не может. Все у него начинается от бабушкиного кофейника. Как бы «идеологически» ни пыжился этот воображаемый уродливый поэт, ясно, что у него получится чепуха, что он перелицованный пассеист, что он насквозь фальшив.

Случай Тарловского гораздо сложней. Книжка его называется «Рождение родины». Тема — преодоление архаики во имя будущего. Посмотрим, чем же интересуется Тарловский, куда тяготеют его живые вкусы, что он видит в современности.

В Москве роют землю для метро. Тарловскому уже становится интересно. Почему? Вырыли кость мамонта, нашли кусок кладбищенской парчи, докопались до петровской шпаги, а в конечном счете добрались до помойной ямы Ивана

Калиты. «Конечно, мы были бы рады, разрезав Москву пополам (?), найти в ее профиле клады, зарытые некогда там — алмазы, червонцы, лампады»...

Дальше для нейтрализации лампадной рухляди — метро само по себе объявляется кладом и зароком (?).

Настоящей исторической наукой, геологическими или палеонтологическими интересами в этих стихах даже не пахнет: поэтический мир Тарловского — это паноптикум: т.е. ненаучное собрание курьезов и т.п. редкостей, грубо и бессмысленно щекочущих естественный интерес к прошлому, раздражающих дешевой пряностью и лишенных всякой познавательной ценности.

Протест против музейной чехарды и чертовщины, в которой упражняется Тарловский, следовало бы заявить от имени исторической науки. Поэт говорит: «старина ни в чем не допустима; Русь — татары? — мимо, мимо, мимо: останавливаться, как в кино, строго-настрого запрещено». Эти возмутительные ухарские строчки, призывающие к невежеству, написаны в то время, когда углубленное преподавание истории становится одной из основных задач советской школы.

Тарловскому нужен между прочим «гиньоль» — театр ужасов. О Пугачеве он обмолвился: «где, катом подьятый с размаху, деленый (?) мигнул Пугачев». Извращенно-гурманский намек на четвертование. Безвкусное смакование техники этого акта. Петр женил стрельцов на тугой пеньковой девке, они влезли в эту даму головами и дергались в ней до утра. Не знаешь, что отвратительнее — сама петровская казнь или развязность, с которой о ней повествует Тарловский. Но поэт, с головой, залез в свой собственный словарь. Абсолютно чуждым нашей культуре языком перестраивающегося сноба-гробокопателя и смакователя старины он пробует передать свое отношение к современности, и получаются такие перлы, как, например: «рослый советский детина».

Тарловский на речном трамвае плывет по Москве-реке. Вот его поэтический маршрут: удельная Рязань, удельный Суздаль, пепел — тишайший царь, «самозванный» стяг, кремли, струги. Все это упоминается для того, чтобы сейчас же отплеваться, и сейчас же переход к действительности: девочка-подросток Маша, грамотная только первый год, читает по складам вывеску: «Машин, но строительный завод». Мало того, что здесь нелепое сюсюканье: в Москве в 31 году очень трудно было найти подростка, грамотного только первый год. Тарловский бессознательно искажает факты.

Если он расскажет про обсерваторию, то противовесом к ней или дополнением обязательно является старая мечеть. Для Тарловского это две половинки одного ореха. Механистический стих Тарловского — продукт разложения и распада акмеистических приемов. Поэт настолько лишен чутья и вкуса, что способен зарифмовать «парикмахер» и «пахарь».

Тарловский обладает поэтическим темпераментом, упрямством, изобретательностью, — но ему необходимо стать в простые, ясные, свободные от бутафории отношения к жизненной правде.

Только тогда он освободится от эстетического хлама и перестанет любоваться историческим мусором.

В этом смысле наиболее типичные вещи «Бог войны» и «Вопрос о родине». В первой пьесе «бог войны» — с «бердышом» (?) и с сигарой забрался на ресторанный поплавок и заказывает «человеку» шашлык из человеческого мяса. Во второй боги японского олимпа лишают загробного олимпа белогвардейского прохвоста за то, что он вредил своей родине. Стремление к хлесткости, к дешевому версификаторскому блеску — мешает Тарловскому серьезно развить большую тему. Даже наиболее заостреннные вещи страдают ломкостью, хрупкостью или перегружены эстрадностью и пряной анекдотичностью.

1935

254.

МОЛОДОСТЬ ГЕТЕ

Радиокомпозиция

Эпизод первый

Право охоты на оленей принадлежало сенату. Раз в год на торжественном публичном обеде сенаторам подавали жареного оленя. Но всех оленей в окрестности перестреляли дворяне, нарушая охотничье право сената. Пришлось развести стадо оленей. Олений выгон был в черте города. Каждый год сенаторам подавали жареного оленя.

Однажды выгон упразднили.

На месте выгона построили дом.

В этом доме родился Гете.

При доме не было места для сада. Вместо сада — цветы на

окошках второго этажа — в комнате, которая называлась садовой.
Садовая комната — детская.
Из окна — вид на чужие сады.
На территории Конного рынка бюргеры-домовладельцы разбили сады. В садах играли в кегли. С громом катились шары, сбивая кегли.

— Чьи это сады?
— Чужие.
— Можно туда пойти?
— Нельзя. Можно только смотреть из окна. Сады — чужие.

Зато ярмарка открыта всем и каждому.

Мимо городской ратуши, называемой Рёмер, с огромными сводчатыми залами, куда можно проникнуть, если очень попросить сторожа, и увидать фрески, и скамью судей, и скамью почтенных бюргеров, и скамью ремесленников, и стол протоколиста, мимо средневековой Нюренбергской гостиницы, обнесенной крепостной стеной, мимо фабрики, мимо красильни, мимо белильни — на ярмарку.
Внутри города возник новый город — город лавок, деревянных бараков.
Толкаются, суетятся, распаковывают, выгружают товары.
Что бы такое купить? В детском кошельке так мало денег.
Купцы жалуются: за городскими стенами — грабеж. Окрестные дворянчики пошаливают, разбойничают. Товары пришлось везти под специальным вооруженным конвоем. Под конвоем же приехали имперские чиновники.
Конвоиры желают пройти в город.
Но город ссылается на свои права и не пропускает конвоиров. У городских ворот — драка.
И вот кавалерия граждан, разделенная на многие отряды, во главе с начальниками подъезжает к разным городским воротам. Граждане и конвоиры мирятся и устраивают под стенами города пирушку.
А под вечер к подъемному мосту подъезжает почтовая нюренбергская карета. В ярмарочный день, по обычаю, в ней должна сидеть старуха.
— Где старуха? — кричат мальчишки и с ревом бросаются вслед за каретой.

— Где старуха? — кричат бюргеры из высоких окон.

Вот три герольда в голубых мантиях с золотой каймой и с нотами, укрепленными на рукавах.

У одного свирель, у другого фагот, у третьего гобой.

Сегодня — в день Варфоломеевской ярмарки — главному судье города вручают хартию императора, который заискивает у городов, подтверждая на год вперед городские льготы.

Впереди идут герольды.

За ними — послы с дарами.

Главный предмет колониальной торговли — перец.

Посол преподносит судье деревянный резной бокал, полный перца, хорошего перца в зернах. На бокале — пара белых перчаток и белый жезл.

Главный судья, почтенный бюргер, дедушка Гете,— принимает дары.

Вечером бабушка ссыпает перец в ящик для специй, бокал и жезл достаются детям, а перчатки дедушка, живущий отдельно, употребляет для садовых работ, чтобы защитить руки от шипов.

На ярмарке купили много посуды, и мальчику достались игрушечные горшки и блюдца.

А что, если выбросить тарелку в окно: никого нет дома.

Как она славно разбилась, как зазвенели черепки!

Мальчик хлопал в ладоши, кричал и смеялся.

Братья Оксенштейны, соседи, услыхали звон разбитой тарелки и крикнули:

— А ну-ка еще!

Вслед за тарелкой полетел горшок.

— А ну-ка еще,— кричали соседи.

Пришлось побежать за посудой на кухню.

Тарелки, тарелки — в окно!

Из комнаты в кухню.

На полках — тарелки.

Тарелки, тарелки — в окно.

— А ну-ка еще,— кричали соседи.

И снова на кухню. И снова тарелка — в окно.

Кофейник, и чашки, и сливочник — прямо в окно.

Целая груда черепков под окнами.

Груда разбитой посуды.

Разрушитель Вольфганг Гете, трех с половиной лет, перебил всю посуду в доме.

‹...›

Д р у ‹ г о й › г о л ‹ о с › *(перебивает).*

Дважды в год, разлившись, Нил
Весь Египет затопил.

У ч и т е л ь . Довольно.

Д е т с к ‹ и е › г о л ‹ о с а ›.

Дважды в год, разлившись, Нил
Весь Египет затопил.

У ч и т е л ь . Довольно!

Г о л о с а .

Нет реки священней Ганга,
Ганг — река большого ранга.

У ч и т е л ь . Тихо!

П е р в ы й г о л о с . А в Лиссабоне землетрясение.

Учебник географии был весь зарифмован. Латинская грамматика тоже.

Детям скучно читать Корнелия Непота, зато Овидиевы «Превращения» проглатываются с жадностью. Увлекаться «Робинзоном Крузо» лежит в самой детской природе, а за два крейцера на ларях, что подле церкви Варфоломея, где спокон века отведено место для ручного торга и всегда толпится народ,— продают картинки с раскрашенными и раззолоченными зверями и ходкие книжки франкфуртского издания на плохой серой бумаге, с печатным шрифтом. Это настоящие сокровища — здесь и «Прекрасная Мелузина», и «Прекрасная Магелона», и «Дети Аймона», и «Фортунат». Главное преимущество этих книг — дешевизна.

Но как трудно пробираться сквозь крикливую толпу! А когда проходишь мимо отвратительных ларей мясника, нужно обязательно зажмурить глаза, чтобы не затошнило.

Вчера в дом к советнику Гете заходил проезжий шарлатан-англичанин и предлагал привить детям оспу. Но он запросил несуразную цену, и его с позором выгнали.

Д е т ‹ с к и й › г о л ‹ о с ›. А в Лиссабоне землетрясение. Все говорят.

У ч и т е л ь . Да, в Лиссабоне было землетрясение.

М а л ь ч и к . Правда, что земля растрескалась?

Учит‹ель›. Очень сильные толчки. Один за другим. Земля дала трещины, из них извергался огонь. Рушились и горели дома.

Мальчик. А на море что?

Учит‹ель›. Страшное волнение. Волны заливали весь порт. Уцелевшие корабли спасались в открытое море.

Мальчик. А как же жители?

Учитель. Шестьдесят тысяч человек, за минуту до того спокойных и счастливых, в один миг лишились всего своего достояния. Право, лучше тем, кто уже не может осознать всей глубины своего несчастия. Из тюрем вырвались преступники и среди общей разрухи грабили город. Природа повсюду проявляла свой неистовый произвол. Десница карающего Бога. Такая пышная столица, такой богатый порт!

У мальчика в комнате стоял отцовский музыкальный пюпитр красного дерева, в форме усеченной пирамиды со ступеньками, очень удобный для исполнения квартетной музыки. На ступеньках была разложена в прекрасном порядке минералогическая коллекция — прозрачная слюда, и хрупкий известняк, и розовый шпат, и мрамор в жилках, и кристаллический хрусталь, а рядом — образцы почвы — от чернозема до красных глин — и дары природы — колосья, засушенные ветки, шишки, семена.

«Прекрасная коллекция»,— говорили люди, входя в комнату.

Мальчик молчал. Никто не знал, что это алтарь природы.

По утрам, когда солнце, всходившее за стенами соседских домов, наконец разливалось по крышам, он брал зажигательное стекло и наводил луч на курительную свечку, помещенную в фарфоровую чашечку на вершине пирамиды.

Пюпитр — алтарь природы.

Природа всемогуща.

Мальчик — жрец природы. Свеча — жертва. Она не горела, а тлела. На алтаре каждое утро возжигалось благовонное пламя жертвы. Никто об этом не знал.

В соседней комнате сестра учится музыке. Учитель отбивает такт:

— Мизинчиком, мизинчиком — скорей: хоп-хоп...

— Мимишку — мизинчиком, а фа крючком.

— Серединчиком соль — как в солонке — соль.

— По чернявке ударь. Легче, легче, быстрей.

Каждая клавиша имела свое имя, каждый палец — свою кличку.

При отце состоял в качестве камердинера и секретаря, слуги — мастера на все руки — юноша Пфейль. Он еще немного подготовится и откроет пансион для мальчиков — ведь невозможно изучать французский язык в одиночку. Необходимы пансионы для подростков. Молодые англичане и французы, сыновья торговцев, имеющих дела с Франкфуртом, которые пожелают изучить немецкий язык, тоже, наверное, поступят к Пфейлю в пансион.

Отец сердится:

— Опять не нарвали шелковицы! Все черви передохнут!

Отец увлекается шелководством и развел шелковичных червей, ждет больших прибылей от этого дела. Уход за червями возложен на детей. Мерзкие черви не выносят ни малейшей сырости и дохнут тысячами. По всему дому стоит вонь.

В промежутках между уроками мальчишки дразнят Гетесына, который хочет играть главную роль в только что придуманной игре.

Мальчики. Ворона в павлиньих перьях! Загордился, потому что дед судья. Забыл, что второй дед — трактирщик и дамский портной.

Гете. В нашем городе все граждане равны. Мой дед был честным бюргером. Почет воздается каждому по заслугам. Я горжусь своим дедом.

Мальчик‹и›. Ищи своего деда по белому свету! Твой отец незаконный сын одного важного дворянина, а бюргер его только усыновил.

Это явная ложь. Но мальчик огорчен. Интересно, конечно, что дед не бюргер, как у всех, а дворянин, но все-таки неприятно, однако нужно быть стойким и уметь скрывать огорчения.

Гете. Жизнь так прекрасна, что не стоит задумываться, кто тебе ее подарил.

Мальчики. А стихи твои не так уж хороши, Ганс пишет лучше.

Г е т е. Он вовсе не сам пишет. За него Пфейль написал.
Г а н с. Неправда, я сам написал.
Г е т е. Плохие стихи.
Г а н с. Лучше твоих.
Г е т е. Неужели лучше?

Эпизод третий

Не браните кукольный театр, вспомните, сколько он вам доставил радости. Гете на всю жизнь запомнил прыжки и жесты всех этих мавров и мавританок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц и тяжелую поступь доктора Фауста — который продал душу дьяволу.

Как-то вечером он прочитал матери наизусть один из своих любимых монологов из кукольной комедии «Давид», и она, чтобы прихвастнуть неожиданным талантом сына, рассказала об этом владельцу кукольной труппы.

— С тех пор я стал постоянным помощником кукловода, и он посвятил ‹меня› во все тайны своего искусства.

Я сам дергал кукол за ниточки и однажды во время спектакля, дававшегося для приглашенных соседских детей, нечаянно уронил своего великана, но тотчас высунулся и под громкий хохот зрителей, разрушив всю иллюзию, поставил его на ноги.

Но вскоре мне надоели затверженные пьесы. Я решил обновить репертуар и сам упражнял свою фантазию, сочиняя всякие драматические отрывки, вырезывая из картона и раскрашивая новые декорации.

Однажды я соблазнил товарищей поставить настоящий спектакль. На костюм героя, сурового и великодушного рыцаря, взял серую бумагу. Для врагов его — золотую и серебряную. Но в суете приготовлений я совершенно упустил, что каждый актер должен знать, когда и что говорить. Уже собрались зрители и ждали представления, а мои актеры в растерянности спрашивали друг у друга, что же им, собственно, делать. Переодетый и чувствующий себя Танкредом, я вышел на сцену и прочел несколько напыщенных стихов.

Никто из актеров не вышел. Никто мне не ответил. Зрители хохотали.

Тогда, позабыв о рыцарских страстях и поединках, я пере-

шел к библейской сказке про ‹тще›душного царя Давида и силача Голиафа, который вызвал его на бой.

Дети обрадовались знакомой пьесе и выбежали играть со мной.

Спектакль был спасен.

Эпизод четвертый

Отчего толпится народ на площади? Отблески костра в окнах соседних домов.

...За оскорбление религии и добрых нравов суд постановил предать сожжению все издание легкомысленного французского романа.

Груду горящей бумаги ворошат железными вилами.

Вдруг подул ветер, и сотни горящих листов — бумажные бабочки с красными хрустящими крыльями — взлетели на воздух.

Толпа кинулась их ловить.

А Гете воспользовался переполохом и стащил с костра еще не тронутый огнем экземпляр запрещенной книги.

На всякую птицу есть своя приманка.

Большая темная комната в чьем-то неизвестном доме. Бюргерский сын Вольфганг Гете в компании веселых и общительных молодых людей. У окна за прялкой тоненькая девушка с большими глазами и маленьким ртом — Гретхен, Маргарита.

‹Голос.› Маргарита, сходи в лавку, принеси еще вина.

Гете. Как можно посылать беспомощную девушку одну без провожатого в такую темную ночь?

Смех.

Первый юноша. Не беспокойся. Она привыкла. Погребок — напротив. Она сейчас вернется.

Второй юноша. Вы знаете, этот богач Леерман — с чего он начал? — торговал спичками, а сейчас один из первых людей во Франкфурте.

Первый юноша. Ловкий человек никогда не пропадет.

Второй юноша. Ты что сегодня делал?

Первый юноша. Бегал по поручениям суконщи-

ка — он так разленился, что готов делить прибыль с маклером.

Второй юноша. Гете, мы достали для тебя новый заказ на свадебные стихи. Те, что ты писал,— похоронные, помнишь, уже пропиты. Займись-ка стихами, мы через часок вернемся.

Большая грифельная доска на столе. Гете записывает мелком стихотворные строчки, стирает их губкой, снова пишет.

Маргарита. Зачем вам это нужно? Бросьте это дело. Уходите отсюда, пока вы не нажили себе неприятностей. Послушайтесь меня, уходите.

Гете. Гретхен, если б человек, который вас любит, почитает, ценит...

Маргарита[1]. Только не целуйте... Мы ведь друзья.

Компания молодежи, дурачившая полицию, морочившая честных граждан, изощрившаяся в озорных проделках и головоломных плутнях, обнаружена ищейками городской ратуши. Советник Шнейдер с поклонами и сладенькими улыбочками производит допрос на дому у Гете-отца.

— Где познакомились?

— На гуляньи.

— Где встречались? Кто там бывал? Назовите улицу.

Вольфганг слег в постель. Нервная горячка.

Между франкфуртской Гретхен и Гретхен из «Фауста» трудно найти что-нибудь общее.

Что с ней сталось, с этой первой Гретхен?

Гете никогда об этом не узнал.

Скорей бы вырваться из Франкфурта, скорей бы уехать!

Отец покупает сукно кусками — это обходится дешевле. В доме всегда запас добротных тканей. Портных отец не жаловал — лишний расход. В доме есть слуга, он плохо кроит, но хорошо шьет. Целыми днями он строчит сюртучки и камзольчики для Гете-сына.

‹...›

...лезное — но помни, не трать на мимолетные радости.

Краткая пауза.

---

[1] В машинописи: Гретхен.

Кем стал бы Гете, если бы послушался отца?

Фон Рейнеке обижен на своего зятя и уже много лет преследует его судебным процессом. Но так как суд никак не мог решить дела в его пользу, старик подал жалобу на самих судей и ведет теперь уже две тяжбы. Он всегда озабочен, никогда не улыбается и на лысой голове носит белый колпак, подвязанный тесемками.

Когда проходишь по широким чистым улицам, застроенным великолепными домами, то никогда не догадываешься, какая страшная жизнь скрывается за этими стенами, еще более мрачная по контрасту со светлой окраской фасада.

Фон Рейнеке был страстным любителем гвоздики.

Фон Маляпорт развел в своем саду великолепную коллекцию этих цветов.

Однажды во время цветения гвоздики удалось свести обоих любителей-садоводов. Рейнеке пожаловал к Маляпорту. Старики обменялись лаконическим, вернее, пантомимным приветствием и шагом дипломатов начали обход грядок.

Молодежь подметила в беседке накрытый стол, вазы с фруктами и графины с искрящимся мозельвейном.

К несчастью, Рейнеке увидал прелестную гвоздику с опущенной головкой и тронул ее рукой.

Маляпорт. Вы, кажется, забыли золотое правило любителя-садовода — цветок для зрения и обоняния, но не для осязания.

Рейнеке. Позвольте, ваше замечание... Истинный любитель имеет право осторожно дотронуться до цветка.

Маляпорт. С моей точки зрения — только взглядом, только взглядом.

Рейнеке. А по-моему... Прелестный цветок...

И Рейнеке снова коснулся гвоздики.

Мозельвейн унесли обратно в погреб.

Пусть старики трясутся над гвоздикой.

Краткая пауза.

Рожок почтальона.

10-840

Мы сидим в мчащейся почтовой карете. Горе тому, кто закажет ‹...› на станции, оставшейся позади.

Шуберт. «Мельник».
Рожок почтальона.

Эпизод пятый

Я здесь живу, ну как? Ну как сказать? — я сам не знаю, как! Ну вот так приблизительно:

Живу как птица — гость прекрасных рощ
Свободой леса дышит в лад ветвям.
Качаясь вверх и вниз, туда-сюда,
И с певчей радостью на крылышках упругих —
Порхаю в чащах, исчезаю в кущах...

Довольно, представьте себе ликующего птенца на самой зеленой ветке: это я.

А теперь перейдем к программе университетских лекций.

«Прагматическая история протестантской церкви как введение в теологические и телеологические предпосылки для чтения и изучения Библии в морально-философском аспекте». Профессор «от четырех до пяти», по средам и пятницам. Фамилия — безразлична.

Курс красноречия:

Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Право. Имущественные отношения римских квиритов и размышления по поводу пандектов,— под углом определения понятий обладания, владения, овладевания, завладевания и... обалдения.

Пауза.
Сапожник забивает гвозди в подошву.

Сапожник. Жена!
Жена. Чего тебе, Фриц?
Сапожник. Что ты скажешь о студентах?

Жена. О студентах ничего не скажу. Но насчет твоей дурости...

Сапожник. Жена, не возражай мужу...

Жена. Ты сам спрашиваешь. Зачем выдал башмаки этому белобрысому шалопаю?

Сапожник. Что же я мог сделать? Без башмаков нельзя ходить на лекции.

Жена. А тебе не все равно, ходит он или не ходит?

Сапожник. Ведь если он не кончит университета, он никогда не будет доктором и не вернет за башмаки.

Жена. Лучше готовые башмаки в мастерской, чем еще один должник в университете.

Сапожник. Жена, ты рассуждаешь как женщина.

Стук в дверь.

Жена. Вот еще заказчик: в долг сапоги заказывать.

Вошел Гете в темно-зеленом дорожном плаще, запыленный, усталый.

Гете. Я к вам с приветом от вашего племянника — студента богословских наук Гауфа. Он просит меня приютить на несколько дней.

Сапожник. Очень рад. Пожалуйте. Ну как Гауф? Он победил уныние или уныние победило его?

По вощеным полам в торжественной тишине картинной галереи бродил юноша с покатым лбом, туго стянутыми к затылку и заплетенными в косичку волосами, острым, как будто ищущим носом и коричневыми, жадно вопрошающими глазами. По пятам его семенил музейный проводник, присяжный объяснитель картин.

Молодой человек, соблюдая вежливость, всемерно старался отделаться от проводника, который видел в нем свою законную добычу и сыпал, как горохом, названиями живописных школ, именами художников; юношу явно раздражали хвалебные возгласы: божественно, очаровательно, неизъяснимо, непередаваемо, воздушно, бесподобно!

Избавившись наконец от спутника, он твердым шагом прошел через комнаты итальянской живописи, где на фоне ярко-синего неба среди остроконечных скал и тонкоствольных деревьев изображались пастухи с ягнятами, женщины с

удлиненными «лицами», держащие цветок в вытянутой руке или же склоненные «к» колыбели пухлого мальчика.

Все это прекрасно, но не сейчас, после! Скорей к голландцам, к бессмертным северным мастерам: яблоки, рыбы, бочонки, крестьяне, пляшущие под дубом и кажущиеся под огромным деревом взрослыми карликами с развевающимися полами кафтанов. Женщины в тяжелых бархатных платьях и большеголовые дети, цепляющиеся за их подол. Лудильщики и бочары, косматые, всецело поглощенные работой, и, наконец, семья сапожника: спальня, жилая комната, она же и мастерская — коричневый полумрак, кусок хлеба с воткнутым ножом на столе, молоток, ударяющий по башмаку, надетому на колодку, деревянная ладья колыбели — с парусом полога, раскрытый шкаф с мерцающей посудой и причудливо вырезанные куски кожи, разбросанные на полу.

Да ведь это мастерская шутника-сапожника Фрица!

Искусство и жизнь встретились.

Перед отъездом сапожник подарил Гете пару прочных, но некрасивых сапог.

Эпизод шестой

Писатель Готшед женился. Ей девятнадцать лет, ему шестьдесят пять.

Готшед жил очень прилично — в первом этаже гостиницы «Золотой медведь». Квартиру ему предоставил благодарный издатель.

Гостей провели в большую комнату. Вышел сам Готшед — толстый, огромный, в зеленом шелковом халате, подбитом красной тафтой. На лысой голове — ни одного волоска. Вслед за ним выбежал слуга с громадным париком в руках, локоны которого спускались до самых локтей. Он боязливо вручил своему господину этот пышный головной убор. Готшед спокойно отвесил слуге полновесную пощечину, затем надел парик на голову, опустился в кресло и заговорил с молодыми студентами о высоких материях.

Пауза.

Бериш — оригинал и острослов — длинноносый, с резкими чертами лица, с шляпой под мышкой и с шпагой на боку, балагур-бездельник, похожий на старого француза, чей костюм, всегда серый, но в сложнейшей гамме серых оттенков,

вызывал общие насмешки,— тридцатилетний Бериш — гувернер, выгнанный из графского дома за дружбу со студентом Гете и за пристрастие к литературным трактатам,— был мастером словесной карикатуры.

Бериш. Свежие пирожные нашего доброго булочника Генделя — заметьте, что его вывеска ласкает слух, напоминая о широкой, спокойной и прекрасной музыке одноименного композитора,— я предпочитаю черствым изделиям почтеннейшего профессора Готшеда, выпеченным из тухлой исторической муки и приправленным иностранными словами.

Старика Клопштока называют божественным поэтом. Согласен. Он хорош уже тем, что не проглотил целиком древнегреческой колонны. Но поэма его — знаменитая «Мессиада», пересказывающая Евангелие, так длинна, что понадобилось бы нанять носильщика, чтобы таскать ее с собой на прогулку. Речи святых персонажей усыпляют, как воскресные проповеди, но вдруг автор оживляется и обретает силу, огонь, краску, звучность. Бедняга Клопшток! Он уже угадывает язык страстей, язык живой природы,— но слушать органную музыку и выжимать из себя слезы сорок восемь часов подряд! — Нет, спасибо.

Пауза.

Он сидит за маленьким рабочим столиком у высокого окна без занавески. Резной стул с очень высокой спинкой немного откачнулся назад. Комната учащегося и молодого художника. Стоит мольберт с начатой живописью. Мятущееся дерево в голландском вкусе. Рядом — пузатая фляга с каким-то питьем и стакан, накрытый блюдцем. Гете — в короткой рабочей куртке. Лицо — напряженное, злое. Он не причесан, косичка болтается. У него тяжелый подбородок упрямого школьника. Почерк его исполнен самого дикого движения и в то же время гармонии. Буквы похожи на рыболовные крючки и наклоняются по диагонали. Как будто целая стая ласточек плавно и мощно несется наискось листа.

В городе только что отстроили новый театр. Студенты гурьбой навещали декоратора на чердаке. Там, на полу, был распластан свеженамалеванный занавес. Музы уже не витали в небесах, но стояли на земле. К портику шел человек. Всех радовало, что он не в греческом хитоне, а в обыкновенном

платье. Это Шекспир. Мысль художника ясна: он один пробил себе дорогу к Пантеону искусств. Шекспиром зачитываются. Шекспиром захлебываются. В нем ценят дерзость ума, глубину душевного чувства, чудесные переходы от ярости к нежности, размах в изображении человеческих характеров и — больше всего — горечь и стыд за современность, которую узнаешь в Шекспире под любыми масками.

С высоких колосников студенты смотрели на сцену, и она казалась им слишком маленькой для шекспировского действия.

Всем хотелось, чтобы «Гец фон Берлихинген» — юношеская трагедия Гете — была достойна Шекспира.

Эпизод седьмой

Вдаль убегают туманные цепи Вогезских гор, простирающиеся на юг. Внизу долина реки Саар. Позади остались башни Страсбургского собора. На больших речных дорогах, торговых узлах, в ярмарочных центрах высились стреловидные громады готических соборов. Издали они были похожи на каменные леса, увенчанные башнями, вблизи они удивляли глаз обилием растительных завитков, фантастической скульптурой, в которой повторялись морды животных, листья и цветы. Из главной точки каждого свода расходились мощные ребра.

Старик проводник обут в одну туфлю и в один башмак. Он поминутно поправляет сползающие чулки. Его сын рабочий-литейщик.

Что за речонка? Когда попадаешь в новую местность, проследи, по какому направлению текут реки и даже ручейки,— через это познаешь рельеф, геологическое строение местности.

Какие здесь цены на хлеб? Неисчерпаемые природные богатства — уголь, железо, квасцы, сера, а страна — под угрозой голода. Лавочник в ‹П›фальцбурге отказался вчера продать нам хлеб.

Отчего этот запах серы и гари и дым из трещин земли?

Подземный пожар, охвативший отработанные штольни. Он длится уже десять лет.

Двухэтажный домик с белыми занавесками на окнах. Здесь, на горе, в рудничном районе живет «угольный философ» химик Штауф. Гете, путешествуя по Саару, пришел

поговорить с ним о хозяйстве страны и об использовании природных богатств.

Зато меня порадовала выработка проволоки. Это зрелище способно привести в восторг любого человека: тяжелый ручной труд заменен машиной. Она работает как разумное существо.

И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

‹Эпизод восьмой›

‹...›

И еще один человек с таким мягким выражением лица, с таким пухлым ртом, с такими плавными дугами бровей, как будто он сочинитель музыки, с отпечатком болезненности и силы в каждой черте своей: собиратель народных песен — поэт и мыслитель Гердер. Гете от него узнал: поэзия никогда не является частным личным делом. Поэзия — серьезная работа. Гердер слабо улыбается и говорит: «Мысль и слово, чувство и выражение неотделимы друг от друга при расторжении, как два близнеца».

Чтобы понять, как разворачивалась жизнь и деятельность Гете, нужно также помнить, что его дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой.

Фридерика Брион в крестьянском платьице с короткими рукавами, с длинными косами. Она поворачивает голову, прикрытую косынкой, как ягненок на звук колокольчика. Пасторская дочка. Шумная деревенская семья.

Лотта, чужая невеста, всегда хлопочущая и со всеми приветливая, та самая старшая сестра из повести «Вертер», за подол которой цепляются младшие братья и сестры: ограниченное и довольное среднее бюргерство.

Лили Шёнеман, или просто Лили,— смеющийся и задорный профиль, но отчеканьте его на монете, и те же тонкие губы, та же греческая прическа будут выглядеть властно: дочь банкира, играющая на клавесине, твердая в своих причудах.

И вот хочется спросить: почему же Гете, общительный,

любимый, любящий, глубже всех поэтов своего времени выразил тему одиночества?

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд!
Ах, людям есть кого любить,
Что им до наших нужд?

Так что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня.
С ней не расстанусь я.

Ответ на этот вопрос мы найдем в «Вертере» — этой книге отчаяния молодого Гете. Книга эта посеяла заразу самоубийств в обеспеченной бюргерской среде. Чувствительная молодежь поняла ее как руководство к самоубийству. Хотя автор писал с обратной установкой — как выздоравливающий рассказывает о своей болезни. Голубой фрак, в который одевался Вертер, послужил символом победоносного ухода от действительности: на самом же деле, несмотря на гибель нескольких десятков злополучных подражателей Вертера, этот литературный образ, образ чувствительного молодого буржуа, стоящего выше своей среды, послужил лишь к укреплению жизненности своего класса, и недаром Наполеон брал его с собой в поход и перечитывал его семь раз.

Эпизод девятый

Тра-та-та-та! Тра-та-та-та!
Труби, почтальон на высоких козлах!
Пламенейте, вершины красных кленов!
Прощай, неуклюжая, но все-таки милая Германия.
Шоссе не совсем гладкое, но это не беда.
Хочется со всеми говорить, как с добрыми знакомыми.
Хочется каждому нищему сказать что-нибудь ободряющее.
Хриплая бродячая шарманка лучше концертной музыки.
Мычание упитанных тирольских стад кажется полным смысла и жизни, как будто сама земля обрела голос и рассказывает о том, как ее хорошо напоили осенние ливни.

Гендель. «Времена года».

Карета замедляет бег. Две фигуры стоят посреди дороги. Девочка лет одиннадцати отчаянно машет краешком красного плаща. Рядом с ней стоит чернобородый мужчина. За плечами у него большой треугольный футляр.

Маленькая дикарка с арфой — Миньона. Южанка, потерявшая свою родину. Воплощение тоски по цветущему югу, но не итальянка. Старик из-под нахмуренных бровей глядел и гордо и униженно.

— Девочка устала. Господин путешественник, не откажите ее подвезти.

Гете в мчащейся карете шутит с пугливым зверьком, самолюбивой маленькой арфисткой. Он ее дразнит, экзаменует. Она не умеет отличить клена от вяза. Но и девочка не остается в долгу. Между прочим, она объясняет, что арфа — прекрасный барометр. Когда дискантная струна настраивается выше, это всегда к хорошей погоде.

За Бреннером в начале альпийского перевала он увидел первую лиственницу, за Шенбургом первый сибирский кедр. Верно, и здесь маленькая арфистка стала бы расспрашивать.

‹..›

Дома в Германии он избегал углубляться в античность, в древний классический мир, потому что понять для него значило увидеть, проверить осязанием. Первая встреча с памятником классической древности: живой древности, не менее живой, чем природа.

Веронский амфитеатр: один из цирков, построенных римским императором для массовых зрелищ.

— Я обошел цирк по ярусу верхних скамеек, и он произвел на меня странное впечатление: на амфитеатр надо смотреть не тогда, когда он пуст, а когда он наполнен людьми. Увидев себя собранным, народ должен изумиться самому себе — многогл‹асный›, многошумный, волнующийся — он вдруг видит себя соединенным в одно благородное целое, слитым в одну массу, как бы в одно тело. Каждая голова зрителя служит мерилом для громадности целого здания.

Ветер, веющий с могил древних, проносясь над холмами, ‹по›крытыми розами, проникается их благоуханием. Памятники выразительны, трогательны и всегда воспроизводят жизнь. Так э‹тот› муж, который из ниши, как из окна, глядит на свою жену. ‹А› там стоят отец и мать, а между ними сын, и смотрят друг на друга с невыразимой естественностью.

А через несколько недель в маленьком венецианском театре шла довольно нелепая пьеса: актеры, по ходу действия,

чуть ли не все закололись кинжалами. Неистовая венецианская публ‹ика›, вызывая актеров, вопила: «Bravo, i morti!» — браво, мертвецы!

Чему так непрерывно, так щедро, так искрометно радовался Гете в Италии?

Популярности и заразительности искусства, близости художников к толпе, живости ее откликов, ее одаренности, восприимчивости. Больше всего ему претила отгороженность искусства от жизни.

Прислушайтесь к шагам иностранца по нагретому камню уже опустевшей набережной Большого Венецианского канала. Он не похож на человека, который вышел на свидание: слишком велик размах его прогулки, слишком круто и решительно он поворачивает, отмерив двести или триста шагов.

В упругом воздухе ночи — попеременно — сзади и спереди звучат мужские голоса. Они передают друг другу мелодию, они продолжают и никак не могут закончить какой-то трепещущий рассказ в стихах.

Каждый раз, наталкиваясь на свежую волну напева, Гете сворачивает обратно к другому, только что умолкшему певцу и, провожаемый мелодией, удаляется от нее — навстречу новой ожидаемой волне ее продолжения.

Перекликающиеся лодочники поют стихи старинного поэта Торквато Тассо. Тассо знает вся Италия. Безумный Тасс, семь лет просидевший на цепи в темнице герцога в Ферраре, тот самый Тасс, которого хотели увенчать лаврами в римском Капитолии. Но не успели — он умер, не дожив. Певец средиземных просторов — он рассказывал, как рубили дерево в заколдованных рощах и строили башню на колесах для осады мусульманских городов.

Великодушный поэт смешал в одну кучу турок, арабов и европейских крестоносцев; волшебников и чертей он поставил чуть ли не выше христианского Бога и помешался от страха, что церковь и власть объявят его еретиком.

К Гете подошел старый лодочник:

— Удивительно, как трогает душу это пение, особенно когда поют умеючи и по-настоящему.

Четырнадцатого октября 1786 года Гете выехал из Венеции в Рим.

Восемнадцатого июня 1788 года он вернулся в Веймар.

1935

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ
(Ранние редакции и варианты)

4а.

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужицких бычачьих церквей,
В очаг потухающей речи
Открой мне дорогу скорей.

Багряные «уни» и «ани» —
Натуга великих родов —
Обратно под своды гортани
Рванулась запряжка быков.

16 октября 1930

46.

АРМЕНИЯ

1

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

‹2›

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,

Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

‹3›

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Лишь кой-где веселый мальчишник —
Уживчивый праздничный хмель,
Но серо-зеленый горчишник —
Безжизненный пластырь земель.

4в.

АРМЕНИЯ

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,

Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

4г.

АРМЕНИЯ

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

(3—14)а.

‹НАБРОСКИ›

‹1›

Ты только погляди на армянские кладбища —
Землетрясеньем раскиданные рыжие валики
Похожие на футляры от швейных машин [Зингера]
Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

Здесь слышен храп румяных царей и бородатых ангелов
Извиняющийся храп неграмотных священников
Свиристящий храп носатых филистеров
Патриарший храп *‹нрзб.›* ремесленников
И буйволиный храп крестьян.

‹2›

А шиповник Звартноца осыпающийся при первом
прикосновении
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый
И для шербета негодный дичок
Не дающий ни масла, ни запаха?

Роза фаэтонщика и угрюмого сторожа
Охраняющего руины запущенного форума
Где срубленные *‹?›* дубы в *‹пробел›* обхвата
Рулоны каменных ковров.

‹3›

Дорогая дорогая дорогая
Древняя древняя древняя
В три цвета раскрашенный атлас земли Птоломеевой
Ликом льва ставшее *‹?›* ребяческое изображение
‹пробел› из тысячи тысяч детей

И с сундуками путешествующие деревенские кладбища
Землетрясеньем раскиданные рыжие валики
Словно футляры от швейных машин
Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

‹4›

Запряжка быков везет апельсинный напиток *‹?›*
Чтобы строить дома из цуката
И голенастые поливальщики улиц
Как сеятели [разбрасывающие брызги].

‹5›

Выбелив дом, ушли штукатур и плотник *‹?›*
Двина прозрачного уксусно-горького выпить
Мусор сожжен драгоценный.

‹6›

[Есть профессора, гадающие на настое и поклоняющиеся
дьяволу.
Губы прислушиваются к священному шелесту.]

‹7›

‹пробел› как товар из вавилонской лавки
Виноградины с голубиное яйцо и рыбы
[из каменной соли] как пшеничные хлебы
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные византийской службой.

19а.

Дикая кошка — армянская речь —
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь:
О, лихорадка, о, злая маруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых на желтой равнине.

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный — мать твою так!—
Без подорожной в армянские степи.

Ты пропади *‹пропуск›* говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу,—

Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое:— Ба!
Ты ли, дружище,— какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено мне, должно быть, в награду
Лишь роковое в боку колотье
Да эрзерумский стакан лимонаду.

Тифлис, октябрь 1930

19б.

‹1›

[Грянет же] Грянуло в двери знакомое: ба!
Ты ли дружище — какая издевка
Там, где везли на арбе Грибоеда
Долго ль еще нам ходить по гроба
Как по грибы деревенская девка

И по-звериному воет людье
И по-людски куролесит зверье
Чудный чиновник без подорожной
Командированный к тачке острожной
И Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму

‹2›

Грянуло в двери знакомое: ба!
Наши дороги ведут к Эрзеруму
Где Черномора пригубил питье
Чудный чиновник без подорожной
Командированный к тачке острожной

‹*пробел*› ли очнуться
А не пора ли очнуться мне там
Где обо мне ни слуху ни духу
В городе, где выпрямляюсь по слуху
Где на ‹молочных [его] еще площадях›
[Липа стоит] Летнего сада столетней ‹резьбою›

21а.

— Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

— Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

‹— ›Петербург, я еще не хочу умирать:
У меня телефонов твоих номера.

Петербург, я сумею найти адреса,
О которых твердят мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду вестей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

22а.

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,

И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Январь 1931

29а.

Не табачною кровью газета плюет,
Не костяшками дева стучит,—
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует, поет, говорит —

Мне ‹на шею кидается век-волкодав...›

29б.

Золотились чернила московской грязцы
И пыхтел грузовик у ворот
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ.

‹*пробел*› шли труда чернецы
Как шкодливые дети вперед
Голубые песцы и дворцы и морцы
Лишь один кто-то властный поет ‹:›

За гремучую ‹доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья и чести своей.›

[Мне на плечи ‹кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...›

А не то уведи — да прошу поскорей —
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
‹Отними и гордыню и труд —
Потому что не волк я по крови своей
И за мною другие придут.›]

29в.

Золотились чернила московской грязцы
И пыхтел грузовик у ворот
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ.

‹пробел› шли труда чернецы
Как шкодливые дети вперед
Голубые песцы и дворцы и морцы
Лишь один кто-то властный поет:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья и чести своей.

Замолчи! Я не верю уже никому
Я такой же как ты пешеход
Но меня возвращает к стыду моему
Твой грозящий искривленный рот.

Я — вишневая косточка детской игры
Но в безводном ‹пророческом?› рву
Я — трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю зачем я живу.

. . . .
. . . .
Но заслышав тот голос пойду в топоры
Да и сам за него доскажу.

29г.

‹1›

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу.

‹2›

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И слеза на ресницах как лед
Потому что не волк я по крови своей
И во мне человек не умрет.

‹3›

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает
Потому что не волк я по крови своей
И неправдой искривлен мой рот.

30а.

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцевич,
Чего же вам еще.

34а.

РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал —
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф —
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих — конек-горбунок.

Не прелюды он и не вальсы,
И не Листа листал листы,
В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

35а.

[Нет, не мигрень — но подай карандашик ментоловый
[Сонным обзором я жизнь воскрешаю]
Сгинь поволока искусства: мне стыдно, мне сонно и солово.]

[Нет, не мигрень — но подай карандашик ментоловый
Да коктебельского горького чобру пучок положи мне
под голову]

[Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой]

37а.

[ГЕОГРАФИЯ]

Как густое женское контральто —
Слева сердце бьется,— слава, лейся!
Я увижу вас, храмовники базальта,
Вас, держатели могучих акций гнейса.

То зрачок профессорский орлиный,—
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

Там Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида —
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу: «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой — зависть, в красной — нетерпенье.

26 мая 1931

41а.

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, где нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет
И что еще не народилась стерва,
Которая его перешибет.

Меня хотели, как пылинку, сдунуть,—
Уж я теперь не юноша, не вьюн,
Держу пари: меня не переплюнуть,
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

41б.

Когда подумаешь чем связан с миром,
То сам себе не веришь — ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.
Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И как жокей ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год, черемуха цветет,
Что возмужали дождевые черви,
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться! Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью.
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

44а.

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век... Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там: стыдно...

Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики — заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
    Белогвардейцы, вы его видали?
    Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду
Я, кажется, в грядущее вхожу
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее...
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня...

И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро,—
И подбивает взять почасный ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда — она сегодня в няньках?
Все мечется — на сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках...

Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической повязкой на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы.
Здравствуй, здравст
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!..

25 июля 1931

45а.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

45б.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

Февраль—апрель 1932

49а.

НОВЕЛЛИНО

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.

По темнобархатным холмам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по лугам,
Как маки на дорожках.

Уж эти мне говоруны —
Бродяги-флорентийцы,
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.
Они под звон колоколов
Молились Богу спьяну,
Они дарили соколов
Турецкому султану.

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятьях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932

52а.

Дайте Тютчеву стрекóзу
Догадайтесь, почему
Веневитинову розу,
Ну, а перстень — никому

Пятна жирно-нефтяные
Не просохли в купах лип
Как наряды тафтяные
Прячут листья шелка скрип.

Тихо шаркают подошвы
Недочитанных стихов,
И плывут без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

‹Май 1932›

52б.

А еще богохранима
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода.

‹1935?›

55а.

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля пока,
И в сапожках мягких ката
Выступают облака.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, с конским топом
И древесною молвой.

2 июля 1932

58а.

Когда пылают веймарские свечи
И моль трещит под колпачком чулочным,
Мне хочется воздать немецкой речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у Христиана Клейста.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

Еще во Франкфурте купцы зевали.
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб, обманывая пряху,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Воспоминаний сумрак шоколадный.
Плющом войны завешан старый Рейн.
И я стою в беседке виноградной
Так высоко, весь будущим прореян.

Так я стою и нет со мною сладу
. . . .
Бог Нáхтигаль! Дай мне твои рулады
Иль вырви мне язык: [за святотатство!] [я так желаю!]
он мне не нужен.

63а.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль —
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Май 1933

64а.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы как черви жирны,
А слова как пудовые гири верны —

Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей —

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз

Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

79а.

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Дикие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых:

Воздух медвежий, полог стрел каленых
Уже не тот. Мучительнее дыбы
Прелестный холм. Уже не те изгибы
Тропинка вьет на тех же самых склонах.

Все обозримо. Все на старом месте.
Волнуется. Один я замурован.
О, переход из полдня к черствой келье!

79б.

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых:

Воздух медвяный, полог стрел каленых
Уже не тот. Мучительнее дыбы
Подъем и спуск. Уже не те изгибы
Тропинка вьет на тех же самых склонах.

Цепи холмов волнуются на месте,
И лишь во мне, как бы внутри гранита,
Зернится скорбь. Что было — то мелькнуло.

Здесь я ищу следов красы и чести,
Той самой, что отсюда, нарочито,
Без оболочки — в небе потонула.

11-840

80а.

Как соловей свое несчастье славит
В отцовской и супружеской кручине
И чистый воздух состраданьем плавит,
До высоты выплескиваясь синей.

И всю-то ночь насквозь меня буравит
И провожает он к моей судьбине.
Кто ж без меня поймет и в звук поставит,
Что смерть нашла прибежище в богине.

О легковерье суетного страха:
Он исключил два солнца из эфира
Боясь увидеть их щепотью праха.

Так вот она, карающая пряха!
Я убедился, что вся прелесть мира
Ресничного не долговечней взмаха.

80б.

Как соловей свое несчастье славит
В отцовской и супружеской кручине
И чистый воздух состраданьем плавит,
До высоты выплескиваясь синей.

И всю-то ночь насквозь меня буравит
И провожает он, один отныне,
Я — только я — я тот, кто в звук поставит,
Что смерть нашла прибежище в богине.

О, как легко не знать и жить без страха:
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Сметь уложить в слепую люльку праха.

Так вот она, карающая пряха!
Я убедился, что вся прелесть мира
Ресничного не долговечней взмаха.

81a.

Только ‹уснет земля› и жар отпышет
И на души зверей пал пух лебяжий,
Играет ночь своих созве́здий пряжей
И мощь воды морской зефир колышет.

Чую горю рвусь плачу и не слышит
В неудержимом отдаленьи та же
Что и всегда, гневливая, на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

И ключ один поет разноречиво.
Полужестка, полусладка — ужели
Одна и та же милая двулична...

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.

82a.

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь память наслаждений.

Нет, не хочу надменных обольщений.
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

82б.

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег, поймав немного блага
На взмах ресницы. Смешанная влага
Струится в жилах: горечь наслаждений.

Слепорожденных ставит на колени
Злая краса. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга
Уже земля и лишена сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

82в.

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

Слепорожденных ставит на колени
Надменный мир. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга —
В жирной земле без нежных разветвлений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

82г.

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

О семицветный мир лживых явлений!
Печаль жирна и умиранье наго!
А еще тянет та, к которой тяга,
Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

‹СТИХИ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО›

83а.

‹1›

И клянусь от тебя в каждой косточке весточка есть
И остаться в живых за тебя величайшая честь.

‹2›

Из горячего черепа льется и льется лазурь
И тревожит она литератора-Каина хмурь.

‹3›

Так слагался ‹?› смеялся и так не сложившись ушел
Гоголек или Гоголь иль Котенька или глагол.

‹4›

На тебя надевали тиару — юрода колпак
Продавец паутины, ледащий писатель, пустяк.

‹5›

Буду гладить и гладить сухой шевиот обшлагá
[Вопрошая о том, что такое]
Обо всех обо всех запредельная ‹?› плачет вьюга.

‹6›

Выпрямитель сознанья еще не рожденных эпох
Голубая тужурка, немецкий крикун, скоморох.

‹7›

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей:
Без нее лишь бумажные дести и нету вестей.

(84—87)а.

УТРО 10 ЯНВ‹АРЯ› 1934 ГОДА

1

Меня преследуют две-три случайных фразы,—
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна...

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?..
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,

Когда скользит, исполненный отваги
С голуботвердой чокаясь рекой?

Ему солей трехъярусных растворы
И мудрецов германских голоса,
И русские блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа;
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

2

Когда душе взволнованно торопкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит рассеянною тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь — еще птенец смычка.
....

Лиясь для ласковой только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот,
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А в гуще похорон стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик,
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах
И созревающий и тянущийся весь,
Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах,
Единственное, что мы знаем днесь.

16—21 января 1934

(84—87)б.

10 ЯНВАРЯ 1934

1

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О, Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти — как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы
И озираючись пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы́ умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог.
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

2

Когда душе столь тóропкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна.

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот,
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовый перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик,
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах
И созревающий и тянущийся весь,—
Доколе не сорвусь — разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

16—22 января 1934

(84—87)в.

10 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

1

Меня преследуют две-три случайных фразы:
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Где первородство, где счастливая повадка,
Где плавкий ястребок на самом дне очей,
Где вежество? где горькая украдка?
Где ясный стан, где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой —
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русских первенцев блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

2

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради.
Лиясь для мышц и бьющихся висков,

Лиясь для ласковой, только что снятой, маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3

Когда душе и то́ропкой, и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка,
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь, в продольный лес смычка,

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна...

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

4

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот —
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы — стоял гравировальщик,
Готовый перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий и тянущийся весь,
Доколе не сорвусь — разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь...

(84—87)г.

10 ЯНВАРЯ 1934

Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого)

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О, Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,—

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Железный пух в морозной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему пространств инакомерных норы,
Их близких, их союзных голоса,
Их внутренних ристалищные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради:
Лиясь для мышц и бьющихся висков!

Лиясь для ласковой, только что снятой, маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот:
Сон, в оболочке сна, внутри которой снилось,
На полшага продвинуться вперед!

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер, друг меднохвойных доск,

Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Подарок зрения и многолюдства чин!

Январь 1934

(84—87)д.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

Январь 1934

(84—87)е.

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где ‹будут хоронить›? Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер.
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Чего-то шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.
‹...› напутал и уснул.

Январь 1934

88а.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно окающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

‹Ты, Мария — › гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

Февраль 1934

94а.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Обожженное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы краснознаменной хвои,
С глубиной колодезной венки,
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, круглые венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно люди, люди, люди —
Продолженье зорких тех двоих.

Весна 1935

100а.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный —
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный.

Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель дальнозоркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький —
Могучий мозг, гори, гори стране!

Апрель 1935

101а.

Там деготь прогудел, лазурью шевеля:
— Пусть шар земной положит в сетку школьник.
На Красной площади всего круглей земля,
Покуда на земле последний жив невольник!

Май ‹1935›

103а.

День стоял о пяти головах. Горой пообедав,
Поезд ужинал лесом. Лез ниткой в сплошное ушко.
В раздвое конвойного времени шла черноверхая масса
Расширеньем аорты болеющих белых ночей.
Глаз превращался в хвойное мясо.

[Трое славных ребят из железных ворот Г.П.У.
Слушали Пушкина.
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Как хорошо!]

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой:
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть — и вскочить на коня своего.

Апрель—май 1935

108а.

СТАНСЫ

1

Проклятый шов, нелепая затея
Нас разделили, а теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!

2

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

3

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата —
Из дерева, стекла и молока...

4

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, — сам-друг, —
Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

5

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем — после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га!

108б.

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
Земного шара первый часовой.

119а.

Когда заулыбается дитя
С прививкою и горечи и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье:

И цвет и вкус пространство потеряло,
На лапы задние поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца их радуга связала,
И бьет в глаза один атлантов миг.

9—11 декабря 1936

119б.

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк:
Улитки рта — наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явное в улыбку превращенье.

9 декабря 1936 — 6(7?) января 1937

119в.

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явного в число чудес вселенье.

И цвет, и вкус пространство потеряло,
Хребтом и аркою поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца, их радуга связала
И в оба глаза бьет атлантов миг.

9 декабря 1936 — 11 января 1937

121а.

Внутри горы бездействует кумир
С улыбкою дитяти в черных сливах,
И с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

И странно скрещенный, завязанный узлом
Стыда и нежности, бесчувствия и кости,
Он улыбается своим широким ртом
И начинает жить, когда приходят гости.

13 декабря 1936

121б.

И странно скрещенный, завязанный узлом
Очеловеченной и усыпленной кости
И начинает жить чуть-чуть когда приходят гости
И исцеляет он, но убивает легче.

(123, 124)а.

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щеголь, голову закину,
И щегла увижу я.

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
И нагрудник красным шит
[Черно-желтый,] Сознаешь ли,— до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

И распрыгался черничной дробью
Мечет [бусинками] ягодками глаз,
Я откликнусь своему подобью,—
Жить щеглу: вот мой указ!

Декабрь 1936

(123, 124)б.

[Я и сам бы выпрыгнул из сдобы
Тела кожи и костей
Чтоб увидеть красные сугробы]

[И распрыгался в че‹рничной› дроби
Умных ягод, черных глаз
Красен снег, легко стоял в сугробе
Жить щеглу вот мой указ]

Видит, смотрит — весь свое подобье
Не посмотрит — улетел.

‹27 декабря 1936›

125а.

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется пуховит —
Он покраснел и в умной злобе
Ученой степенью повит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц.
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Декабрь 1936

130а.

Ничего, что темноводье,
Ничего, что я продрог
И что область хлебороба —
Цепи якорной ядро.
Я люблю ее рисунок,
Он на Африку похож —
Дайте свет — прозрачных лунок,
Тонких жилок не сочтешь.
— Анна, Россошь и Гремячье
Я твержу их имена —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна...

Я кружил в полях совхозных —
Полон воздуха был рот —
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот...
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров.
Трудный рай земли знакомой
Я запомнил навсегда:
Воробьевского райкома
Не забуду никогда!

Где я? Что со мной дурного?
Кто растет из-за угла?
Это мачеха Кольцова,
Это родина щегла!
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов,
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

24 декабря 1936

130б.

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот, и жизнь берет,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена,—

Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

23—27 декабря 1936

130в.

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро...

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло.
Смотришь: небо стало выше —
Новоселье, дом и крыша
И на улице светло!

26 декабря 1936

(138, 139)а.

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды.

Подкопытные наперстки,
Бега кровного следы,
Раздают не по разверстке
На столетья, без слюды...

12 января 1937

(138, 139)б.

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды.

Подкопытные наперстки,
[Бега сжатого следы]
Неба синего следы,
Раздают не по разверстке:
На столетья — без слюды...

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды.

И уже мое родное
Отлегло, как будто вкось
По нему прошло другое
И на нем отозвалось.

12—14 января 1937

143а.

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим —
И все растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим,—
Пространств несозданных Иуда?

16 января 1937

146а.

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я — сказать, как солнце светит...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни — оборону
Страны-земли, где смерть утратит все права
И будет под стеклом показан штык граненый...

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное простого мудреца —
Его мы слышали и мы его застали...

18 января — 3 февраля 1937

146б.

[И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни — оборону
Страны-земли, где смерть утратит все права
И время расцветет, как самоцвет граненый...

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят,

Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, как солнце светит...

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное простого мудреца —
Его мы слышали и мы его застали...]

[Нрзб.] лошадей вдыхаю чалый пар
[Подковой] речь звенит ‹?›, шуршит как речь листва.
[Великий Сталин этой]
Да закалит меня той стали сталевар
В которой честь и жизнь и воздух человечества.

146в.

1

Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним идет, густея,—
Само грядущее дружина мудреца
И слушает его все чаще, все сильнее...
Художник, береги того, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит,
Не я и не другой — ему народ родной,
Народ-Гомер хвалу утроит.

2

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов — должник сильнее иска;
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко.
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта — отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко — знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь откровенность, весь признанья медь
И зоркий слух, не терпящий сурдинки...
На всех, готовых жить и умереть,
Бегут, играя, щурые морщинки...

3

Глазами Сталина раздвинулась гора
И вдаль прищурилась равнина,
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе...
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое,
Чудо народное — да будет жизнь крупна —
Ворочается счастье стержневое...

4

Сжимая уголек, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною ловить лишь сходства ось
Я уголь искрошу, ища его обличье.
Я у него учусь, не для себя учась,
Я у него учусь к себе не знать пощады:
Несчастья скроют ли большого плана часть —
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть не достоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами, —
Он все мне чудится в шинели, в картузе
На чудной площади с счастливыми глазами.

5

И шестикратно я в сознаньи берегу —
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы —
Его огромный путь через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы...
Уходят вдаль людских голов бугры,
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я — сказать, как солнце светит...
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:

Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

1937

147а.

[Грянь, боевой салют‹?›: не тронь Москвы, не тронь!]
Обороняет сон мою донскую сонь —
И разворачиваются черепах маневры
Их быстроходная взволнованная бронь
А по трибунам вверх ковры людского говора.

И в бой меня ведут понятные слова
За оборону жизни — оборону
Страны-земли — где смерть уснет, как днем сова
[Стекло Москвы] Москва горит стеклом меж ребрами гранеными.

Рассыплется‹?› унынья чалый пар
Подковой речь звенит, шумит как речь — листва
Да закалит меня той стали сталевар —
В которой мир и жизнь и воздух человечества.

3 февраля 1937

151а.

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.
Там уж скоро третий год
Тень моя живет меж вами
И шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,
И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21 января 1937

154а.

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди;
Если б меня лишили всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,—
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б,—
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И в легион братских очей сжатый
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой: Ленин,
Но на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь Сталин.

Февраль 1937

164а.

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Безымянная манна его —
Сострадательный, темный, владетельный —
Океан без души, вещество...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево
Начинающих смерть скоростей —
Это зренье пророка подошвами
Протоптало тропу в пустоте —
Миллионы убитых задешево,
Доброй ночи! Всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте.

1 марта 1937

164б.

Посв. М. Ломоносову

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
Яд Вердена, всеядный и деятельный,—
Океан без окна, вещество... *

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево —
Начинающих смерть скоростей.
И не знаешь, откуда берешь его,
Свет пропавших без вести вестей —
Недосказано там, недоспрошено,
Недокинуто там в сеть сетей,
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых [задешево] подошвами
Шелестят по сетчатке моей.
Доброй ночи! Всего им хорошего!
Это зренье пророка смертей.

‹1—2 марта 1937›

* Вариант ст. 3—4: “Как лесистые крестики метили // [Откупив океан] Океан или клин боевой”.

164в.

Этот воздух пусть будет свидетелем
Дальнобойное сердце его —
Яд Вердена — всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте
Доброй ночи! Всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Свет стоит на [подошве] моей, —

Там лежит Ватерлоо — поле новое,
Там от битвы народов светло:
Свет опальный — луч наполеоновый
Треугольным летит журавлем.
Глубоко в черномраморной устрице
Аустерлица забыт огонек,
Смертоносная ласточка шустрится,
Вязнет чумный Египта песок.

Будут люди голодные, хилые
Убивать, холодать, голодать, —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя — целокупное
Я губами несусь в темноте.

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

3 марта 1937

164г.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках — всеядный и деятельный,
Океан без окна, вещество...

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте:
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры,—
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево —
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей,—

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей:
И за полем полей — поле новое
Трехугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновою
И от битвы давнишней светло...

Весть летит светопыльной обновою:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов — я новое —
От меня будет свету светло...
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни —
Во весь лоб — от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец...

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат,—

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

2—10 марта 1937

164д.

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

Этот воздух пусть будет свидетелем
Дальнобойное сердце его
И в землянках — всеядный и деятельный —
Океан без окна — вещество

До чего эти звезды изветливы —
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля
В океан без окна — вещество...

Помнит дождь — неприветливый сеятель —
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня ласточка хилая
Разучившаяся летать
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла управлять.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры
Золотые созвездий жиры.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Неподкупное небо окопное
Небо крупных оптовых смертей
За тобой, от тебя — целокупное
Я губами несусь в темноте.—

12–840

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

Хорошо умирает пехота
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка
И над птичьим копьем Дон-Кихота
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека—
Им обоим найдется работа
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб от виска до виска
Чистотой своих швов он дразнит себя
Понимающим куполом яснится
Мыслью пенится — сам себе снится
— Чаша чаш и отчизна отчизне
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Ясность ясеневая и зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно
Впереди не провал, а промер
И бороться за воздух прожиточный
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Самым огненным бытием

Я ль без выбора пью это варево
Свою голову ем под огнем.

Слышишь мачеха звездного табора —
Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом
Я рожден в девяносто втором
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

164е.

СОЛДАТ №3

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его,—
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Для того ль должен ‹череп› развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится — сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна ‹отчизне› —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи — всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
[Золотые] Растяжимых созвездий шатры —
Золотые [созвездий] убийства жиры.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей.
И за полем полей — поле новое
Трехугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы давнишней светло.

Необутая, светоголовая,
Удаляющаяся за обзор
Мякоть света бескровно-кленовая
Хочет всем рассказать свой позор.
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороком затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,

Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно,
Чуть-чуть красные, мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора —
Ночь,— что будет сейчас и потом?

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого [сердцу темно] тёмно и днем.

Но окончилась та перекличка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной
По указу великих смертей.
Я — дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет...

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —

За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

164ж.

СОЛДАТ № 3

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его,—
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи — всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими босыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей.
И за полем полей — поле новое
Трехугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы давнишней светло.

Для того ль должен ‹череп› развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—

Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится — сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна ‹отчизне› —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И ‹стучит› по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно,
Чуть-чуть красные, мчатся в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора —
Ночь,— что будет сейчас и потом?

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого тёмно и днем.

Но окончилась та перекличка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной
По указу великих смертей.
Я — дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами—
Растяжимых созвездий шатры—
Золотые убийства жиры.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от себя, целокупное,
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил—
Развороченных— пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

170а.

‹1›

Одинокое небо виднее,
Как недугом я жил им в судьбе,
Но оно западня: в нем труднее
Задыхаться, чернеть, голубеть.

2

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

3

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

4

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и глубже и выше—
Отклик неба, забыв мою грудь.

174а.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный строй—
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий
Несравненный Виллон Франсуа.

177а.

О, как же я хочу—
Не чуемый никем—
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись—
Другого счастья нет—
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

[Он только тем хорош,
Он только тем и мил,
Что будит к танцу дрожь—
Румянец звездных сил.]

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

Март 1937

177б.

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!

А ты в кругу лучись,—
Другого счастья нет,
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

27 марта 1937

188а.

Пароходик с петухами
Пó небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный—
Хочешь, повтори:
— Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы...

И полуторное море
К небу припаяв,
Москва слышит, Москва смотрит
В силу, в славу, в явь.

Только на крапивах пыльных —
Вот чего боюсь —
Не позволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 1937

СТРОКИ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ УТЕРЯННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

255.

Набравши море в рот,
Да прыскает вселенной.

‹1932?›

256.

Вакс ремонтнодышащий

‹Начало 1930-х›

257.

Убийца, преступная вишня,
Проклятая неженка, ма!
.... дар вышний,
Дар нежного счастья сама.
....
....
Блеск стали меча самурайской
И вся первозданная тьма
Сольются в один самородок,
Когда окаянней камней
Пленительный злой подбородок
У маленькой Мери моей.

1933(?)

258.

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова

И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курою в ущелье балконном
Шили платья у тихой портнихи...

Апрель 1934

259.

Это я. Это Рейн. Браток помоги.
Празднуют первое мая враги.

Лорелеиным гребнем я жив, я теку
Виноградные жилы разрезать в соку.

1935

260.

Я семафор со сломанной рукой
У полотна воронежской дороги

1935

261.

И пламенный поляк — ревнивец фортепьянный...
Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах...
И маленький Рамо — кузнечик деревянный.

1937

262.

На этом корабле есть для меня каюта

‹1937›

263.

Но уже раскачали ворота молодые микенские львы

‹1937?›

264.

В Париже площадь есть — ее зовут Звезда
.... машин стада.

‹1937?›

265.

Такие же люди, как вы,
С глазами вдолбленными в череп,
Такие же судьи, как вы,
Лишили вас холода тутовых ягод.

‹1937›

266.

И веером разложенная дранка
Непобедимых скатных крыш...

‹1937›

267.

Река Яузная,
Берега кляузные...

‹1937›

268.

Черная ночь, душный барак,
Жирные вши...

‹1938›

ПРОЗА

(Внутренние рецензии, варианты, неоконченное)

269.

JEAN-RICHARD BLOCH. DESTIN DU SIÈCLE[1]

Как литературный жанр книга Жан-Ришара Блоха примыкает к «легкой и занимательной» философии. Это блестящая, подчас виртуозная болтовня на важные культурно-исторические и политические темы, фельетон с притязанием на пророческий размах.

По содержанию — она из бесчисленной семьи так называемых «закатов Европы», но в отличие от догматики и систематики Шпенглера автор рисуется свободомыслием: он над партиями и над классами.

Лейтмотив книги — все разбито. Демократия поругана. Свобода — жалкий призрак. Политика разит падалью. Мировая революция обанкротилась. Полиция, увы, обнаглела и врывается в частные дома. Благородное поколение, воспитанное на Толстом, Ромэн Роллане и Ганди, не желает идти за коммивояжером политики господином Вивиани. Распаду социалистических партий Жан-Ришар Блох посвящает немало язвительных страниц, но нимало не сомневается в их искренности: он уважает всякий пафос.

Война и революция для Жан-Ришара Блоха — отнюдь не закономерности, но явления стихийного, катастрофического порядка. Во всей книге нет ни одного намека на какую бы то ни было подготовку этих сдвигов в прошлом. Идеи с рук на руки передает друг другу так называемое «человечество»; созерцательный Восток глядится в душу мятежного, деятельного Запада. Коммунизм не что иное, как предчувствие новой религии. Европеец — высшая порода человека — хозяин мира, лишь временно утративший господство и самообладание. Он наложит на себя узду, найдет новые слова, ясные, магические формулы, и цивилизация будет спасена.

Массы демобилизованных пролетариев и мелких буржуа колебались между Вильсоном и Лениным. Америка для Блоха жупел,

[1] Жан-Ришар Блок. Судьба века *(фр.)*.

автоматическое чудовище, но Вильсон благороднейший неудачник и библейский проповедник. Народ пошел за ним оттого, что он обещал немедленную гармонию, а Ленин звал к гражданской войне.

Воплощеннная революция уже не революция: дух от нее отлетает. О Троцком — нежная страничка: он хранитель вечного перманентного пламени. И вообще революция как таковая, по Жан-Ришару Блоху, умерла. Ее предал СССР, занявшись хозяйственным строительством. Зато воскресло античное язычество в спорте и религия в культе великих людей и государственных символов. Наполеон и Бетховен — европейские мифы. Ленин — тоже. А большевики — изнанка наполеонизма.

Вся изощренность пускается в ход, чтобы создать колоссальное расстояние между Востоком и Западом, чтобы доказать, что пролетарская революция победила где-то в потустороннем мире.

В книге собран целый ворох цитат, имен, научных и псевдонаучных ссылок: Морис Баррес, Стравинский, Дягилев, Маркс, Фюстель де Куланж, Ферраро, Унамуно, Гладков и даже разговор Горького с Блоком в Летнем саду.

Все это похоже на сорочье гнездо, куда натасканы блестящие предметы.

Вывод следующий: книга Блоха при всей своей внешней левизне и независимости — глубоко реакционна. Она огромный шаг назад от настроений Ромэн Роллана [и радикального крыла. Это не что иное как разоружение пацифизма.]

Будущая война, говорит Блох, обойдется без армий, а потому с ней достаточно бороться при помощи идей.

Переводить книгу ни в коем случае не следует, но упоминания в обзоре западноевропейской публицистики она заслуживает.

270.

GEORGES DUHAMEL. GÉOGRAPHIE CORDIALE DE L'EUROPE[1]

Дюамель не хочет быть «гражданином» и политиком, не хочет быть публицистом или избирателем,— он хочет быть туристом даже в собственной стране. Голландия, Греция и Финляндия — три «несерьезных» страны; их выбор уже демонстрация: долой политику и да здравствуют голландские тюльпаны и финские лыжи.

[1] Жорж Дюамель. Сердечная география Европы *(фр.)*.

Поэт социальной симпатии и проповедник уважения к маленькому человеку — обьявил себя другом порядка. Книга знаменательна. Дюамель «принимает» победу — он называет ее «наша горькая победа». В Греции он мчится на автомобиле по шоссе, проложенному французами в дни войны, и сердце его под фланелевой фуфайкой полно гордости. Впрочем, шовинизм — это грязная вещь, но старая грязноватая Франция с опаздывающими поездами, каштанами, префектурами и провинциальным уютом все-таки хороша, и к ней постоянно возвращаешься.

Европа жива несмотря ни на что, потому что она конгломерат родин, отечеств, уцелевших после войны и даже процветших по ее милости.

Обширное введение посвящено Америке. Автор извиняется перед Францией за то, что страна-спасительница ему не понравилась. Неуклюжий французский чемодан заменили стандартным американским, и Дюамель растерялся на перроне.

Америка — очаг заразы, растлевающий органическую европейскую культуру.

Мы живем среди вещей, сделанных машинами, а машинную технику избранники духа должны ненавидеть. В этом плоском конфликте — предел глубокомыслия Дюамеля.

Для разбега Дюамель берет или придумывает поэтичные легенды: для Финляндии немного из «Калевалы» — про Вайнемайнена, для Голландии — историйку с Саваофом и его архангелами, для Греции — чуточку археологии. Греция подает ему повод к размышлениям о том, что французы — истинные продолжатели эллинского духа; он умиляется корешками французских книг в библиотеке новогреческого поэта — куда ни приедешь — всюду Расин и Мольер.

Если откинуть сладенькую погоню за поэзией и местным колоритом — в книге Дюамеля остается довольно много добротного чувственного материала. Голландские шлюзы, фарфоры, покоящиеся на прочной базе свиноводства, возведены им в перл создания. Лишь бы голландки не отказались от четырнадцати национальных юбок! Голландцы в его изображении вышли домовитыми и опрятными животными, и собственник ночью, не вставая с постели, разглядывает через оптическое приспособление сверкающий электричеством хлев. Дюамель договаривается до того, что современная Финляндия чужда всякому лицемерию. Маленькая страна наслаждается своей самостоятельностью и самобытностью, любовью, трудом и рунами «Калевалы».

Вся книга — печальное зрелище социального ожирения у несомненнного, хотя и не крупного художника. Она имеет резкий политический тембр: истинная цивилизация сближает противоположности и стирает социальные противоречия. Голландия — классическая стра-

на индивидуализма; в ней, слава богу, 146 партий, а в Амстердаме столько же автобусных компаний. Жена бургомистра бегает на коньках со своей служанкой, а директор Нидерландского банка беседует запросто с последним из своих клерков.

Дюамель как писатель все время шел на помочах у перворазрядных творцов и законодателей французской литературы. Он постоянно снижал и Франса, и Ромэн Роллана, и даже Жюль Ромэна до золотой середины. Наша критика всегда этого не замечала и была к Дюамелю слишком близорука и снисходительна. В своей новой книге Дюамель лягает своих же учителей подкованным каблуком туриста.

271.

‹ИЗ ЗАПИСЕЙ 1931-1932 гг.›

‹1›

[Вошел Яхонтов — бледный, помятый, с вышитыми губами и высоким лбом [александровского чиновника] бонвивана и мечтателя. [Прошел и сел и сначала глухо застонал] словно озаренный газовыми фонарями]

1931

‹2›

2 мая 31 г. Чтенье Некрасова. «Влас» и «Жил на свете рыцарь бедный».

Некрасов: Говорят, ему видение
Все мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду.

Пушкин: Он имел одно виденье,
Недоступное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

«С той поры» — и дальше как бы слышится второй потаенный голос:

Lumen coelum, Sancta Rosa...[1]

[1] "Свет небес, Святая Роза..." *(лат.)*.

Та же фигура стихотворная, та же тема отозвания и подвига.

Здесь общее звено между Востоком и Западом. Картина ада. Дант лубочный из русской харчевни:

Черный тигр шестокрылат...
Влас увидел тьму кромешную...

‹3›

‹О Пастернаке›

1. Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно.

Набравши море в рот,
Да прыскает вселенной.

2. К кому он обращается?

К людям, которые никогда ничего не совершат...

Как Тиртей перед боем,— а читатель его — тот послушает и побежит... в концерт...

272.

‹А.СЕРАФИМОВИЧ. «ГОРОД В СТЕПИ»›

«Город в степи» Серафимовича своей тематикой касается одного из важнейших этапов русского капитализма, а именно — 90-х годов. Финансовое грюндерство эпохи Витте, бурный рост железнодорожной сети, хищническое первоначальное накопление на фоне нищей деревни, лязг капиталистического железа под либеральный говорок интеллигенции, стихийное брожение рабочей массы в шорах «экономических требований» и т.д. Однако роман Серафимовича написан так, что, лишь устранив из него всех «действующих лиц» и все «литературные красоты» Серафимовича, можно разобраться — по фактическому остатку — в движущих силах эпохи.

Серафимович в своей книге культивирует ползучую прозу, облюбованную всей плеядой бытописателей пятого года. Неуклюжим посредником между ‹ними› и русским модернизмом был Л.Андреев.

Инженеры и рабочие у Серафимовича в равной степени погружены в облако липкой скуки, и вместо могучих, хотя бы и безобразных форм нарождающейся расколотой противоречиями жизни мы видим у Серафимовича канителящую и похотливо зевающую бытовщинку.

Нельзя поверить, чтобы в рабочем железнодорожном поселке в южной русской степи — или где бы то ни было — люди только и делали, что крепко ругались, духовно харкали и плевались, надрывно исповедывались, цинично выворачивали себя наизнанку — или же, будучи трезвыми, истекали по существу пьяными мутными слезами.

Все это, конечно, лишь условность литературного веянья. Лично Серафимович тут ни в чем не повинен. Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни», но не имеет на своей палитре глубоких контрастирующих красок, а главное — лишен чутья к закону, по которому трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира,— он дает «полуфабрикат» ужаса или косности — их сырье, вызывающее у нас гадливое чувство и больше известное в благожелательной критике под ласковой кличкой «быта».

Серафимович пишет:

...прошел в столовую и поцеловал руку жены.

— Ну, я иду.

Та печально смотрела в окна.

— Какая тоска!..

Полынов вышел. Все было мутно, точно стерлись очертания и пропали краски.

Мне кажется, простой белый лист чистой бумаги несравненно выразительнее этих строк [,в которых я нахожу не что иное, как сплошной плеоназм, означающий: я знаю лишь то, что я ничего не знаю — ни о людях, ни о красках, ни о тоске,— и умею сказать лишь то, что я ничего не умею].

Мне кажется, что всякому позволено отказаться от поисков марксистского критерия в книге, не содержащей в себе даже намека на исторический кругозор.

Работа у Серафимовича кондовая, по-своему добротная. Он деловито ставит беллетристический сруб. Но краше в гроб кладут слово, чем оно бывает на казенной службе. Какие-то тени пьют, едят, чешутся, умничают, дерутся... Но никто не поверит, что стоило рожать, умирать, любить, носить имя, трудиться, стяжать, ненавидеть и позориться — каким бы то ни было людям, для того чтобы наплодил свою нежить, с сигнатурками имен и фамилий, солидный беллетрист.

Серафимович литературно реакционен, потому что он солиден. Прошу не смешивать солидность с серьезностью. В серьезности я вижу залог уважения к миру, в ней предчувствие возмужалости и полноты знания. Иное дело — солидность. Так полагается. Ешь и думай. Читай и думай. И благодари. Помни, что каждый кусок, который ты глотаешь,— литература.

Напрасно думают, что это нужно массовому читателю — рабочим и крестьянам. Сам читатель так вовсе не «полагал». За него так положили в салонах — полузнания и полумысли. И пишут бытовые полотна у него на спине. Станковая живопись. Вот он и мнет и ломит шапку, как мастеровой человек в день получки, в конторе кондовой русской беллетристики. Ей же нет в мире равной по тому, как она в грош не ставит читательский труд и терпенье... У нее своя забота! Какое величье! [Как подступиться к державному бытописателю, который неизвестно кем и для чего заведен и неизвестно когда выдохнется? Священная мельница! Буддийский верблюд!] Отдаете ли вы себе отчет в ассортименте принудительных образов, которые прут из жерла реалистической смертушки-литературы?

«Бытовик» такая же нелепость для умственного слуха моего, как «жизневик» или «смертовоз». Мы говорим о реализме... Что взято у Золя? Ничего. Даже за кисти гроба его не подержались... Дух пытливости, дух исследования, гений лаборатории нам чужд...

У нас щегольство: навалиться на читателя, заушить его как следует, обдать его перегаром так называемой жизни.

Я не хочу сказать, чтобы «грубое корявое письмо» Серафимовича коробило мой нежный слух (он у меня далеко не такой нежный: принимает же он и Маяковского, и Фурманова, и Шекспира, и Рабле), но *беллетристические* мозоли Серафимовича (продукт подражания очень плохим образцам) еще не дают ему права на литературную непогрешимость. Между тем мы имеем сейчас до ужаса некритическое издание Серафимовича. Его волокут в классики, то есть в полосу отчуждения и священного отупения. [Кричат, что с лица, дескать, нам не воду пить. Тонкими штучками-де ему некогда было заниматься. Он пострадавший от буржуазной критики. Сейчас пришел его денек! А потому жарь и валяй. Разухабистая канонизация!]

Описания природы (знаменитая «степь») у Серафимовича размазаны патокой, чтоб на нее «садились» разговоры. Служебная функция этой школьной (точнее, гимназической 1905-1908 гг.) риторики достаточно ясна.

Лучше прочего автору удаются жанровые картинки (например, рабочее утро в поселке и пр.), но они никогда не поднимаются выше самого заурядного холста с выставки передвижников.

Сам Серафимович, видимо, не подозревает, что в своем раннем произведении он выступает носителем мрачной литературной биологии реакционнейших на перешейке двух революций годов, когда бытовики, втайне завидуя широкому культурному горизонту символистов, созидали свой канон «мистики для широкого употребления»,

искали в жизни лицо зверя и, сами того не замечая, писали «по-свински бытовые рассказики» в тональности реквиема или панихидного воя.

Тем более странно, что книга Серафимовича издается в 31-ом году издательством «Федерация» с неслыханной хвалебной и рекламирующей аппаратурой. Тут и большой исторический очерк Нерадова (впрочем, весьма дельный там, где говорится не о Серафимовиче), и целые груды приложений: интервью с автором, выписки из Фатова, Лежнева и других авторитетов.

Повторять всю несусветную чушь этих беззубых похвал, приложенных к самой книге, я считаю излишним.

Но если переиздание книги Серафимовича (для сравнительного изучения этого жанра вполне хватило бы и старых экземпляров) было ошибкой, то переиздание ее в таком виде — в дни массовой литучебы и призыва ударников в литературу — я квалифицирую как преступление.

273.

‹ВОКРУГ «ПУТЕШЕСТВИЯ В АРМЕНИЮ»›

СЕВАН

Жизнь на всяком острове — будь то Мальта, Святая Елена или Мадера — протекает в благородном ожиданье ‹...› Ушная раковина истончается и получает новый завиток, [в беседах мы обнаруживаем больше снисходительности и терпимости к чужому мнению, все вместе оказываются посвященными в мальтийский орден скуки и рассматривают друг друга с чуть глуповатой вежливостью, как на вернисаже.

Даже книги передаются из рук в руки бережнее, [бережно, как] ‹чем› стеклянная палочка градусника на даче...]

[При этом местность обнажена]

А ночью можно видеть, как фары автомобилей, [пересекающих] [обозначающих достойное Рима севанское плато], пожирающих проложенное с римской твердостью шоссе [выплясывают по зигзагам шоссе, рассекающего севанское плато], пляшут по зигзагам его огоньками святого Эльма.

Хоровое пенье, этот бич советских домов отдыха, совершенно отсутствовало на Севане. Древнему армянскому народу претит бесша-

башная песня с ее фальшивым былинным размахом, заключенным в бутылку казенного образца.

[Днем этот удивительный безлесый, математически лысый]

На мой взгляд, армянские могилы напоминают рыжие футляры от швейных машин Зингера.

Молодежь звала купаться всех жизнелюбивых. [Томная дама яростно читала, лежа в парусиновом кресле, одну из великих книг нашей москвошвейной литературы]

[на весь этот завхозно-утробный мирок с тощими деревьями, институтским ‹нрзб.›, с бамбуковой мебелью]

[когда пронесся]

Люди заметались по острову, гордые сознанием [совершившегося] непоправимого несчастья. [В минуту страха мужчину тошнит, как беременную женщину] [Тощий] Непрочитанная газета загремела жестью в руках. [Институтская ‹нрзб.› погрузилась в карболовый раствор катастрофы] Остров затошнило, как беременную женщину.

Казалось, он прорвал тесемку старта [Нижняя губа его дрожала. И он был]

Там же, на острове Севане, учительница Анаида Худавердьян вызвалась обучить меня армянской грамоте. Ее фигурку заморенной львицы вырезала из бумаги семилетняя девочка: [из] к энергичному платьицу, [из которого торчали руки условные как руки и но‹ги›], взятому за основу, были пририсованы жестко условные руки и ноги и еще после минутного раздумья прибавлена неповорачивающаяся голова.

Ненависть к белогвардейцам, презренье к дашнакам и чистая советская ярость одухотворяли Анаиду [Наскучив беспартийностью и отсталостью] [эта] [чувствуя себя рядовой] [красную солдатку, бросившую мужа-комсомольца, потому что он был] Смелая и понятливая, красной солдаткой бросила мужа-комсомольца, плохого товарища, воспитывала двух разбойников, Рачика и Хачика, то и дело поднимавших на нее свои кулачки.

К Пут[ешествию] в Армению

[Семью молодого Сагателляна-племянника]

[То был армянский Несчастливцев Кигень Аспагранович. Молодой племянник Сагателлян. [В] Уже пожилой мужчина, получивший военно-медицинское образование в Петербурге — и оробевший от голоса хриплой бабки — кладбищенск‹ой› [парки] — родины своей; оглохший от [ее] картавого кашля ее честнейших в мире городов; [навсегда перепуганный] навсегда перепуганный глазастостью и беременностью женщин, львиным напором хлебных, виноградных и водопроводных очередей.

Кто он? Прирожденный вдовец — при живой жене. Чья-то сильная и властная рука еще давным-давно содрала с него воротничок и галстук.

И было в нем что-то от человека, застигнутого врасплох посещением начальника или родственника и только что перед тем стиравшего носки под краном в холодной воде...

Казалось, и жена ему говорит: «Ну какой ты муж,— ты вдовец».

Молодой племянник Сагателлян являл собой пример чистокровной [и полной и трогательной] мужской растерянности. Его мучила собственная шея. Там, где у людей воротничок и галстук, у него было какое-то стыдливое место... То был мужчина, беременный сознанием своей вины перед женой и детьми...

С каждым встречным он заговаривал с той отчаянной, напропалую заискивающей откровенностью, с какой у нас в России говорят лишь ночью в вагонах.]

МОСКВА

Первый урок армянского языка я получил у девушки по имени Марго Вартаньян. [Она была единственной дочерью важного [заграничного] ученого армянина,— и, как мне показалось, консула, близкого к меценатствующим [национальным] кругам] [Она была единственной дочерью важного [заграничного] ученого армянина. Отец ее [энтузиаст] составил [историческую] карту Великой Армении в V веке и [и наблюдал за подозрительной щедростью американцев] вел переговоры с подозрительно щедрыми американцами из общества АРА. В начале советизации он [был] состоял советским комиссаром в Эчмиадзине. По словам Марго, последний католикос — ленивый и жирный мужик — кормился одними цыплятами, а в последние годы читал только биографии великих людей.] Отец ее был важный заграничный армянин,— и, как мне показалось, консул [заграничных меценатствующих] сочувствующих советскому строительству с нацио-

нальной точки зрения буржуазных кругов. О священничестве, богатстве и правительстве Марго говорила с [удивлением швейцарской] наивным ужасом пансионерки.

В образцовой квартире Вартаньянов электрический чайник и [розовый] шербет из лепестков роз тесно соприкасался с комсомольской учебой.

Даже свой [хрупкий, швейцарский туберкулез] не долеченный в Швейцарии туберкулез бедняжка Марго [растила в Армении, как драгоценный тепличный цветок] остановила пылью эриванских улиц: «дома умирать нельзя!».

Она руководила пионерами, кажется, и хорошо владела [изученным после итальянского с прочими языками] наречием бузы и шамовки.

Бывая у Вартаньянов [часто встречался с человеком форменного ‹?› габсбургского типа] неизменно сталкивался с другом ее отца — обладателем столь изумительного габсбургского профиля, что хотелось спросить его, как делишки святой инквизиции.

В общем, я ничему не научился у древне-комсомольской царевны. Мало того, что она лишена была всяких педагогических способностей, Марго наотрез не понимала [таинственной прелести] таинственности и священной красоты родного языка.

Урок, заметанный на живую нитку любезностей, длился не более получаса. ‹нрзб.› Донимала жара. Коридорные метались по всей гостинице и ревели, как орангутанги. Помнится, мы складывали фразу: «Муж и жена приехали в гостиницу».

Женские губы, прекрасные в болтовне и скороговорке, не могут дать настоящего понятия о...

Никто не посылал меня в Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского [чиновника] немца и просвещеннейшего из чиновников Шопена (см. его «Камеральное описание Армении»; сочинение, достойное похвалы самого Гете).

Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым [в душе] по совести и не мог относиться иначе, как к липовым, я [приехал в мае 1930 года] выбрался с соломенной корзинкой в Эривань в мае 30-го года [в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее [электростанции] города и могилы, набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историческим воздухом].

Везде и всюду, куда бы я ни [приходил] проникал, я встречал твердую волю и руку большевистской партии.[, которая и для Армении стала] [Советская власть] Социалистическое строительство становится для Армении как бы второй природой.

Но глаз мой, [жадный] [падкий до всего странного, [случайного] мимолетного и скоротечного] улавливал в пушествии лишь светоносную дрожь [случайностей], растительный орнамент [действительности, анекдотический узор].

[По справедливости, я уподобился озорнику-мальчишке, который забрался в важное ‹?› место с [побитым] карманным зеркальцем в руках, [когда он весело хитрит и наводит им куда ни вздумается] [хитрит и пускает направо и налево]...]

Неужели я подобен сорванцу, который вертит в руках карманное зеркальце и наводит всюду, куда не следует, солнечных зайчиков?

Внизу по улице Абовьяна шли пионеры со всего города — маршем гладиаторов.

Они шли с боевыми интервалами по три в ряд, под бравурные звуки фанфар. Армянские мальчики и юноши, коротконогие, усатые, с широчайшими плечами борцов. Они шли какой-то вздрагивающей *берцовой* походкой.

[Нельзя кормить читателя одними трюфелями! В конце концов он рассердится и пошлет вас к черту! Но еще в меньшей степени можно его удовлетворить деревянными сырами нашей [кегельбанной] доброкачественной литературы.

По-моему, даже пустой шелковичный кокон много лучше деревянного сыра... [Давайте почувствуем, что предметы не кегельбаны!] Выводы делайте сами.]

Это был гребень моих занятий арменистикой — год спустя после возвращения из Эривани — [печальная] глухонемая пора, о которой я должен теперь рассказать, еще через год [в этой] [и опять весной] [и снова к весне] — и снова в Москве и весной.

Москва подобрела: город [был] чудный, подробный, дробный, с множественным и сложным [зреньем], как устройство [глаза у комнатной мухи] мушиного глаза, зреньем.

Что мы видим? Утром — кусок земляничного мыла, днем,—

В январе мне стукнуло 40 лет. Я вступил в возраст ребра и беса. Постоянные поиски пристанища и неудовлетворенный голод мысли.

Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимая из себя какие-то дожимки и остатки.

Эта случайная фраза вырвалась у меня однажды вечером после ужасного бестолкового дня вместо всякого так называемого «творчества».

Для Нади.

Ан. В. Л., подняв на меня скорбное мясистое личико измученного в приказах посольского дьяка, собрав всю елейную невинность и всю заморскую убедительность москвича, побывавшего в Индии, вздев воронью бороденку...

К тому же легкость вторглась и в мою жизнь,— как всегда сухую и беспорядочную и представляющуюся мне щекочущим ожиданьем какой-то беспроигрышной лотереи, где я мог вынуть все что угодно,— кусок земляничного мыла, сиденье в архиве в палатах первопечатника или вожделенное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры, молодой белокурый юрисконсульт, врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах.

Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковриком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

[Соседи мои по квартире были трудящиеся довольно сурового закала. Мужчины умывались в сетчатых майках под краном. Женщины туго накачивали примуса, и все они яростно контролировали друг друга в соблюдении правил коммунального общежития.] Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь...

[Вряд ли эти люди были достойными носителями труда — энергии, которая спасает нашу страну]

Им не был чужд и культ умерших, и даже некоторое уважение к отсутствующим. [Мы напоминаем и тех и других.]

[Ежики, проборы, височки, капустные прически и бороды]

[Табаки на дворике торчали как восклицательные знаки. Цветы стояли, прикуривая друг у друга по старинному знакомству. Между клумбами был неприкосновенный воздух, свято принадлежавший небольшому жакту. Дворик был проходной. Его любили почтальоны и

мусорщики. И меня допекала его подноготная с конюшнями, сарайчиками и двумя престарелыми черствыми липами, давно состоявшими на коричневой пенсии [давно вышедшими из зеленого возраста на коричневую пенсию]. Их кроны давно отшумели.

Старость ударила в них казнящей молнией.]

Приближался день отъезда. Кузин купил дьявольски дорогой чемодан, заказал плацкарту на Эривань через фисташковый Тифлис.

Я навсегда запомнил картину семейного пиршества у К.: дары московских гастрономов на сдвинутых столах, бледно-розовую, как испуганная невеста, семгу (кто-то из присутствующих сравнил ее жемчужный жир с жиром чайки), зернистую икру, черную, как масло, употребляемое типографским чортом, если такой существует.

Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает судьбу, — есть в проводах зловеще-свадебное оживленье.

Семья его уважала резоны судьбы и в проводы вкладывала зловеще-свадебное оживленье. А тут еще примешался день рожденья... Я подошел к старухе К., тихой как моль, и сказал ей несколько лестных слов по поводу сына. Счастье и молодость собравшихся почти пугали ее... Все старались ее не беспокоить.

[Коричневая плиточная московская ночь... Липы пахнут дешевыми духами.]

[Ситцевая роскошь полевых цветов смотрела из умывальных кувшинов. Сердце радовалось их демократичной азбучной прелести.]

[Сколько раз за ними нагибались с веселыми восклицаниями, столько раз они отрабатывали в кувшине — колокольчиками, лапочками, львиной зевотой.]

Цветы — великий народ и насквозь грамотный. [Волнующий] Их язык состоит из одних лишь собственных имен и наречий.

СУХУМ

Шесть недель, назначенные мне для проживания в Сухуме, я рассматривал как преддверие и своего рода карантин — до вызова в Армению. Комендант по имени Сабуа, ловко скроенный абхазец с ногами танцора и румяным лицом оловянной куклы, отвел мне солнечную мансарду в «доме Орджоникидзе», [который стоит, как гора на горе, вынесен, как на подносе срезанной горы,— так и

плывет в море вместе с подносом] ‹который вынесен› на свободную горную площадку, так что море его обволакивает.

Я быстро и хищно с феодальной яростью осмотрел владения окоема: мне были видны, кроме моря, все кварталы Сухума, с балаганом цирка, казармами...

Там же, в Сухуме, в апреле я принял океаническую весть о смерти Маяковского. Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту.

Не потому ли с такой отчетливостью запоминаются места, где нас

Три недели я просидел за столом напротив Безыменского [и так и не разгадал, о чем с ним можно разговаривать].

Однажды, столкнувшись со мной на лестнице, он сообщил мне о смерти Маяковского. Человек устроен наподобие громоотвода. Для таких новостей мы заземляемся, а потому и способны их выдержать. И новость, скатившись на меня в образе Безыменского, ушла куда-то вниз под ступеньки.

Безыменский изобрел интересный способ общаться с людьми при помощи сборной граммофонной пластинки, приноровленной к его настроению.

Наливая себе боржому в стакан, он мурлыкал из «Травиаты». То вдруг огреет из «Риголетто». То расхохочется шаляпинской «Блохой»...

В *хороших* стихах слышно, как шьются черепные швы, как набирает власти [и чувственной горечи] рот и [воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты] хозяйничает океанской солью кровь.

«Рост» — оборотень, а не реформатор. Кроме того, он фольклорный дурень, плачущий на свадьбе и смеющийся на похоронах — носить вам не переносить. Недаром мы наиболее бестактны в возрасте, когда у нас ломается голос.

Критики Маяковского имеют к нему такое же отношение, как старуха, лечившая эллинов от паховой грыжи, к Гераклу...

Общество, собравшееся в Сухуме, приняло весть о гибели первозданного поэта с постыдным равнодушием. (Ведь не Шаляпин и не Качалов даже!) В тот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни.

Как и всегда бывает в дороге, в центре внимания моего встал человек, приглянувшийся просто так — на здоровье...

Я говорю о собирателе абхазских народных песен М.Коваче. Еврей по происхождению и совсем не горец, не кавказец, он обстругал себя в талию, очинил, как карандаш, под головореза.

Глаза у него были очаровательно наглые, со злющинкой, и какие-то крашеные, желтые...

От одного его приближения зазубренные столовые ножи превращались в охотничьи. [Я полюбил его за хвастливую языческую свежесть]

[Мир для него разделялся надвое: абхазцы и женщины. Все прочее — не стоящее и ерша. Ему приводили коротконогих крестьянских лошадей... Эка важность... Было бы седло. Смотрите: он уже прирос к коню, обнял его ляжками — и был таков...]

Абхазские песни удивительно передают верховую езду. Вот копытится высота; лезет в гору и под гору, изворачивается и прямится бесконечная, как дорога, хоровая нота — камертонное бессловесное длинное а-а-а! И на этом ровном многокопытном звуке, усевшись в нем, как в седле, плывет себе запевала, выводя озорную или печально-воинственную мелодию...

Песни, изданные Ковачем, чрезвычайно просто аранжированы. Мне запомнилась одна: музыкальная мельница или дразнилка. [Она, как и все прочие, написана на случай.] Старик в Очемчирах замучил сход: говорил-говорил и кончить не мог.

Ее наиграл для меня на рояле [непривычными] наглыми пальцами этнограф и горец — Ковач.

[В Сухуме меня пронзил древний обряд погребального плача. Шел я под вечер...]

На той же оцепленной розами, никем не заслуженной, блаженной даче [Совсем другое впечатление производил] — грузин, Анатолий К., директор тифлисского национального музея. Губы его были заметаны шелковой ниткой — и после каждого сказанного слова он как бы накладывал на них шов.

Впрочем, никогда не растолковывайте человеку символику его физического облика. Этой бестактности не прощают даже лучшему другу.

С К.— он был крупнейшим радиоспецом у себя на родине — мы ходили в клуб субтропического хозяйства ловить [средиземную] миланскую волну на шестиламповый приемник.

Он смахнул с аппарата какого-то забубенного любителя, из тех, что роются в домашнем белье эфира, вздел наушники с монашеским обручем и сразу — нащупал, выбрал и подал нечто по своему вкусу.

[А вкус у него был горький, миндальный. Раз как-то он сказал: — Бетховен для меня слишком сладок — и осекся...]

Удивительна судьба наших современников,— судьба сынов и пасынков твоих, СССР.

Человека разрабатывают, как тему с вариациями, ловят его на длину волны.

Так, инженер К. сначала принял постриг электротехника, потом распутывал клубок неправды в РКИ, а ныне он заведует грузинской фреской с ее упаси меня боже какими огромными малярийными глазищами.

Уже потом, значительно позже, я разгадал духовную формулу К.

Казалось, [где-то и когда-то] из него выжали целую рощу лимонов. За ним волочилась сама желтуха и малярия. Свою собственную усталость он вычислял во сне. Он не боролся с нею,— но выздоравливал [от нее, как только его о чем-нибудь интересном спрашивали, как только]. Его усталость была лишь скрытой формой энергии.

У него было сонное выражение математика, производящего на память, без доски, многочленный...

Веки с ячменными наростами...

В приемной Совнаркома я видел жалобщиков-крестьян. Старики-табаководы в черной домотканой шерсти похожи на французских крестьян-виноделов.

У Нестора Лакобы — главы правительства — движения человека, стреляющего из лука... Это он [привез медвежонка на автомобиле] получил медвежонка в подарок от крестьянского оратора на митинге в Ткварчелах... Слуховая трубка глухого Лакобы воспринимается как символ власти...

[Он убивает кабанов и произносит великолепные]

Абхазцы приходят к марксизму [минуя христианство Смирны, минуя ислам] не через Смирну и не облизав лезвие, а непосредственно от язычества. У них нет исторической перспективы, и Ленин для них первее Адама. Их всего горсточка — 200 000.

[Бывшие князья сидят в черкесках ‹?› на пристани...]

Слава хитрой языческой свежести и шелестящему охотничьему языку — слава!

ФРАНЦУЗЫ

Художник по своей природе — врач, исцелитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?

Такая определенность света, такая облизывающаяся дерзость раскраски бывает только на скачках [в которых ты заинтересован всею душою...]. И я начинал понимать, что такое обязательность цвета, старт голубых и оранжевых маек и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем...

Каждый дворик, подергивавшийся светотенью, продавали из-под полы.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

[В углу на диване сидит москвичка с карими глазами в коротком платье цвета индиго и смотрит на Монэ] Каждая комната имеет свой климат. [Они так отличаются, что глаз, переходя от Гогена к Сезанну, может простудиться. Еще, чего доброго, надует ему ячмень от живописных сквозняков]

В комнате Клода Монэ [и Ренуара] воздух речной. [Входишь в картину по скользким подводным ступеням дачной купальни. Температура 16° по Реомюру... Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против теченья лодку, полную смеха и муслина.]

Назад! Глаз требует ванны. Он разохотился. Он купальщик. Пусть еще раз порадуют его свежие краски Иль-де-Франс...

Он учил, как избежать коричневых соусов. [При этом он с живостью француза защищался от врагов. В кратком изложеньи убедительно мелькали бурнусы, красные юбки, шаровары, шелковые пояса и, кажется, еще тыквы и ‹нрзб.›]

Вероятность...

...Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплющенные из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие [из мирового гражданства все чувства] все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля,— горели на стене [тысячеглазой] самодышащей купиной, [и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин] более сложные и чувственные, чем женщины.

Что-то шепелявила тень, но ее никто и не слушал. Липки стояли с мелко нарубленной рублевой листвой. Солнечный свет казался мне...

[Всю солнечную казенщину действительности...] В основном — эта широкая и сытая улица барского труда давала все то же движенье,— [катышечки-волны чуть-чуть подсиненных холстов, обгоняемые ситцевыми тенями;] [каменные] ленивые фронтоны дрожали, как холст, и обтекали светом.

Клод Монэ продолжался, от него уже нельзя было уйти...

Венецианцы смеялись, когда Марко Поло рассказывал, что в Китае ходят бумажные деньги. На них купишь разве что во сне. Золото не прилипает к шелковистой бумаге...

ВОКРУГ НАТУРАЛИСТОВ

[Самый спокойный памятник из всех, какие я видел. Он стоит у Никитских ворот, запеленутый в зернистый гранит. Фигура мыслителя, приговоренного к жизни.]

Мы приближаемся к тайнам органической жизни. Ведь для взрослого человека самое трудное — это переход от мышления неорганического, к которому он приучается в пору своей наивысшей активности, когда мысль является лишь придатком действия, к первообразу мышления органического.

Задача разрешается в радужном чечевичном пространстве в импрессионистской среде, где художники милостью воздуха лепили один мазок в другой, где...

С тех пор, как друзья мои — хотя это слишком громко, я скажу лучше: приятели — вовлекли меня в круг естественно-научных интересов, в жизни моей образовалась широкая прогалина. Передо мною раскрылся выход в светлое деятельное поле.

Линней ребенком в маленькой средневековой Упсале не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце...

Слушатели воспринимали зверя очень просто: он показывает людям *фокус* [одним только фактом своего существования] в силу своей природы, в силу своего естества. Звери резко разделялись на малоинтересных домашних и заморских. А позади заморских, привозных угадывались и вовсе баснословные, к которым не было ни доступа, ни проезда, ибо их затруднительно было сыскать на какой бы то ни было географической карте.

13-840

В темном вестибюле зоологического музея на Никитской улице валяется без призору челюсть кита, напоминающая огромную соху.

Навещая ученых друзей на Никитской и любуясь на эту диковину...

И если Ламарк, Бюффон и Линней окрасили мою зрелость, то я благодарю прожорливого киплингского кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

Ламарк чувствует *провалы* между классами. [Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты зияют.] Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда.

Ламарк выплакал глаза в лупу. Его слепота равна глухоте Бетховена...

У Ламарка [умные] басенные звери. Они приспособлены к условиям жизни *по Лафонтену*. Ноги цапли, шея утки и лебедя,— [все это милая и разумная находчивость покладистой басни]

В эмбриологии нет смысловой ориентации и быть не может.

Самое большее — она способна на эпиграмму.

АШТАРАК

Я хочу познать свою кость, свою лаву, свое гробовое дно [, как под ним заиграет и магнием и фосфором жизнь, как мне улыбнется она: членистокрылая, пенящаяся, жужжащая]. Выйти к Арарату на каркающую, крошащуюся и харкающую окраину. Упереться всеми [границами] фибрами моего существа в невозможность выбора, в отсутствие всякой свободы. Отказаться добровольно от светлой нелепицы воли и разума. [Если приму, как заслуженное и присносущее, звукоодетость, каменнокровность и твердокаменность, значит, я недаром побывал в Армении]

Если приму как заслуженное и тень от дуба и тень от гроба и твердокаменность членораздельной речи,— как я тогда почувствую современность?

[Что мне она? Пучок восклицаний и междометий! А я для нее живу...]

Для этого-то я и обратился к изучению древнеармянского языка. Структура нашего...

Усталости мы чувствовать не смели. Солнце печенегов и касогов стояло над нашими головами.

Книг с собой у меня была одна только «Italienische Reise»[1] Гете в кожаном дорожном переплете, гнущемся, как Бедекер...

Вместо кодака Гете прихватил с собой в Италию краснощекого художника Книппа, который с биографической точностью копировал по его указанию примечательные ландшафты.

[Тамерланова завоевательная даль стирает всякие обычные понятия о близком и далеком. Горизонт дан в форме герундивума.] Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

274.

‹ЧИТАЯ ПАЛЛАСА›

Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки. В ее [мнимой] однообразности, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел неслыханное [разнообразие крупиц, материалов, прослоек] богатое жизненное содержание. Паллас — талантливый почвовед. Струистые шпаты и синие глины доходят ему до сердца...

Он испытывает натуральную гордость по случаю морского происхождения бело-желтых симбирских гор и радуется их геологическому дворянству.

Я читаю Палласа с одышкой, не торопясь. Медленно перелистываю акварельные версты. Сижу в почтовой карете с разумным и ласковым путешественником. Чувствую рессоры, пружины и подушки. Вдыхаю запах нагретой солнцем кожи и дегтя. Переваливаюсь на ухабах. Паллас глядит в окошко на волжские увалы. Вот я ворочаюсь, сдавленный баулами. Ключ бежит, виясь по белому мергелю. [Кремнистые глины... Струистые глины... А в карете-то...

Вообразите спутником Палласа не кого иного, как Н.В.Гоголя. Все для него иначе. Как бы они не перегрызлись в дороге. Карета все норовит свернуть на сплошную пахотную землю.]

---

[1] "Итальянское путешествие" *(нем.)*.

[Картина огромности России слагается у Палласа из бесконечно малых величин. Ты скажешь: в его почтовую карету впряжены не гоголевские кони, а майские жуки. Не то муравьи ее тащат цугом, с тракта на тракт, с проселка на проселок, от чувашской деревни к винокуренному заводу, от завода — к сернистому ключу, от ключа — к молошной речке, где водятся выдры].

Палласу ведома и симпатична только *близь*. От близи к близи он вяжет вязь. Крючками и петельками надставляет свой горизонт. Незаметно и плавно в карете, запряженной муравьями, переселяется из округи в округу.

Белыми руками концертмейстера он собирает российские грибы. Сырая замша, гнилой бархат, а разломаешь: внутри лазурь.

Паллас насвистывает из Моцарта. Мурлычет из Глюка. Кто не любит Генделя, Глюка и Моцарта, тот ни черта не поймет в Палласе.

Вот уж подлинно писатель не для длинных ушей. Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. [Он писал не тонко измельченными растительными красками. Он красит и дубит и вываривает природу с красным сандалом. Он вываривает крутиком и смолчугом. Симбирские пашни, березники и киргизские степи — в арзамасском фабричном котле. Он гонит краску из березовых листьев с квасцами — на китайку для нижегородских баб и на синьку для неба]

[Нравы и обычаи, ритуалы, свадебные и похоронные культы, уборы женщин, костюмы, ремеслы и промыслы жителей]

Все, что видит путешественник,— лишь краски и узоры, отпечатанные на холстах земли, на ее полотенцах.

Удивительный был немец этот Паллас. Мне кажется, он умудрился объехать всю Россию от Москвы до Каспия — с большим избалованным сибирским котом на коленях. [Видел метко, записывал остро; был он и географ, и аптекер, и красильщик, и дубильщик, и кожевенник, был ботаник, зоолог, этнограф, написал полезную и прелестную книгу, пахнущую свежекрашеной холстиной и грибами,— а все не стряхивал своего кота с колен и чесал ему глухое с проседью ухо — и так всю дорогу ни разу его не обеспокоил.] Кот, наверно, был глухой, с проседью за ухом.

А ведь его благородие, вздумай он прокатиться еще раз, мог попасть в лапы к Пугачеву. То-то он писал бы ему манифесты на латинском языке или указы по-немецки. Ведь Пугачев жаловал образованных людей. Он бы в жизни Палласа не повесил. В канцелярии Петра

Федоровича сидел тоже немец, поручик Шваныч или Шванвич. И строчил: ничего... А потом отсиживался в баньке.

Светлая и объемистая книга Палласа отпечатана на удивительно сухой китайской бумаге. Страницы ее набраны широко и зернисто. Чтение этого натуралиста прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Физиология чтения еще никем не изучена. Между тем — эта область в корне отличается от библиографии, и надлежит ее относить к явлениям органической природы.

Книга в работе, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Она еще не продукт читательской энергии, но уже разлом биографии читателя; еще не находка, но уже добыча. Кусок струистого шпата.

Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей в обладание бесконтрольное и хищное.

И до чего разнообразны ее военные уловки и хитрости ее хозяйничанья.

Демон чтения вырвался из глубин *культуры-опустошительницы*. Древние его не знали. В процессе чтения они не искали иллюзию. Аристотель читал бесстрастно. Лучшие из античных писателей были географами. Кто не дерзал путешествовать — тот и не смел писать.

Новая литература предъявила к писателю высотное требование, [к сожалению, плохо соблюдаемое и многократно поруганное] от которого у многих авторов закружилась голова: не смей описывать ничего, в чем так или иначе не отобразилось бы внутреннее состояние твоего духа.

[Итак, авторский замысел вторгается в пережитое.]

Мы читаем книгу, чтобы запомнить, но в том-то и беда, что прочесть книгу можно только припоминая.

Будучи *всецело* охвачены деятельностью чтения, мы больше всего любуемся своими *родовыми* свойствами. Испытываем как бы восторг классификации своих возрастов.

Не забывайте, что книгу мы получаем из рук действительности. И Пармская могила Стендаля для известного разряда читателей воняет тухлым прованским маслом [На днях я перечел [Пармский монастырь] монахиню Стендаля и готов приписать запах тухлого прованского масла из парижских театральных ресторанов].

Действительность носит сплошной характер.

Соответствующая ей проза, как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она ни составлялась, всегда образует прерывистый ряд.

Но только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами.

Таким образом, прозаический рассказ не что иное, как прерывистый знак непрерывного.

Сплошное наполнение действительности всегда является единственной темой прозы. Но подражание этому сплошняку завело бы прозаическую деятельность в мертвый тупик, потому что [она имеет дело только с интервалами] непрерывность и сплошность нуждаются все в новых и новых толчках-определителях. [Нам нужны приметы непрерывного и сплошного, отнюдь не сама невоспроизводимая материя.]

Безынтервальная характеристика невозможна.

Окончательное дотошное описание материи упирается в световой эффект: так называемый эффект Тиндаля (косвенный показатель молекулы в ультрамикроскопе)..., а там все сначала, описывай свет и т.д.

Идеальное описание свелось бы к одной-единственной пан-фразе, в которой сказалось бы все бытие.

[Но речь прозаика никогда не составляется, не складывается, как не подбирается...]

Для прозы важно *содержание и место*, а не содержание — форма.

Прозаическая форма: синтез.

Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам.

Неокончательность этого места перебежки. Свобода расстановок. В прозе — всегда «Юрьев день».

275.

‹ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ ДАРВИНА›

‹1›

С детства я приучил себя видеть в Дарвине посредственный ум. Его теория казалась мне подозрительно краткой: естественный отбор. Я спрашивал: стоит ли утруждать природу ради столь краткого и невразумительного вывода. Но, познакомившись ближе с [произведениями великого] сочинениями знаменитого натуралиста, я резко изменил эту незрелую оценку.

И вот что сейчас необходимо отметить: Дарвин раз навсегда изгнал красноречие, изгнал риторику, изгнал велеречивость из литературного обихода натуралиста.

[Золотая валюта фактов поддерживает баланс его научных предприятий, совсем как миллион стерлингов в подвале британского банка обеспечивает циркуляцию хозяйства страны.]

Линней [произносил] [говорил с кафедры проповедника. Его систематика служила обедню, умилялась] [умиляясь изящному и целесообразному строению] превозносил изящное и целесообразное строение живых тварей. [Он демонстрировал — во славу и в доказательство разумности творца — всякие всячины, курьезы, редкости и красивости органической природы ‹...› Бюффон строил свои блестящие трактаты...]

‹Ламарк, полный› [погружаясь в] [углубившийся] предчувствия истины и захлебывающийся от отсутствия конкретных подтверждающих ее фактов и материалов (отсюда легенда о его «конкретобоязни»),— прежде всего *законодатель*. Он говорит как член Конвента. В нем и Сен-Жюст и Робеспьер. Он не столько доказывает, сколько декретирует законы природы.

«Происхождение видов» [имеет форму отчета] ошеломило современников. Книгу читали взасос. Ее успех у читателей был равен успеху гетевского «Вертера». Ясно, что ее приняли как литературное *событие*, в ней почуяли большую и серьезную новизну формы.

[В противоположность другим] эта книга была рассчитана на завоевание широчайших читательских масс. [Она была прямым продолжением газеты, публицистики, политической статьи.] И ее воспринимали как научную *публицистику*.

Дарвин всегда обращается к натуралистам по профессии или к широким любительским кругам. У него есть тенденция сделать так называемую «публику», понимая под ней верхушку образованной буржуазии... [Среди множества буржуазных ученых литературный стиль Дарвина...]

Естественнонаучные труды Дарвина, взятые как литературное *целое*, как громада мысли и стиля,— не что иное, как кипящая жизнью и фактами и бесперебойно пульсирующая *газета* природы.

Дарвин организует свой материал, как редактор-издатель большого и влиятельного, скажем прямо — политического органа.

Он не один. У него множество сотрудников — корреспондентов, разбросанных по всем графствам, колониям и доминионам Соединенного Королевства, по всем странам земного шара.

«Я раздобыл себе,— говорит он,— все породы (голубей), какие только мог купить или так или иначе заполучить с помощью друзей в разных странах. Особенно я благодарен сэру Эллиоту».

Коневодства, птичники, питомники, оранжереи, пчельники, принадлежащие специалистам, людям самостоятельного и ограниченного опыта, обслуживают Дарвина. Больше того: они оплодотворяют его труд.

Автор благодарит своих добровольных агентов и сотрудников, переписывается с ними, часто ссылается на них.

Солидарность Дарвина с международной любительской верхушкой естествоведов придает его научному стилю теплокровность, самоуверенность, сообщает его аргументации силу дружеского рукопожатия.

‹Торговый флаг› великобританского флота реет над страницами его трудов.

Купеческое здравомыслие, чувство инициативы, солидарности, бесстрашие перед конкурентами, самоуверенная и несколько ограниченная жизнерадостность — вот рычаги, движущие его научной изобретательской мыслью.

Но эти факторы в не меньшей степени влияют на стиль и манеру, на деятельную форму его изложения, они напитывают собой и предопределяют литературную структуру его *жизненного* труда.

Конечно, *стиль натуралиста* — один из главных ключей к его мировоззрению, так же как *глаз* его, его *манера видеть* — ключ к его методологии.

«Когда я проникся этими истинами и захотел сообщить их моим ученикам, то понял, что прежде, чем углубляться в детали и в частности, *надлежит установить общие принципы касательно всех животных,* показать целое»...(«Философия зоологии»).

Систематика — гордость и слава линнеевского естествознания — благоприятствовала искусству описаний. Она породила замечательное мастерство детальных и замкнутых в себе созерцательных характеристик. У бездарных кропателей они вырождались в накопление полицейских примет, у художественно одаренных натуралистов расцветали в узор, в миниатюру, кружево.

Самостоятельное мастерство и своеобразное искусство пассивно-созерцательных натуралистических описаний достигли наивысшего

расцвета во вторую половину XVIII столетия. Один из самых блестящих примеров этого жанра — «Физическое путешествие по разным провинциям Российской империи», составленное академиком Палласом в 1767-69 году.

Здесь барская изощренность и чувствительность глаза, выхоленность и виртуозность описи доведены до предела, до крепостной миниатюры.

«Асиятская козявка (Chrisomela asiatica) величиной с сольтициального жука, а видом кругловатая с шароватою грудью. Стан и ноги с прозеленью золотыя, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылия гладкия, лоснющиеся, с примесью виолетового цвета черныя. Усы ровныя, передния ноги несколько побольше. Поймана при Индерском озере». Описанная Палласом азиатская козявка костюмирована под китайский придворный театр, под крепостной балет. Натуралист преследует чисто живописные феерические задачи. Он забывает упомянуть анатомическую структуру насекомого.

Ко времени Дарвина искусство этих миниатюристов дворянского естествознания пришло в окончательный упадок. Устои классической линнеевской систематики были расшатаны рукою Ламарка.

Буржуазия уже не нуждалась в естественнонаучной идеологии, восхвалявшей разумность в действительности.

Сравните с этими богословами, ораторами и законодателями в естественной науке скромного Дарвина, по уши влипшего в факты, озабоченно листающего книгу природы — не как Библию — какая там Библия! — а как деловой справочник, биржевой указатель, индекс цен, примет и функций.

Система карточных записей, та гигантская текучая картотека, о которой говорил Дарвин в своей автобиографии, оказала решающее влияние на его научную стилистику.

Дарвин избегает выписывать весь длинный «полицейский» паспорт животного или растения. Он вступает с природой в отношения военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера, которому удается подсмотреть событие у самого его истока. Он никогда ничего не описывает,— он только характеризует, и в этом смысле...

Ту же самую развенчивающую работу проделал Диккенс над обществом тогдашней Англии... В тогдашней Англии с ее молодыми мануфактурами и феодальными судейскими машинами Диккенс...

На смену кропательству и составлению каталогов Дарвин выдвинул новый принцип естественнонаучной вахты. «Происхождение

видов» — такой же точно путевой дневник, как «Путешествие на “Бигле“». [Натуралист — дозорный, несущий службу на капитанском мостике.]

Молодая буржуазия охотно посылала своих детей в кругосветное плаванье. Путешествие на фрегате вокруг света входило в большой план воспитания молодого человека, которому прочили серьезное будущее. Ряд художников, ученых и поэтов прошли кругосветную школу. Вот почему в научных сочинениях Дарвина мы видим элементы географической прозы, начатки колониальной повести и морского фабульного рассказа. Он искусно перемежает показания живых свидетелей, показания очевидцев с выписками из ученых трудов.

Для Дарвина характерна нелюбовь к цитатам. Он очень редко выписывает тексты буква в букву. Чаще всего он приводит то или иное чужое мнение в самом лапидарном виде, в краткой, энергичной и абсолютно объективной формулировке.

Если мы захотим определить тональность научной речи Дарвина, то лучше всего назвать ее *научной беседой*. Это не профессорская лекция в обычном смысле и не академический курс. Вообразите ученого садовода, который водит гостей по своему хозяйству и, останавливаясь между грядками и клумбами, дает им объяснение; или зоолога-любителя в питомнике, принимающего добрых друзей.

Необычайная дружественность Дарвина к большинству образованных представителей его класса, уверенность в их поддержке, особая открытость, приветливость его научной мысли и самого способа изложения — все это не что иное, как результат классовой солидарности и жажды широкого сотрудничества с международными научными силами буржуазии.

Кроме того, надо отметить тягу Дарвина к читателю-середняку, его желание быть понятным средне-образованному буржуа, джентльмену средней руки, каким он считал самого себя. Величайший эрудит своего века не случайно говорил с широкой публикой через голову касты ученых. Ему важно снестись непосредственно с этой публикой. Она лучше его поймет, чем ученые педанты. Он несет читателям нечто насущное, социально необходимое, поразительно гармонирующее с их самочувствием.

Поэтому Дарвин добродушен, поэтому он избегает научной терминологии в своей раздвижной, панорамной и медленно выпрямляющейся книге.

«Происхождение видов» как литературное произведение — большая форма естественнонаучной мысли. Если сравнить ее с музыкаль-

ным произведением, то это не соната и не симфония с нарастанием частей, с замедленными и бурными этапами, а скорее сюита. Небольшие самостоятельные главы...

Энергия доказательства разряжается «квантами», пачками. Накопление и отдача. Периоды накопления, конкретолюбия, эмпирического нагнетания чередуются с периодами отдачи; вдох и выдох, приливы и отливы.

Здесь требования науки счастливо совпадают с одним из основных законов художественного воздействия. Я имею в виду закон гетерогенности, который побуждает художника соединять в один ряд по возможности разнокачественные звуки, разноприродные понятия и отчужденные друг от друга образы.

В поле зрения Дарвина всегда находится целиком весь органический мир. С удивительной свободой и легкостью он оперирует самыми отдаленными разновидностями живых существ.

[Для Дарвина характерна]

Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации. То он превращается в дальнобойный военный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира.

Дарвин строго следит за профилем своего доказательства. В поисках различных опорных точек он создает настоящие гетерогенные ряды, то есть группирует несхожее, контрастирующее, различно окрашенное.

Свое научное доказательство Дарвин строит объемно. Он протягивает координаты примера в ширину, в глубину, в высоту, воздействуя при этом с помощью подлинной селекции материала.

«Я назову только три случая инстинкта: побуждающий кукушку откладывать яйца в чужих гнездах, рабовладельческий инстинкт муравьев и строительство пчелиных сот».

Лишь сочетание мысли с могучим инстинктом естествоиспытателя позволило Дарвину добиться таких результатов. Я имею в виду истинный отбор, скрещивание и селектирование фактов, которые приходят на помощь научному доказательству, создают благоприятную среду для обобщения.

В «Происхождении видов» животные и растения никогда не описываются ради самого описания. Книга кишит явлениями природы, но

они лишь поворачиваются нужной стороной, активно участвуют в доказательстве и сейчас же уступают место другим. Больше всего и охотнее всего Дарвин пользуется [приемом] *серийным разворачиванием признаков* и сталкиванием пересекающихся рядов. Сплошь и рядом, постепенно накопляя существенные приметы, он дает усиливающуюся гамму.

Приливы и отливы достоверности оживляют каждую маленькую главу «Происхождения видов».

Но самое замечательное и поучительное для всех писателей — это забота Дарвина о том, чтобы читатель в фактах, в «натуралиях» не задохнулся [чтобы прослойками воздуха и света...]; это бесперебойная забота [писателя] Дарвина-художника о наиболее выгодном физическом освещении каждой детали.

Здоровое расположение духа естествоиспытателя сказывается в свободном расположении научного материала. Дарвин располагает факты с изумительным вкусом. Он позволяет им дышать. Он рассыпает их в фигурные созвездия, группирует в светящиеся сгустки.

Бодрящая атмосферическая *ясность*, словно погожий денек умеренного английского лета, то, что я готов назвать «хорошей научной погодой», не что иное, как *хорошее*, в меру приподнятое настроение автора — заражают читателя, помогают ему освоить теории Дарвина.

‹2›

Во все критические эпохи... Ранняя редакция начиналась со слов: «Писатель-натуралист не выбирает своего стиля и не получает его готовым. Всякий научный метод предполагает особую организацию научного материала: форма служит мировоззрению и его задачам. В естествознании эти проблемы научно-литературной формы особенно наглядны. Во все критические эпохи ‹...› »

Дарвин не навязывает природе... В ранней редакции этой фразе предшествовало: «Нигде и никогда Дарвин не называет себя философом природы».

...разумные зиждущие свойства. В машинописи ранней редакции далее следовало: «Форма его научных трудов, вся совокупность его

логических и стилистических приемов вытекает из биологической концепции.

Дарвин выступил в эпоху широчайшего распространения естественно-научного дилетантства. И в Англии, и на континенте процветало любительское изучение природы. Просвещенные бюргеры и джентльмены коллекционировали, гербаризировали, наблюдали и описывали. Над ними издеваются немецкие романтики и английский сатирический роман. Знаменитый «Пиквикский клуб» Чарльза Диккенса не что иное, как едкая сатира на это любительство. Мистер Пиквик и его собратья по клубу, как известно, натуралисты. Но делать им в сущности нечего. Они занимаются черт знает чем. Они смешат молодых девушек и уличных мальчишек. Почтенные джентльмены, вооруженные сачком и ботанической сумкой, не имели руководящей цели. Описательство и погоня за наблюдениями вылились в карикатуру. Наряду с этим чисто домашним любительством эсквайров и пасторов ширилась и росла волна мироведческих интересов. Кругосветные путешествия вошли в педагогическую моду. Не только финансовая аристократия, но сплошь и рядом средняя буржуазия старалась доставить своим детям случай объехать на торговом или военном судне земной шар.

Новый вид любопытства к природе, с которым мы здесь сталкиваемся, в корне отличается от любознательности Линнея или от пытливости Ламарка. Начиная Дарвином и его путешествием на «Бигле», кончая знаменитым художником Клодом Монэ с его кругосветным путешествием на «Бригитте», мы здесь имеем колоссальную тренировку аналитического зрения и жажду накопления мирового опыта на твердом стержне практической деятельности и личной инициативы.

С удивительным постоянством Дарвин призывает себе на помощь свет и воздух, внимательно учитывает расстояние, пользуется при этом пленерными эффектами, дает захватывающие снимки животного или насекомого, застигнутого врасплох в самом типическом для него положении».

Насекомое преподнесено как драгоценность в оправе... Ранняя редакция этого абзаца: «Насекомое костюмировано и загримировано под китайский придворный театр, под крепостной балет. Оно преподнесено, как драгоценность в оправе, как живопись в медальоне».

Лишь сочетание мысли ‹...› среду для обобщения. В машинописи ранней редакции этот фрагмент отсутствует.

...только в созвеньях научные примеры Дарвина получают значимость. Далее в машинописи следовало: «“Происхождение видов“ ошеломило читателя революционностью содержания, новиз-

ной мысли. Сила и новизна формы литературных трудов Дарвина прошла незамеченной, хотя много способствовала освоению широчайшими кругами его теории.Научный стиль старой линнеевской натуралистики знал только два элемента: красноречие общих мест и метафизические и богословские рацеи и пассивно-созерцательную описательность. С Бюффоном и Ламарком в научный стиль ворвалась гражданская, революционная, публицистическая струя.

Дарвин вступает с природой в отношение военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера, которому удалось подсмотреть событие у самого истока. Он никогда ничего не описывает, он только характеризует, и в этом смысле Дарвин как писатель принес в натуралистику вкусы современного ему английского читателя. Не следует забывать, что одновременно с Дарвином читали и Диккенса — и тот и другой нравились публике по тем же самым причинам.

Дарвин никогда не выписывает весь ‹...›».

Дарвин рассказывает о том, как сложилось его убеждение. В ранней редакции: «Питая неизъяснимое отвращение к догматике, Дарвин только рассказывает о том, как сложились его убеждения».

...во все концы земного шара. В машинописи далее следует: «Коневодства, птичники, пчельники, оранжереи, принадлежащие специалистам, людям самостоятельного и органического опыта, расширяют лабораторию Дарвина. Больше того — они оплодотворяют его труд. Автор в постоянной переписке с этими добровольными помощниками. Он их благодарит, он ссылается на них.

Солидарность Дарвина с международной верхушкой естествоведов придает его научному стилю теплокровность, самоуверенность и сообщает его аргументации силу дружеского рукопожатия: весь мир — хозяйство натуралиста. Торговый флаг великобританского флота реет над страницами его книги.

Необходимо отметить тягу Дарвина к читателю-середняку, его желание раскрыться перед средним джентльменом, каким-нибудь сэром Эллиотом, который прислал ему в подарок голубей. Дарвин пишет, как человек, рассчитывающий на поддержку необоримой толщи читателей.

Не обращать внимания на форму научных произведений так же неверно, как игнорировать содержание художественных: элементы искусства неутомимо работают и здесь и там».

Движимый инстинком высшей целесообразности ‹...› (пчелиные соты). В машинописи ранней редакции этот фрагмент отсутствует.

Окруженный жесточайшими врагами ‹...› в пользу научных теорий. В машинописи ранней редакции этот фрагмент отсутствует.

276.

‹ВОКРУГ «РАЗГОВОРА О ДАНТЕ»›

‹1›

...Что же такое образ — орудие в метаморфозе скрещенной поэтической речи?

При помощи Данта мы это поймем. [При его помощи мы почувствуем стыд за современников, если стыд еще «не отсырел».]

Но Дант нас не научит орудийности: он обернулся и уже исчез. Он сам орудие в метаморфозе свертывающегося и развертывающегося *литературного времени*, которое мы перестали *слышать*, но изучаем и у себя и на Западе как пересказ так называемых «культурных формаций».

Здесь уместно немного поговорить о понятии так называемой культуры и задаться вопросом, так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание культуры, которая есть не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций.

[«Египетская культура» означает, в сущности, египетское приличие; «средневековая» — значит средневековое приличие. Любители понятия культуры [, несогласные по существу с культом Амона-Ра или с тезисами Триентского собора,] втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия. Оно-то и есть содержание культурпоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего кровь подлинным строителям очередных исторических формаций и, что всего обиднее, сплошь и рядом придающего форму законченного невежества тому, что могло бы быть живым, конкретным, блестящим, уносящимся и в прошлое и в будущее знанием.]

Втискивать поэтическую речь в «культуру» как в пересказ исторической формации несправедливо потому, что при этом игнорируется сырьевая природа поэзии. Вопреки тому, что принято думать, поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделанна, чем так называемая «разговорная». С исполнительскою культурой она соприкасается именно через сырье.

Я покажу это на примере Данта и предварительно замечу, что нету момента во всей Дантовой «Комедии», который бы прямо или косвенно не подтверждал сырьевой самостоятельности поэтической речи.

Узурпаторы папского престола могли не бояться звуков, которые насылал на них Дант, они могли быть равнодушны к орудийной казни, которой он их предал, следуя законам поэтической метаморфозы,

но разрыв папства как исторической формации здесь предусмотрен и разыгран, поскольку обнажилась, обнаружилась бесконечная сырость поэтического звучания, внеположного культуре как приличию, всегда не доверяющего ей, оскорбляющего ее своею настороженностью и выплевывающего ее, как полоскание, которым прочищено горло.

‹2›

Существует средняя деятельность между слушаньем и произнесением. Эта деятельность ближе всего к исполнительству и составляет как бы самое его сердце. Незаполненный интервал между слушаньем и произнесением по существу своему идиотичен. Материал не есть материя.

‹3›

Глубокое незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами (я разумею Данта, Ариоста и Тасса) тем более поразительно, что не кто иной, как Пушкин, восприял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии.

В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб.

Dà oggi a noi la cotidiana manna...[1]
(Purg., XI, 13)

Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме — il disio![2]

Славные белые зубы Пушкина — мужской жемчуг поэзии русской!

Что же роднит Пушкина с итальянцами? Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу.

Пушкинская строфа или Тассова октава возвращает нам наше собственное оживление и сторицей вознаграждает усилие чтеца.

Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.

---

[1] Дай нам сегодня ежедневную манну.

[2] Стремление, вожделение.

Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску.

[Кстати: современная русская поэзия пала так низко, что [сочинять на нее критику] читать иное вслух так же отвратительно, как оказывать услуги.]

Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта.

Ведь, если хотите, вся новая поэзия лишь вольноотпущенница Алигьери, и воздвигалась она резвящимися шалунами национальных литератур на закрытом и недочитанном Данте.

Никогда не признававшийся в прямом на него влиянии итальянцев Пушкин был тем не менее втянут в гармоническую и чувственную сферу Ариоста и Тасса. Мне кажется, ему всегда было мало одной только вокальной физиологической прелести стиха, и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса, его болезненной славы и его чудного позора.

Для тогдашней светской черни итальянская речь, слышимая из оперных кресел, была неким поэтическим щебетом. И тогда, как и сейчас, никто в России не занимался серьезно итальянской поэзией, считая ее вокальной принадлежностью и придатком к музыке.

Русская поэзия выросла так, как будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано. Батюшков — записная книжка нерожденного Пушкина — погиб оттого, что вкусил от Тассовых чар, не имея к ним Дантовой прививки.

‹4›

Ребенок у Данта — дитя,— «il fanciullo». Младенчество как философское понятие с необычайной конструктивной выносливостью.

Хорошо бы выписать из «Divina Commedia» все места, где упоминаются дети...

[...Col quale il fantolin corre alla mamma...[1] —
(Purg., XXX, 44)

это он кидается к Беатриче — бородатый грешник, много поживший и высоко образованный человек.]

А сколько раз он тычется в подол Виргилия — «il dolce padre»! Или вдруг посреди строжайшего школьного экзамена на седьмом этаже неба — образ матери в одной рубахе, спасающей дитя из пожара.

---

[1] См. перевод на стр. 242.

‹5›

‹Причины, почему их› оскорбили бурсацкой кличкой «классиков», заключаются именно в том, что вместе с ними нужно куда-то бежать по эллипсу динамического бессмертия, что пониманию нет границ [и это-то и заставляет бегать вокруг труда, подмигивать, искать молодого смысла старой мудрости уже не в книге, а в прищуренных зрачках].

‹6›

Дант произвел головную разведку для всего нового европейского искусства, главным образом для математики и для музыки.

‹7›

Дант может быть понят лишь при помощи теории квант.

‹8›

Оркестр — трехчастное тело из струнных, деревянных духовых и медных. Каждая группа гармонически и мелодически независима и хроматична по своей природе.

Влияние места, города, путешествия, поездки на партитуру и на состав оркестра.

Контрабас, одно время известный в Италии под названием виолоны, не подвергся полному превращению из виолы в скрипку и сохранил до нашего времени некоторые суще...

‹9›

Обратили ли вы внимание на то, что в Дантовой «Комедии» автору никак нельзя действовать, что он обречен лишь идти, погружаться, спрашивать и отвечать?

‹10›

Я позволю себе сказать, что временны́е глагольные формы изготовлял для десятой песни в Кенигсберге сам Иммануил Кант.

‹11›

Сила фехтующего спряжения в том, что оно дерзко отмежевывается от родственных близких форм. Здесь сослагательное будущее отмежевывается от будущего чистого. После глагольного взмета — отлив: разъясняющая, воркующая Виргилиева отповедь: несколько слов о долине Иосафата, о злосчастном Эпикуре и его приверженцах.

‹12›

Но фигура десятой песни есть фигура грозы, проходящей стороной. [Она задумана как огромный поединок, как в ...] Вся суть этой песни в постепенном набухании главного ответа Фаринаты. Между тем...

‹13›

Но в основе композии решительно всех песен «Inferno» лежит движение грозы, созревающей как метеорологическое явление, и все вопросы и ответы вращаются, по существу, вокруг единственного: стеречь, быть или не быть грозе.

Точнее — это движение грозы, проходящей м и м о и обязательно стороной.

‹14›

Но в ответе Виргилия самый вопрос Данта уже набухает. Со свойственной ему педагогической, профессорской зоркостью он отвечает на стимул к вопросу, вылущивая его из самой формулировки Данта. Все они, говорит Виргилий, будут прикрыты, гробницы будут опечатаны, когда воскресшая плоть этих персонажей, согнанная трубой архангела на Страшный суд в долину Иосафата, вернется оттуда, но уже не в реальные могилы, а сюда — с костью и с мясом — и здесь приляжет к теням. Это удовольствие предстоит Эпикуру и его приверженцам.

‹15›

То, что было сказано о множественности форм, применимо и к словарю. Я вижу у Данта множество словарных тяг. Есть тяга варвар-

ская — к германской шипучести и славянской какофонии; есть тяга латинская — то к «Dies irae»[1] и к «Benedictus qui venis»[2], то к кухонной латыни. Есть огромный порыв к говору родной провинции — тяга тосканская.

‹16›

Дант никогда не рассматривает человеческую речь как обособленный разумный остров. Словарные круги Данта насквозь варваризованы. Чтобы речь была здорова, он всегда прибавляет к ней варварскую примесь. Какой-то избыток фонетической энергии отличает его от прочих итальянских и мировых поэтов, как будто он не только говорит, но и ест и пьет, то подражая домашним животным, то писку и стрекоту насекомых, то блеющему старческому плачу, то крику пытаемых на дыбе, то голосу женщин-плакальщиц, то лепету двухлетнего ребенка.

Фонетика употребительной речи для Данта лишь пунктир, условное обознач‹ение›...

‹17›

Вот вам пример: песнь XXXII «Inferno» внезапно заболевает варварской славянщиной, совершенно невыносимой и непотребной для итальянского слуха... Дело в том, что «Inferno», взятый как проблематика, посвящен физике твердых тел. Здесь в различной социальной одежде — то в исторической драме, то в механике ландшафтного сновидения — анализируется тяжесть, вес, плотность, ускорение падающего тела, вращательная инерция волчка, действие рычага и лебедки и, наконец, человеческая походка, или поступь [как начало всех поступков], как самый сложный вид движения, регулируемый сознанием[3].

Чем ближе к центру Земли, то есть к Джудекке, тем сильнее звучит музыка тяжести, тем разработаннее гамма плотности и тем быстрее внутреннее молекулярное движение, образующее массу.

---

[1] "День гнева" *(лат.)* — начальные слова католического песнопения, сложенного Фомою Целанским и входившего в чин католического погребения.

[2] "Благословен ты, грядущий" *(лат.)*.

[3] Мысль принадлежит Б.Н.Бугаеву. *(Примеч. О.Мандельштама).*

‹18›

У Блока: «Тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет».

Ничего не увидел, кроме гоголевского носа!

Дантовское чучело из девятнадцатого века! Для того, чтобы сказать это самое про заостренный нос, нужно было обязательно н е ч и т а т ь Д а н т а.

‹19›

Поэтические образы, так же как и химические формулы, пользуются знаками неподвижности, но выражают бесконечное движение. Внутренняя жизнь формулы покрывает собою...

‹20›

Вопросы и ответы «путешествия с разговорами», каким является «Divina Commedia», поддаются классификации. Значительная часть вопросов складывается в группу, которую можно обозначить знаком: «ты как сюда попал?» Другая группа встречных вопросов звучит приблизительно так: «что новенького во Флоренции?»

Первый тур вопросов и ответов обычно вспыхивает между Дантом и Виргилием. Любопытство самого Данта, его вопрошательский зуд обоснован всегда так называемым конкретным поводом, той или иной частностью. Он вопрошает лишь будучи чем-нибудь ужален. Сам он любит определять свое любопытство то стрекалом, то жалом, то укусом и т.д. Довольно часто употребляет термин «il morso», то есть укус.

‹21›

Сила культуры — в непонимании смерти,— одно из основных качеств гомеровской поэзии. Вот почему средневековье льнуло к Гомеру и боялось Овидия.

‹22›

Действительные тайные советники католической иерархии — сами апостолы, и что сто́ит перед ними не потерявшийся или раскричав-

шийся от зеленой гордости или чаемой похвалы школяр, но важный бородатый птенец, каким себя рекомендует Дант,— обязательно бородатый — в пику Джотто и всей европейской традиции.

‹23›

[Песнь XXXIII начинают губошлепы Гаргантюа.] Кто эти молодцы, эти губошлепствующие гиганты? Это целый взвод Гаргантюа твердит взрывчатую азбуку. Какие-то великаньи младенцы обучаются на губной гребенке.

‹24›

... тут достигается «цель очищения и цель самосозданья», о которой говорил наш Ап. Григорьев, охрипший от ненависти к пересказчикам, к ничего не передвигающим передвижникам [, к подвижникам, умерщвляющим всякое движение], описателям.

«Вывод» в поэзии нужно понимать буквально — как закономерный по своей тяге и случайный по своей структуре в ы х о д за пределы всего сказанного.

‹25›

Я сравниваю — значит, я живу,— мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть — сравнение.

‹26›

Позвольте мне привести наглядный пример, охватывающий почти всю «Комедию» в целом.

Inferno — высший предел урбанистических мечтаний средневекового человека. Это в полном смысле слова мировой город. Что перед ним маленькая Флоренция с ее «bella cittadinanza»[1], поставленной на голову новыми порядками, ненавистными Данту! Если на место Inferno мы выдвинем Рим, то получится не такая уж большая разница.

[1] Прекрасным гражданством.

Таким образом, пропорция Рим — Флоренция могла служить порывообразующим толчком, в результате которого появился «Inferno».

‹27›

Чтение «Божественной комедии» должно быть обставлено как огромный исполнительский эксперимент. Оно само по себе есть научный опыт.

‹28›

Все знают, что Дант «уважал» погоду и работал в этом смысле не хуже образцовой альпийской метеорологической станции с прекрасными наблюдателями и хорошим оборудованием. Не менее знамениты световые эффекты «Inferno» и «Purgatorio» — облачность, влажность, косое освещение, горное солнце и т.д.

Пиротехническая выдумка «Paradiso» целиком устремлена к общественным празднествам и фейерверкам Возрождения.

Огромная активная роль света в новом европейском театре — будь то драма, опера или балет — была, конечно, подсказана Дантом.

‹29›

До чего у него развито концертное чувство, виртуозность! В XVIII песни «Paradiso» Карл Великий, Роланд, Готфред и Роберт Гвискардо, фосфоресцирующие в алмазном кресте, не могут удержаться, чтобы не ответить Беатриче, перечисляющей их имена, световыми сигналами: они раскланиваются, они бисируют... А душа доброго флорентийского старосты — Дантова прадеда Гвидо Каччагвиды — напрашивается на комплимент со стороны тут же присутствующего правнука: — Мой прадед,— говорит Дант,— дал мне понять, что он далеко не последний артист в сонме прочих вокальных исполнителей.

‹30›

Принято думать, что Дант часовщик, строитель планетария с внепространственным центром — эмпиреем, разливающим силу и качество через посредство круга с неподвижными звездами по семи прочим плавающим сферам. Не говоря уже о том, что дантовский

планетарий в высшей степени далек от концепции механических часов, потому что перводвигатель хрустальной инженерной машины работает не на трансмиссиях и не на зубчатых колесиках, а неутомимо переводя силу в качество,— не говоря уж об этом...

‹31›

...трансцендентальном приводе. Сам перводвигатель уже не есть начало, а лишь передаточная станция, коммуникатор, проводник. Работа перводвигателя заключается в том, что он переводит силу в качество. Следующее небо, к которому пригвождены неподвижные звезды, отличные от своей сферы, но вкрапленные в нее, разливает по этим звездам зарядку бытия, полученную от перводвигателя, то есть от распределителя. Семь прочих подвижных сфер имеют внутри себя уже качественно расчлененное бытие, которое служит стимулом к многообразному происхождению конкретной действительности.

И подобно тому, как единый виталистический поток создает для себя органы: слух, глаз, сердце [, кровеносную систему, а в дантовском понимании человеческого тела не только создает, но в них и через них буквально протекает, поскольку органы являются соподчиненными потоками в едином потоке и только через них и может осуществиться виталистический порыв], конкретизирующие сферы являются рассадниками качеств, внедренных в материю. Если ближе всмотреться в эту схему, то невольно придешь к выводу, что самая интересная и самая ее блестящая...

‹32›

У итальянцев тогдашних было сильно развито городское любопытство. Сплетня флорентийская солнечным зайчиком перебегала из дома в дом, а иногда через покатые холмы даже из города в город. Каждый сколько-нибудь заметный горожанин — булочник, купец, кавалерствующий юноша...

‹33›

В «Convivio»[1] кое-где вкраплены живые крупицы личного разговорного стиля Данта. Вот одна из них.

[1] “Пир”.

Veramente io vidi lo luogo, nelle coste d'un monte in Toscana, che si chiama Falterona, dove il più vile villano di tutta la contrada, zappando, più dùno staio di Santelene d'argento finissimo vi trovò, che forse più di mille anni l'avevano aspettato[1] (IV, 11, 76-82).

Он не любит земледелия. Всегда отзывается о нем пренебрежительно и даже раздраженно.

...giri fortuna la sua rota,
Come le piace, e il villan la sua marra[2].

(Inf., XV, 95-96)

Кажется, техника земледелия была ему недостаточно интересна. Он оживлялся, лишь касаясь виноделия. К пастушеству и пастбищному хозяйству нежен и внимателен (pecorèlla... mándria...[3] многочисленные пасторали в «Purgatorio»)...

Между тем его знатные и полузнатные покровители были почти все *помещики*. Он плохо понимал, чем они живут, в сущности...

‹34›

Фальтерона (Convivio, IV, 78; Purg., XIV, 17).

И тут и там пронзительная личная интонация. Истоки мои темны. Меня еще не знают. Я еще себя покажу. Арно вниз по течению обрастает грязью, звереет.

Convivio, IV — апология возможной значительности бедняка — созерцателя эконом‹ических› промыслов. Неучастника. Вызов потребительству и накоплению во всех видах (ср. с Савонаролой).

Более благосклонен к купцам. Симпатизирует честной разумной торговле: quando per arte o p e r m e r c a t a n z i a o per servigio meritato...[4] Единственным правильным источником дохода полагает н а г р а д у: per servigio meritato. Он глух к системе современного ему хозяйства и товарооборота. Огулом осуждает все. Ему мерещится сначала флорентийская, потом всеитальянская и наконец м и р о в а я система распределения наград. В своих экономических

---

[1] Действительно, я видел место, на склонах одной горы в Тоскане, по имени Фальтерона, где самый подлый на всю округу мужик, мотыжа землю, нашел больше меры сантелен чистейшего серебра, которые, может, больше двух тысяч лет его дожидались.

[2] ...Пусть Фортуна крутит свое колесо как ей нравится, а мужик — свою тяпку.

[3] Овечка... стадо...

[4] Когда (богатства заработаны) искусством, и л и т о р г о в л е й, или достойной вознагражденья службой...

воззрениях Дант не опирается ни на одну из активных общ‹ествен-ных› групп, но через голову производящих тянется к распределяющим. Он стремится к снятию всех посредников между трудом (заслугой) и ценностью (наградой). Отсюда трагизм его концепции совр‹еменного› хозяйства.

‹35›

...Nè la liritta torre
Fa piegar rivo, che da lungi corre —

(Conv., I.V, canz. III, 54-55)

«Течение реки не наклоняет прямой башни».

Здесь («Convivio», IV) пространно разъясняется внеположность «благородства» (le nobilitá) сословным и экономическим преимуществам. Река: наследственные «богатства». Башня: благородство само по себе.

Обычное школьное уподобление с положительным и отрицательным членами доказательства несет дополнительную нагрузку: сравнение в целом борется с детерминизмом в применении к поэзии, а может быть, и к науке. Оно анализирует христианско-феодальную добродетель как живописную композицию.

В «Purgatorio», V, 14-15:

«Sta come torre ferma che non crolla
Giammài la cima per soffiar de'venti»[1].

Река и башня постоянное созвучие тосканского пейзажа. Башня у живописцев подчеркивает излучину реки и как бы ведет реку.

Дант не довольствуется тем, что башня и река каузально не соподчиняются. Ему определенно хочется, чтобы башня вела за собой реку, угадывала ее.

‹36›

Необходимо создать новый комментарий к Данту, обращенный лицом в будущее и вскрывающий его связь с новой европейской поэзией.

---

[1] "Будь неколебим, как крепкая башня, у которой никогда не рухнет вершина от дуновения ветров".

‹37›

На днях в Коктебеле один плотник, толковейший молодой парень, указал мне могилу М.А.Волошина, расположенную высоко над морем на левом черепашьем берегу Ифигениевой бухты. Когда мы подняли прах на указанную в завещании поэта гору, пояснил он, все изумились новизне открывшегося вида. Только сам М.А.— наибольший, по словам плотника, спец в делах зоркости — мог так удачно выбрать место для своего погребения.

В руках у плотника была германского изделия магнитная стамеска. Он окунал в гвозди голую голубую сталь и вынимал ее всю упившуюся цепкими железными комариками. М.А.— почетный смотритель дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем,— всю свою жизнь посвятил намагничиванью вверенной ему бухты. Он вел ударную дантовскую работу по слиянию с ландшафтом и был премирован отзывом плотника.

277.

‹А.КОВАЛЕНКОВ. «ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ»›

Несомненное лирическое дарование Коваленкова глохнет от засилия литературщины, то есть «условно-молодежного» лирического жанра. Поэт очень плохо слышит себя самого, но зато буквально оглушен ученической газетно-журнальной лирикой. Любопытно, что его нельзя назвать ни учеником Пастернака, ни Гумилева, ни Асеева, ни даже Багрицкого: он ученик их безответственных оборотней, тех профессиональных путаников и поставщиков неопределенной, подлаживающейся, уродливой сдельщины. Я утверждаю, что множество молодых поэтов учились на стихах «Огонька», «Красной Нивы» и «Прожектора» в гораздо большей степени, чем у так называемых классиков и мастеров. Кто-нибудь, несомненно, учится и у Коваленкова, поскольку он печатается. Это явление не учитывается нашей критикой: опаснейшая круговая порука. Между тем у Коваленкова есть начатки подлинной молодой советской лирики. Он говорит о революции: «Тихо сняла винтовку, стукнула в пол прикладом, зоркая и большая, стала со мною рядом». Прекрасная сдержанная строфа, обдуманные глаголы. Военная точность и спокойствие и в то же время огромная взволнованность.

Вот еще строфа, которая могла быть сказана только о советском школьнике и только советским поэтом:

Вникай, озорной смышленыш,
В жизнь, которой ты дышишь,

Видишь прозрачным глазом,
Розовым ухом слышишь...

Какая меткость, какой чудесный подбор простейших средств. В развернутом виде эти четыре стиха составят характеристику лучших качеств советской школы. И все-таки сборник Коваленкова совсем не книга стихов. Почти девять десятых стихов написаны с ужимкой, которую я определил бы как салонно-комсомольский стиль. «Молодость снова берет свое»... «Быть черноглазым, злым и веселым»... «Законы взволнованной юности — легкой и скромной»... «Моя большая молодость идет»... «Молодость моя свежа»... «Юность не верила в старость и смерть»... и т.д. ...

Поразительное кокетничанье своим возрастом. Революционная молодежь устами Коваленкова говорит сама о себе, как коварная и злая демоническая барышня. Дом отдыха и крымские путевки занимают у Коваленкова очень большое место. Правильно: для Тютчева — Альпы, для Фета — усадьбы, а для нашей молодежи хотя бы путевочный Крым — мощный возбудитель чувства.

Облако тает, шиповник цветет.
Два миноносца плывут в Севастополь...

Но и сюда просочилась скрытая пошлость литературщины: «все разбрелись — кто с девушкой, кто с книгой». Я спрашиваю: каково девушке прочесть такой стишок? Автор даже не догадывается, что выразился смешно и оскорбительно для девушек. Он думает, что у молодежи есть какое-то особое право на лирический паек, а между прочим и на девушек. Еще шаг: книга ходит по рукам и девушка тоже... У молодежи нет никаких особых лирических прав перед другими возрастами. Не мешает Коваленкову помнить, что именно молодежь пишет обычно плохие стихи. Внешне безобидное лирическое разгильдяйство мешает мыслить, обедняет опыт.

У Коваленкова, между прочим, есть «пиджак, надетый набекрень». Вот куда заводит лирическая удаль...

Напрасно потревожил Коваленков тургеневскую влюбленность: он не только не читал Тургенева, но вообще не знает ни дворянско-помещичьей прозы, ни усадебного быта. У него девушка «лукаво прижимается к усатому хмельному господину» — и это — о ужас! — тургеневская девушка.

Душевный мир советской учащейся молодежи не является чем-то абсолютно достоверным, открытым, лежащим на ладони. Способность самонаблюдения плохо развита. Большинство новых эмоций

никем еще не выражено. Например, сотни тысяч юношей посещают стадионы, но только одному Коваленкову удалось сказать:

И холодок волнения гусиный
Опять со мной на цыпочки встает...

Великолепные два стиха. Лучшие в сборнике.

Все пятьдесят тысяч футбольных зрителей приподнимаются здесь на цыпочки в решающую минуту матча. Здоровый, точный импрессионизм, объемность образа, обилие воздуха. О книгах и про учебу Коваленков говорит плохо: «кладешь на полку ворох черствых книг». Здесь нелепое и вредное противупоставление молодости и книги. Ничего черствого в книгах нет: иная книга живее иного юноши.

Есть ли у Коваленкова свой подход к миру, начатки своей лирической темы? С радостью отвечаю утвердительно:

Все будет так, как нужно. Но с тобой
Еще скорей все будет так, как нужно...

Все идет правильно, говорит Коваленков.

Он сознает историческую правоту своего поколения. Но что же делать поэту в этой «правильности»? Только ли поддакивать и кричать: «Верно»? Конечно, нет. И личная тема Коваленкова начинается там, где он зовет на бесконечную, не имеющую предела борьбу с «языческим, слепым непостоянством», с «тяжелой косностью неправильного мира...». Здесь, по праву поэта, он называет каждую материю «языческой» и освежает старое понятие.

В заключение выпишу отрывок, свидетельствующий о незаурядных лирических способностях Коваленкова, который губит свое дарование самовлюбленным псевдолирическим бахвальством:

От духоты у нас в конце концов
Дурная кровь в ушах заговорила.
Как помнится, мы вышли на крыльцо
И по-мальчишески уселись на перила.
Ночь вся была в кузнечиках. Теплынью,
Язычеством, зарницами, полынью
Тянуло с поля. Круглые кусты
Как медвежата шли из темноты...

Я предлагаю издательству «МТП»:

1) В настоящем виде сборник Коваленкова решительно отвергнуть.

2) Прочно связаться с автором, дать ему хорошего консультанта; устроить через некоторое время в небольшом кружке критическую читку его вещей.

3) Включить книгу Коваленкова в план издания на 34-й год, независимо от ее размеров: хотя бы очень маленькую.

278.

‹О ЧЕХОВЕ›

Чехов. Действующие лица «Дяди Вани»: Серебряков, Александр Владимирович, отставной профессор. Елена Андреевна, его жена, 27 лет. Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака. Войницкая, Марья Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Войницкий, Иван Петрович, ее сын. Астров, Михаил Львович, врач. Телегин, Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня. Работник.

Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определите-ка свойство или родство Войницкого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора, с Софьей Александровной — дочкой профессора от первого брака? Для того, чтобы установить, что кто-то кому-то приходится дядей, надо выучить целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелко-паспортную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой «тины», которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты — например, «трем сестрам», — и пьеса кончится.

Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки: personaggi: Фабрицио — старик, горожанин; Евгения — племянница Фабриция; Фламиния, племянница Фабриция — вдова; Фульгенцио — горожанин, влюбленный в Евгению; Клоринда, двоюродная сестра Фульгенция; Роберт — дворянин и т.д. [Тут ясно, что люди соединились для] Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке.

Но Чехов и упругость — понятия несовместимые.

[Чехов калечит людей]

В античном мифе владыка афинский Эак, когда весь народ его вымер от заразы, от порчи воздуха — из муравьев людей понаделал. А и хорош же у нас Чехов: люди у него муравьями оборачиваются.

На днях я пришел в «Воронежский Городской Театр» к третьему действию «Вишневого сада». Актеры гримировались и отдыхали в уборной. Ко мне подошла старая театральная девочка в черном платье с белой косыночкой. То была Варя. Кулак-Лопахин, только что купивший вишневый сад, еще усиливался сдержать в чертах лица выражение хитрой, но чувствительной коммерческой щуки. На клетчатых своих коленках он тихонько укачивал [старого] серебро-лунного думного боярина из пьесы Алексея Толстого, из той самой, которую написал полицейский пристав в сотрудничестве с Аполлоном Бельведерским,— на этот раз мой Мстиславский был в долгополом «рассейском» сюртуке: помещик по фамилии Пищик.

В общем, развалины пьесы, ее, так сказать, тыл, были неплохи. [Чувствовалось лето, хотя и помятое] [Чувствовалась погода, хотя и помятая] Поиграв Чехова, актеры вышли как бы простуженные и немного виноватые.

Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью.

[За несколько дней ‹до этого› театру был большой влёт: его изругала областная газета за то, что «Вишневый сад» был сыгран без настроения и обращен в удалую комедию.

Я испугался львицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего места по объявлению в «Петербуржском Листке». В то время, как другие актеры всей осанкой своей говорили: «не мне, а имени моему»,— [в то время, как все они двигались, как недостойные иереи,] словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие» и чмокнет в ручку,— один Епиходов знал свое место.]

Шумно вошла львица, игравшая в пьесе главную барыню. Номер ее обуви был слишком велик и в точности передавался голосом. У Епиходова дрожали усики.

[Выходец из суворинского Малого Театра, этот комический актер двадцать лет не видел родного города. «Петербуржский Листок». Место по объявлению. Кружка пива. Бутерброд с бужениной. Райские птицы галстуков в галантерейной лавке.]

‹1935›

279.

‹ВОКРУГ «МОЛОДОСТИ ГЕТЕ»›

...мавров и мавританок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц. Далее в черновике радиокомпозиции вычеркнуто:

«Как хотел я еще раз взглянуть на кукольное представление! Но отец считал, что нельзя баловать ни старых, ни малых, и чем реже доставлять детям радости, тем сильнее будет их впечатление.

Я обратил внимание, что в доме, еще необжитом, есть одна дверь, выходящая в столовую и всегда запертая на замок. Однажды утром мать забыла ключ в скважине. Я вошел в чулан и беглым взглядом окинул картонки, шкатулки, мешки, ящики, стаканы и банки и всю запасную посуду. Стащив несколько сушеных яблок, я уже пробирался к дверям, как вдруг заметил два рядом стоявших ящика, из которых торчало кукольное тряпье. Как я обрадовался, убедившись, что в этих ящиках запакованы герои и реквизит моих трагедий! Я приподнял легкую крышку. На самом верху ящика лежала рукописная книжечка: это была комедия о Давиде. С тех пор все мысли мои сосредоточились на комедии, каждую свободную минуту я украдкой твердил стихи и в мыслях представлял себе, как это выглядит на сцене».

Эпизод четвертый. В начале этого эпизода вычеркнуто:

«Молодой гражданин большого города бродит по улицам. Иногда случаются события, нарушающие спокойное течение жизни: то пожар уничтожит чей-нибудь дом, то совершается преступление, розыском и наказанием которого город занимается несколько недель».

Мы ведь друзья. Далее в машинописи вычеркнуто:

«Гретхен за прялкой (Шуберт).

Это случилось во Франкфурте. Это пережил юноша, почти подросток, и крепко запомнил. Дурное общество, подозрительные, но веселые люди. Большая висячая лампа. Ночные исчезновения. Тайком передаваемые деньги и записки. И все-таки здесь ему было хорошо и чем-то он здесь освежался. Уют и порядок, порядок и уют, родительский дом,— как раздваивалось его существо: он будет сокрушать этот порядок, и будет его воспевать, и будет ему служить через много десятков лет — веймарским тайным советником со звездой на груди».

Он победил уныние или уныние победило его? В машинописи далее вычеркнуто:

Гете. Он прислал вам письмо. Могу засвидетельствовать, что зрение его стало лучше.

Сапожник. Не вы ли его сосед по комнате, который всегда передает мне приветы?

Гете. Я самый.

Сапожник. Видно, вы приехали в Дрезден посмотреть, как я тачаю сапоги?

Гете. Отчего бы и нет, мастер! А кстати, и посмотреть, как Рембрандт управлялся с кистью».

Бериш — оригинал и острослов... Перед этим текстом в машинописи вычеркнуто:

«— Кто умеет чинить вороньи перья?

— А ты пиши гусиными.

— Вы ничего не понимаете».

...был мастером словесной карикатуры. Черновая запись:

«Бериш высмеивает бюргеров и любителей военных подвигов, прославляющих Фридриха ‹II-го›, который семь лет подряд вел опустошительные войны и все не мог кончить».

Он сидит за маленьким рабочим столиком... Перед этим текстом в машинописи вычеркнуто:

«Четверг, 10 ноября 1767 года, 7 часов вечера.

Гете. Ах, Бериш! какое жуткое мгновенье! О Боже, Боже! Хоть бы немного успокоиться. Бериш, будь она проклята, любовь! Если бы ты видел меня, ты бы стонал от жалости ко мне.

Кровь угомонилась. Я успокаиваюсь и уже могу говорить. Разумно ли? Может ли безумец быть рассудительным? Будь у меня цепи на руках, я бы знал, по крайней мере, во что вгрызаться.

Я очинил перо, чтобы дать себе передышку... Тише, тише: я расскажу тебе все по порядку».

Как будто целая стая ласточек плавно и мощно несется наискось листа. Далее в машинописи вычеркнуто:

«Гете. ...Все это меня так больно уязвило, что я заболел настоящей лихорадкой. Всю ночь меня бросало в жар и холод. Весь день я просидел дома. К вечеру я зачем-то послал служанку на улицу, и что же? — девушка возвращается и рассказывает, что Кетхен со своей матерью, где бы ты думал? — в театре! В театре — когда ее любимый болен!»

...слишком маленькой для шекспировского действия. Во время работы над радиокомпозицией Мандельштам, по-видимому, надиктовал следующую заметку о Шекспире (на листке помета Н.Я. Мандельштам: «В шутку записала Осину болтовню»):

«Метод ш‹експировского› творчества — случайность, превращающаяся в закономерность. Он ее обволакивает, он ее переваривает, эту случайность, но кусок остается всегда непереваренным.

Отелло никогда никого не убил. В сцене скандала, сколько бы он ни грозил, никто не верит, что он кого-нибудь проткнет шпагой. Он скорее может вылечить рану, быть хирургом, чем убить. Недаром его последние слова — про турка. Это нечто такое, что можно изрыгнуть, только заколов потом самого себя.

14–840

Дездемона (Войлошникова) — идеал средневековой женщины-жены. Этот идеал никогда не обрабатывался в литературе. Но он в ней присутствовал. Жена по образу какого-то средневекового Домостроя, лишенного восточной жестокости. Дошекспировский идеал. В шекспир‹овское› время женщина уже изменяется под влиянием напора буржуазии. В‹ойлошникова› инстинктивно вернула Дездемону средневековью, и в этом ее сила.

(Пастернак принадлежит к числу людей (художников), которые Эсхила продолжают перерабатывать в Гете.)

Никакой Венеции в "Отелло" не нужно. Это Англия.

Пастерн‹ак› человек всепониманья; я — человек исключительного понимания. И Гете — человек всепонимания».

Эпизод седьмой. В начале этого эпизода вычеркнуто:

«События... наслаждения... страсти... страдания...

События? Какие могут быть события в феодальном немецком городке? У герцогини подохла любимая собачка. Жена статс-секретаря родила двойню.

Директор герцогской мюзик-капеллы уволил флейтиста за то, что он громко высморкался на придворном концерте.

Придворным лакеям шьют новые ливреи. Ткацкий и портняжный цех ликуют.

В город приехал модный архитектор и строит дома с наружной, а не внутренней лестницей, предназначенные для нескольких семейств. Подумайте: под одной крышей будут жить три семьи!

Нищая страна. Спящая промышленность. Бюргерам негде развернуться. Молодежь среднего класса не знает, куда девать силы. Но стремления к росту уничтожить нельзя».

Из главной точки каждого свода расходились мощные ребра. Сохранились отрывки ранней редакции этого фрагмента:

«[...переживаниями молодости.

Пауза.

Стихотворение из "Вильгельма Мейстера", переложенное на музыку.]

Страсбург. Гете кончает университет. Высокие башни Страсбургского собора видно со всех концов города. Это первый блестящий образец готической архитектуры, который увидел Гете. ‹...› Равновесие и полет были законом этой архитектуры.

От архитектуры разрешите перейти к танцам.

Жизнь едина во всех ее проявлениях. Надо все испытать, надо все уметь, надо все узнать и всему порадоваться.

Страсбург — граница Франции.

Чем волнуется эта кучка молодых людей, называющих друг друга "гениями", даже в товарищеском кругу, даже с глазу на глаз? Может,

их обуревают освободительные идеи Франции, которая уже раскачивается для великой буржуазной революции? Философ‹ы› завтрашней революции, и в первую очередь Вольтер, им, конечно, знакомы. Но они — эти юноши — целиком живут внутренними душевными бурями. Им кажется, что презренные феодальные князьки должны трепетать перед их вдохновением. Ярость душевных порывов, свободная поэзия, черпающая силу в народном творчестве, победит немецкую косность, сокрушит убожество пережившего себя строя.

Как это произойдет?

Гремят барабаны на чистеньких площадях.

Под музыку церковных органов проповедуют ханжи и подхалимы.

Бродячие шарманки разносят по селам и городам маленькую, рожденную в комнатной клетке, в отгороженном садике мещанскую грусть и радость.

Золоченые кареты под звуки фанфар развозят чванных посланников, занимающихся стиркой государственного белья.

Где же победа над косностью? Как же она произойдет?

Кто тобой, гений, пестуем,—
Ни дожди тому, ни гром
Страхом в сердце не дохнут.
Кто тобой, гений, пестуем,
Тот заплачку дождей,
Тот гремучий град
Окликнет песней,
Словно жаворонок
Ты — в выси!

Революция любит пение жаворонка, но нигде и никог‹да еще ж›аворонки не производили революцию.

...‹научи›ть Гете танцевальному искусству... ‹Дочери учит›еля Люцинда и Эмилия помогают о‹тцу обу›ча‹ть у›чен‹ика:›

— Роза, я сломлю тебя,
Роза в чистом поле.
— Мальчик, уколю тебя,
Чтобы помнил ты меня.
Не стерплю я боли.
Роза, роза — алый цвет,
Роза в чистом поле...

Он сорвал, забывши страх,
Розу в чистом поле,
Кровь алела на шипах,
Но она — увы ‹и› ах! —
Не спаслась от боли.
Роза, роза — алый цвет,
Роза в чистом поле.

Эмилия танцевала с ним менуэт.

Эмилия. Люцинда больна. Она лежит в постели. Она говорит, что умирает, потому что вероломный друг сначала увлек, а потом покинул ее ради другой.

Гете. Но я не виноват, я никогда не увлекался Люциндой. Я знаю, кто может это подтвердить. Не вы ли, Эмилия?

Эмилия. Отец говорит, что ему стыдно брать с вас деньги за уроки: вы уже знаете все танцы.

Гете. Эмилия, и это вы советуете мне покинуть вас?

Эмилия. Вчера мы зазвали гадалку. Между вами и Люциндой лежала бубновая дама. А что, если это я? Вернется мой жених — что скажет он? А Люцинда! Одна сестра несчастна из-за вашей любви, другая — из-за вашего равнодушия. Прощайте,— и в знак того, что это последняя встреча...

Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Люцинда.

Люцинда. А, ты его целуешь! Ты не одна простишься с ним. Такую сцену на театре могла бы исполнить только хорошая французская актриса. Это не первое сердце, которое ты у меня отнимаешь. А тот, с кем ты обручена, разве он не был моим? Я должна была все это вынести и вынесла. О, слезы мои, я проста и легковерна, я открыта и честна! А ты — ты хитрая, ты злая, ты скрытная.

Эмилия. Уходите! Зачем вам это слушать?

Люцинда. Постой. Я знаю: ты для меня потерян. Но тебе, сестра, он не достанется тоже. Прощай... первый и последний поцелуй... Эмилия, слушай: я проклинаю ту, которая после меня поцелует эти губы... Хочешь, попробуй, но берегись, не оберешься бед! А вы что здесь? Бегиге! Бегиге прочь! Скорей!

Гете бежал, дав зарок никогда не возвращаться к танцмейстеру.

Менуэтная музыка».

Она работает как разумное существо. Далее в машинописи вычеркнуто:

«Гете положил на стол свой штейгерский молоток».

‹Эпизод восьмой›. Сохранилась следующая схематическая запись плана радиокомпозиции: «Люди.— Одиночество.— Вертер — время.— Дорога.— Италия». Затем следует перечень лиц, встречи Гете с которыми и были, по-видимому, частично отражены в утраченном тексте: «Шток (гравер). [Мерк.] Гердер. Клингер. Лили. Фридерика. Лафатер. Базедов. [Госпожа Ла Рош.] [Штайнер.] Лену (сумасброд)». В черновике началу восьмого эпизода в том виде, как оно сохранилось, предшествует: «...‹Базедов задумал› образцовую школу.

Деньги нужно вырвать у богачей. Чудак Базедов начинает с просьбы и неожиданно для себя оскорбляет человека, к которому обращается. Мудрено ли, что ему отказывают?

Ядовитый Мерк — прообраз Мефистофеля: Гете сравнивает его с улиткой, которая нет-нет да и покажет людям рога». Сохранилась также черновая запись о Лафатере:

«У Гете замечательная оценка Лафатера — он говорит: "Что такое человек, прекрасно наблюдающий подробности, но не имеющий цели? Он видит, какая складка на лбу, но не знает, для чего эта складка и какой она должна быть".

Фотографии тогда, как известно, не было».

Эпизод девятый. В ранней редакции этот эпизод был десятым. Сохранилось его начало: «Сборы в это путешествие — с десятилетней задержкой в Веймаре — заняли целых двенадцать лет». Приводим также текст эпизода, который был в ранней редакции девятым:

«Унизительно, унизительно, унизительно!

Во франкфуртском доме стесняются произносить слово "карета".

Вольфганг не слышит. Отец шепчется с матерью:

— Такой афронт! Такой бламаж! Такой конфуз!

Вольфганг вздрагивает. Ему приходят на память собственные стихи из "Прометея":

[Молот возьму,
Брошу огонь во тьму,
Слава дерзнувшему,
Пламя раздувшему,
Слава укравшему
Огонь у богов!]

На страсбургском каретном дворе голубым штофом обивают спальный экипаж — так называемый дормез. Кузов его лакируют. Веймарский герб на дверцах золотят.

[Вечно земля крепка.
Мучиться ей века!
Роют и бьют ее,
Треплют и рвут ее,
Чтоб плод несла.
С плугом идти в борьбу
Век по ее горбу
В поте лица рабу!]

— Так обещать и так надуть! Поставить в такое дурацкое положение!

Страсбургские каретные мастера не торопясь изготовляют тюрьму

на колесах, лакированный гроб на рессорах, в котором величайшего поэта Германии должны доставить в карликовое государство — герцогство Веймарское,— где он будет министром у помещика, чудом-юдом для показа гостям.

Творческая тайна художника — как это хорошо, как это глубоко!

Мудрый совет, толкающий на полезное действие,— как это прекрасно!

Но из этих двух — сошьют тайного советника — Гете.

Коршун исклевал печень богоборца Прометея.

— Корни мои подрублены,— воскликнул, умирая, Гец фон Берлихинген.

Черные глаза Лотты кажутся Вертеру пропастью, которая влечет его к безумию и смерти.

Эти трое, рожденные его фантазией, разбились, погибли. Однако тот, кто еще не разучился ждать, кому еще знакома лихорадка ожидания,— отталкивается от гибели.

Новому не рад я. С преизбытком
Этот род к земному приспособлен.
Только дню текущему он служит...

Чего же он ждет?

Придворная карета изволит не приезжать.

Карета, которую за ним обещали прислать веймарские чиновники, изволит опаздывать».

Дома в Германии он избегал углубляться в античность... Перед этим текстом зачеркнуто окончание текста предыдущей, утраченной, страницы: «...цимбал, гитар и скрипок».

Сохранилась черновая запись к эпизоду девятому:

«“Этим путешествием я хочу раз навсегда насытить свою душу, стремящуюся к прекрасным искусствам: пусть образы их запечатлеются в моем сознании: я сумею их сберечь для тихого сосредоточенного наслаждения. Но потом, когда я вернусь, я обращусь к ремеслам, я изучу механику и химию. Время прекрасного отживает. Только полезность и строгая необходимость управляют нашей современностью”.

Трудно поверить, что эти слова были записаны Гете в Италии, на самом гребне могучего жизненного подъема. Не объясняется ли эта удивительная запись великим волнением души, охватившим путешествующего по Италии Гете?»

Известны еще два фрагмента, относящиеся, по-видимому, к последним эпизодам радиопьесы:

«...Мораль этой басни ясна: человек не смеет быть униженным. Пять чувств, по мнению летописца, лишь вассалы, состоящие на феодальной службе у разумного, мыслящего, сознающего свое достоинство "я".

Такие вещи создаются как бы оттого, что люди вскакивают среди ночи в стыде и страхе перед тем, что ничего не сделано и богохульно много прожито. Творческая бессонница, разбуженность отчаяния, сидящего ночью в слезах на своей постели, именно так, как изобразил Гете в "Мейстере"...»

«Конницей бессонниц движется искусство народов, и там, где она протопала, там быть поэзии или войне».

280.

‹НАБРОСКИ К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ КНИГЕ О ДЕРЕВНЕ›

‹1›

Я предлагаю дать документальную книгу о деревне (село Никольское Воробьевского района). Выбор мой остановился на этом селе по следующим соображениям:

Никольское (в прошлом государственные крестьяне) трудными путями шло к коллективизации. Отдаленное от железной дороги и от районного центра, оно жило трепещущей и напряженной жизнью, где ясно различались два процесса — один, увлекавший население в прошлое (село переболело настоящим психозом — здесь имело место, например, летунство и др.), и другой — к новым формам жизни и к социалистическому землепользованью. Население — нервное и талантливое, все время выдвигало значительных и интересных людей, боровшихся за коллективизацию. Переломным моментом, окончательно решившим судьбу села, явился — с запозданием против других районов — именно 35 год. Впервые до сознания масс в несокрушимой ясности дошли преимущества коллективного хозяйства, впервые все вышли в поле и все стали на работу, осознав ее как свое личное дело. Этот момент становления — исторический переломный момент — с необычайной яркостью представленный в Никольском — должен быть зафиксирован на живых примерах — без прикрас, с колкой правдивостью, с показом прошлого: с историографической, скажем, установкой: из чего росло, с чем боролось, куда растет. Талантливость борющихся сторон — делает эту яростную схватку старого и нового в Никольском — особенно выпуклой и значительной.

В селе Никольском *5* слобод — и 6-7 колхозов. Наиболее индивидуально очерчены два — колхоз имени Молотова и «Пламя революции»,— оба борются за районное первенство.

В основу книги должны лечь рассказы колхозников о созидательной работе в колхозах, причем цель этих записей — не только показ хозяйственного роста, но и роста каждого участника этого процесса.

[К примеру: председатель «Пламя революции» Дорохов — бывший партизан — биография в форме рассказов об отдельных событиях гражданской войны. Дорохов — о колхозе (запись).]

Форма работы — обработанные записи, с сохранением и упором на особенности речи современной деревни — так как язык деревни — не константа — он изменяется, обогащается, меняет свой характер в зависимости от глубинных процессов, и даже в любой момент есть резкое различие в языке пассивного и активного колхозника, в языке единоличника и в языке сельского партийца. Фиксация языковых сдвигов представляет собой не только узко научный отвлеченный интерес, но и социальный. Мы привыкли называть фольклором — установившееся и отстоявшееся и до сих пор почти не фиксировали тех подвижных форм изустного рассказа о современности...

‹2›

Цель книги — дать читателю ощущение близкого непосредственного знакомства с людьми и делами [отдельного колхозного массива] колхозов села Никольского Воробьевского района. Это село, образующее целую систему слободок, еще недавно было гнездом старого быта[. Классовая борьба принимала здесь напряженнейшие формы. Торгаши и кулаки ‹?›], было известно низким уровнем земледельческой техники, бескультурьем [и массовыми побоищами в церковные праздники], засильем торгашей, организацией кулацкой деятельности ‹?› и т.д.

В настоящее время колхозное строительство в этих местах носит бурный творческий характер. Конкретный, с полной наглядностью, показ перелома должен явиться содержанием книги.

В числе колхозных строителей здесь имеются люди, с оружием в руках гнавшие белогвардейцев, строившие *‹2 нрзб.›* ‹в› этих самых местах советскую власть, прошедшие на месте весь реконструктивный период. Это подлинные организаторы — как, например, предколхоза «Пламя революции» товарищ Дорохов, вместе с горсточкой батраков основавший в Никольском первую сельскохозяйственную артель.

Передовые колхозники Никольского — сами ощущают пережитое

десятилетие как историю и сохранили в своей памяти все драматические эпизоды классовых боев на теперешней колхозной земле. Среди них имеются яркие и талантливые рассказчики.

‹3›

I. Синтаксис.

1) Расположение обиходных речевых конструкций в порядке возрастания синтаксической сложности.

2) Вытеснение пассивно-эмоциональной связи между элементами речи связью логической.

3) Обогащение живой речи ассоциативными ходами и влияние этого процесса на речевую структуру.

II. Энергетика речи.

1) Речевые темпы, ритм, модуляции голоса. Напевность, протяжность, повторы, характеризующие «говор», и ликвидация их в речи колхозника.

2) Переход от «говора» — пассивной организации речи к речи активной.

III. Обороты.

IV. Лексика: совпадение словаря с инвентарным кругом, степень насыщенности речи отвлеченными понятиями, пережиточно-обрядовые слова, газетная лексика, географическая номенклатура, медицинская номенклатура, эмоциональный словарь, лирические элементы речи, ругань, имена, специфика словаря в разговорах взрослых с детьми, детский словарь, коммерческий словарь, торговая номенклатура, с л о в а р ь   т р у д о в о г о   з е м л е д е л ь ч е с к о г о   ц и к л а [(лексика машинной и немашинной обработки земли, механической...)].

Зренье, слух, осязание и вкус и их словарные выразители в обиходной речи в связи с культурным и материально-бытовым уровнем района.

1) Деловая речь.

2) Речь, сопутствующая процессам труда (эмоциональный регулятор).

3) Речь, аморфная по отношению к труду (межтрудовая):

а) Слово как бытовой жест;

б) Сообщительно связная речь.

Процесс, происходящий в деревенской речи,— отмирание орнаментики, бытовой статики и обогащение динамической и сообщающей речи.

‹Запись на полях:› А куда амплификацию?

‹4›

24/VII

Выехали в 6 утра. Грузовик. Везет столы и стулья и подстилки (холсты) для зерна. Богатство земли. Шапки соломенного меха на хатах. Разнообразие красок: музыка желтого, зеленого. Такое сочетание: волейбольная сетка, ток, гигантские шаги, маленькая трибуна. Дети — городок — стрижка — комната девочек и мальчиков. Содержание стенгазеты. История с больным и с пайком. По дороге — малярийные дети. Почему врач гастролер? Очень дорого. Всего три месяца. Секретарь парткома соглашается, что театр без продолжающей культработы — культрастрата.

Четвертое отделение. Дзюба — начальник отделения. Спокойствие управляющего — очень бывалого. Общая тенденция не огорчать начальника (политотдела) и держаться бодро. Успокаивать и заверять во что бы то ни стало. Не рассказывать ничего неприятного, кроме...

‹5›

28/VII

Я заметил, что уборочная кампания в зерносовхозе подготовлялась как будто гигантский прыжок с парашютом: раскроется или не раскроется.

Представьте себе этот парашют, на котором повисли десятки комбайнов, тысячи га земли и тысячи людей.

Все время, когда я сопоставляю хозяйство зерносовхоза с колхозными полями, мне приходит в голову еще другое сравнение: не только площадь, но и глубина машинизированного зернового хозяйства, глубина эта еще не освоена людьми. (Нельзя же допустить, чтобы ремонтная мастерская оказалась более стихийной, чем производящая земля, чем погода.)

День начальника политотдела и директора совхоза разворачивается в богатейшую кинофильму: обозрение зернового океана, машин и людей. Две машины мчатся друг за другом по бархату грейдерных дорог. С комбайнов снято шесть магнето. Сам директор везет их на починку. Он бы и целый участок свез бы для *‹1 нрзб.›* на центральную усадьбу [— на просмотр и опробование], если б это оказалось возможно.

Выражение его лица давало весь переход от удивительной доброты и ласки к угрозе — через насмешку, через стрелковый прищур: от зоркости это лицо с удивительной быстротой неслось к подозрительности.

Серые глаза сельсоветки, красноармейца, летчика то мрачнели, то смеялись, подбородок тяжелел, осаживался. Лагерная худоба щек держалась на самой границе между здоровьем и не думающей о себе усталостью.

‹6›

Желто-зеленые горы собранного хлеба. Иногда они похожи формой своей на глыбу из-под Медного Всадника, иногда ‹?› на северный финский валун.

Соломенные бури на току. Кто сказал, что машинная обр‹аботка› земли бездушна? Тот, кому выгодно было лгать.

Ток. Место молотьбы: поле в действии. Здесь — театр зерна. Без зрителей, без лишней публики: одни участники — да еще синяя харьковская молотилка размерами с ярмарочную фуру, да еще веялка, попугайно-пестрая, размалеванная как обклеенный лубками органчик.

На почетной подстилке — само зерно...

‹7›

Мы стояли ночью на улице вор‹обьевского› зерн-хоза и говорили о том, что у нас называют культурой, т.е. о г л у б и н е деятельной социалистической жизни. Начполит дал этому ночному разговору неожиданный оборот: «Вот и мы ведем борьбу, даже объявляем кампанию: “За культурную тряпку для тракториста“: она вся промаслена, пыль на нее садится».

Звезды, культура и эта тряпка.

Мне кажется, такого умения, такой потребности обобщать детали мир еще не знал. Этой тряпкой будет стерто всякое общее место, всякая фраза: т.е. все гиблое, проваливающееся, притворяющееся, пустое.

Звездам чуточку стыдно: достаточно ли они конкретны?

‹8›

К у л ь т у р а   н е   е с т ь   м е р т в ы й   и н в е н т а р ь. Ее нельзя выписать из склада. Нельзя развозить на автомобиле, как думает рабочком совхоза *‹5 нрзб.›*, мечтая об авт‹омобиле› для эст‹етики› обл‹асти›.

Пропадают прекр‹асные› женск‹ие› голоса — потому что нет хора.

Пропадают инженерск‹ие› знания — ...

‹9›

Лицо сельсовета. Мужичанский сельсовет. Крыльцо высокое. Комнаты голые, пустые: присутственные, канцелярские; барьеры с колонками.

А ведь есть уютные сельсоветы — не удивляйтесь: с большим вкусом, любовно, и з я щ н о обставленные.

Например, Березовский. «Не сорить, не курить». Здесь хозяйка женщина. Удобные низкие скамейки вдоль стен. Портреты развешаны толково. Сукно пылает, как домашняя скатерть, на столе. Бумаги хранятся в черном стеклянном шкапчике, не канцелярского, но хозяйственного вида. Знамя в углу — развернуто стремительно. Дедовская чернота мебели гармонирует с красным, и зелень бьет в окна.

А в загсе — совсем роскошь — венская мебель. Это — крестьянская гостиная.

Смеются:

— Кто сюда войдет — тому наверное захочется жениться или развестись.

Там ‹же› умещается ‹?› почта ‹?›.

В полуприбранную комнату Дома крестьянина забежал секретарь райкома Долгушевский.

На полу стоит чугунок с кроличьим мясом.

Среди разговора ткнул в чугунок.— Там что такое? Любопытен. [Инерция организатора.] Хочет и чугунок понять.

Да разве нелюбопытный человек может быть хорошим хозяином? Где, скажите, проходит граница между тем, что нужно и чего не нужно знать?

Искусство в е с е л о работать — да ему цены нет.

[Вчера я слышал к...]

‹10›

[[Телеграфные столбы.] Дуговые фонари в чистом поле. Гигантские шаги и ораторская трибуна; сетка волейбола и деревянные качели в виде загнутых санок. Жирные гуси, ковыляющие к пруду. Мощный фронт грузовиков на зеленой площади.

Где же все это? Быть может, на плакате?

Воробьевский район. Зерносовхоз.]

Пыль в этой полосе СССР — голубая, а дороги черные. Земля утратила свою неподвижность, бежит к далекому Азову, торопится вниз к Черноморью. Степь — бескостная и плавная — то и дело вздувается в легкий шатер или вытягивается в длинную седловину. Как жаль, что все эти неровности не имеют названия, что в большинстве они безымянны. Мы еще недостаточно любим свою землю, мало любуемся ее живым рельефом. Стремительные трещины высохших балок, лагерная белизна меловых оврагов, овечий помет на бесцветных холмах и купоросная зелень заболоченных камышей...

‹11›

...т.е. начало разрушения землянки с не выведенными из нее детьми, с корректностью разговора и юридическими советами тут же на месте. Отсутствие испуга у выселяемых.

[3 отделенье.] Старый колхозник заявляет денежную претензию. Разыгрыванье простачка, нательный крестик. Начальник крайне внимателен. Гарантии разбора на месте. Суть дела: сезонникам не платят 3 года, сезонники хотят получать «непрерывную зарплату», включая дождливые дни и выходные, как штатные рабочие.

Психологический отдых без комбайна на так называемой «перевалке», т.е. месте просушки зерна, не сданного на сушильню элеватора, вопреки директиве ЦК: отдыхают на простоте этого процесса.

Хороший комбайнер не может воспитываться только на комбайне, вроде как мужик на сохе. Работа требует огромного кругозора. Нужен т и п рабочего земледельческой индустрии, а не починщик сложного примуса. Никаких следов какой бы то ни было культработы, кроме засушенных гирлянд в некоторых столовых, при объезде гигантской территории совхоза не обнаружено. Воробьевский театр не обслуживает даже совхозной периферии: не на чем доставлять зрителей. Вздох партсекретаря о пятерке актеров для полевых бригад.

Необходимо:

1) Выписывать из Воронежа лекторов на двухнедельные циклы по вопросам: литературе, партистории, интернациональному воспитанию, технике и т.д.

2) Наладить библиотечки, читальни, ассигновать деньги на выписку литературы. Поручить в Воронеже вполне ответственному лицу постоянное пополнение книжного фонда.

3) Войти в контакт с областным отделением В.С.С.П. с целью: а) организации писательских выездов, б) организации читательских кружков.

4) Наладить музыкальную самодеятельность (имеется лишь не-

сколько одиночек-баянистов). Выписать на короткое время инструктора по хоровому пению хотя бы через радиокомитет.

‹12›

Опробыванье затягивалось. Директор совхоза — Бондарь объехал стоящие комбайны, снял с них семь магнето и в легковой машине привез их на починку в совхозный центр.

Бондарь тяжел, как кузнец. Брови — командирские, плечи широкие; глядит как улыбающаяся туча. [Партизан, Дантон, да редко его слышно...] Его спокойствие могло быть чудесной базой для работы совхоза, если б к нему прибавить тревогу.

‹13›

Комбайн самая сложная и в то же время наименее механистическая из всех машин, употребляемых в полевой работе. Это значит вот что: комбайн не терпит автоматического обслуживанья, он требует настройщика, механика-музыканта, рабочего-инженера. Иначе он превратится в карикатуру, в полевой примус, который нельзя проткнуть иглой.

Мы объезжали отделения совхоза — эти подчиненные центры, маленькие вокзалы без железной дороги. Это был день горячего молока из кухонных шалашей, не утолявшего жажду, и туго выздоравливающих, учившихся ползать мертвых, полумертвых, медленно оживающих комбайнов.

‹14›

Вот он какой, день: тоненькая корочка черноты — еще тоньше корочка сна, а внутри большой неделимый шар из голубого, хрустящего от скорости, необычно материального воздуха, шар, наполненный движущимися плоскостями посоломленного кивающего шелка и недоломленными армиями доспевающего колоса, [шар, начиненный полуукраинскими ласковыми голосами с] колючей стернью, прокосами, [омытый морями молочной] с отсверкивающим зеркальцем автомобиля перед глазами и галлюцинациями кефира, кумыса и холодной колодезной воды.

[Через год иль два эти люди перед обедом примут душ и переоденутся в чистый костюм.]

А я и не знал, что день такой большой, что в нем так много может поместиться. Например, свеженькие шершавые столы и скамейки, подпрыгивающие на грузовике.— Куда? На четвертое отделение к Дзюбе, о котором все отзываются с уважением и почему-то напирая только на толковость, только на хозяйственность, только на бывалость: дескать, опытный, неогорчительный, положительный человек управляющий,— чтобы на этих столах люди, живущие в таборе под высоким, как купол цирка, соломенным конусом и спящие на аккуратных жестких досках, [едва прикрытых цветными подстилками,] ели и пили по-людски в обеденный час.

А я и не знал, что день настолько емок, что из него можно вытряхнуть дегтярную черноту матерьяльных баз, где воздух пропитан заведываньем и учетом на бочках с протравой для тары.

Были мы и в пионерском лагерьке. На вопрос, чего бы не хватало, дети дружно выкрикнули: денег нет! Вот так штука! Приносят вишни, не на что покупать.

Через час в очередном летучем штабе начальник политотдела вместе с распоряжением о походных флягах для рабочих открывает и соответствующую ребячью ассигновку. [Хотелось бы подразнить этим воплем пауперизованных детей какого-нибудь мистера Робинзона.]

[А когда же я видел сезонника, который, указывая на соседний [Сталинградской] области колхоз, простецки в‹ы›говаривал все тому же начальнику политотдела: «Мы тамочка не бываем, мы тутошние... А вот за 33 год семьдесят рублей — мы сено убирали — нам задерживают...»

И вдруг вдохновился сезонник и говорит: «В совхозе не все в порядке: нам — сезонникам за выходные и дождливые дни платить не хотят».]

В совхозе работают и сезонники из окрестных колхозов. Им хотелось бы получать и за дождливые, и за выходные дни. Совхоз, соединяя свои разбросанные участки, невольно помог колхозникам в строительстве дорог, слегка выручал машинами, сам постоянно нуждается в рабочих руках и тягловой силе, но от него — глубоко дышащего, широкопланного — колхозники вправе ждать и требовать большей помощи. Одним соседством да добрым знакомством здесь не отделаться.

‹15›

...ческим порывом. В значительной степени благодаря ему колхоз идет открыто на всех пшеничных и свекольных парусах, чувствует будущее, имеет, что называется, «курс».

Отягощенный мыслью о сорока семи выгнанных им хозяйств‹ах› и раскаявшийся в командирских заскоках, Дорохов меньше всего хотел показаться мне грозным. Репутация страшилища, видимо, его тяготила. Живет он в полугородской обстановке. Одинаково сердится, когда воруют газеты и...

С утра в поле, дома лег отдохнуть и вышел в подтяжках, растирая полотенцем открытую грудь. Сел, наклонил плодовитую, озабоченную голову, художественно совпадающую — да простят мне это сравнение — с головой председателя пивных собраний, мудреца из бир-галя на Васильевском острове, старого шорника или каретника — одним словом, не командир, а папаша. Речь Дорохова, распаханная под научную экономику, под газетную передовицу,— была все-таки крестьянская. Он сколачивал ее годами как политический стиль, как орудие, как богатство и умело ею пользовался.

— Перелом у нас в 33 году. Смена была председателей у нас. По некоторой неприятности: меня призвали в районном...

‹16›

Люди села Никольского. Бывший председатель сельсовета — в настоящее время кончает медвуз.

‹17›

[На откосе железной дороги сидели девушки и парни с цв‹етами›. Станция Ширинкино — я в последний...]

‹18›

Время от времени, расталкивая беседующих и «однокорытников», девушка опрокидывала в телегу свежее ведро — и зерно от этого делалось как будто горячее.

‹19›

— Я все-таки считал, надо. Неплохо двигается. Стучит-стучит (за окном движутся телеги с хлебом).

Расчет движения потоков хлеба. Непрерывность: хорошо, что не все сразу.

‹20›

[Лучше бы механики носились по грейдеру на мотоциклах. Хотя бы — для легкого ремонта, на месте, для совета комбайнеру, для настройки сложного механизма.

Ведь...]

Эта поездка...

‹21›

Здесь люди знают друг друга на корню [по работе, жара]. Каждый талант на учете.

‹ЗАПИСНАЯ КНИЖКА›

Ст‹анция› Ширинкино. Ссыпной пункт. Машина № 7 задержалась. Определяют влажность зерна.

Молотовский колхоз.
Дятлов — Маренг‹?›
«Пламя революции».
Потуги — сад — клуб — не доводят.
Дорохов (прям-те партиз‹ан›). «Сила в ком‹мунизме›, С‹ССР› и рев‹олюции›».
Зр‹ительная› память *‹2 нрзб.›*.

2 ч‹аса› ночи?

‹1 нрзб.› день.
Кормил колх‹озников› протравленным хлебом.
Ссыпали зерно влажное.
От житного — галушки — звена два заболело. Никто к котлу...
За всю косовицу 2 раза галушки.
Мясо на косовице.
Димитров. Горох, борщ, галушки.

Петро Мар‹енг?› налил собаке. У него собака дюже умная.

М.Т.С.
Только перерасчет.
Если б 3 раза.
Мука да вода.
Отдувается бригадир. ‹Бригадир›у по морде.

С 1 февр‹аля› Селиванов.
С начала весен‹них› дел ночи не спать ‹?›
100 ч‹еловек?› — 1 бригада на прополку.
Со старух в $3\frac{1}{2}$ — 5— $7\frac{1}{2}$.
2 бригады.

Б‹ольшой› улей. Лучше масла.
С начала в‹есн›ы ни одного прорыва. Семья. 5 сыновей.
Орел. Картежка.
Никольск‹ое›. Дикари. Вроде антихр‹иста› в колх‹озе›.
Сами себе раск‹ольники›. Карт‹ежка?›. Летуны.

Пророчица Катька из Руднева и Даша-дурочка в караулке.
Быт девок.
«Идите — молитесь, проклятые».
Заболев с житного.
Житные галушки.

Молотила — отгребала от веялки.
7 кило пш‹еницы›.
Женщины поймали.
Молодые люди, муж-ударник; живет со всеми (колх‹озная› прост‹ота›). Муж ушел без ведома правл‹ения› на заработки. Провели совещание на молот‹ильной› бригаде: иди на стройку — подальше от хлеба.

После отлова.
11 хоз‹яйств›.
Звягинцев Егор.
Пару бычков, четырех теля‹т› имеет, 11 овец.
Сейчас здорово оборвался дед.
«У сына есть» (вроде).

Мало привозят. Сапог совсем нет. Одёжа есть.

Хлеб — закуп‹ают› согласно людей (дед).

17-летняя девушка: «А что, полотна другие нации в семилетке не выра‹стили?› »

Кто детей на соревнование вызовет?

Вот садись, Зв‹ягинцев›, я из тебя выкую учит‹еля›, в Москву...

На реках вав‹илонских›. Тигр — Евфрат.

Книг рубл‹ей› на 400 за два года через Райком от Огиза.

Есть любители сами...

‹1 нрзб.› по с‹ов›хоз‹ам› сами выискивают.

Зимой при *‹2 нрзб.›* столы длинные застелем скат‹ертью› крас‹ной›, красные скомья.

(а) (и)

Лампы-молнии мощные, № 7.

Влажн‹ость›: 18, 18, ...

6 ночей в Ширинк‹ино›.

4 колхозника строились ‹?› (дележка).

Строились по-старому.

3-ое колхозников.

1-му сами поставили хату, застекл‹или› окна, пос‹тавили?› печь.

Средства.

Лес. Материалы.

Хороший колхозник ‹в› 1-й бригаде Свиридов Сем‹ен› Макс‹имович›.

5 человек.

0,2 гектара.

Камень — мел.

Вредна сырость.

‹1 нрзб.›

‹1 нрзб.› — белая.

Камень — синий с глиной (песчаник).

Еще хуже.

Примечу известь: штукатурить.

Цветы в хатах.

Мода.

‹1 нрзб.›

Банное *‹1 нрзб.›* на кустике.

Руднево. Сады, речка. Раз в год.

У него там дом кулацкий 33 г.

«План».

340 центнер‹ов›.

Производств‹енное› расшир‹енное› собр‹ание› с активом лучших к‹олхозников›-уд‹арников›.

О значении строит‹ельства› нашего государства «для обесп‹ечения› вес‹еннего› сева».

Оставить продукты, корма и т.д.

Потом разворачивают.

Число промрабочих раньше и теперь.

Отмена карточек.

Раньше — заготовка хлеба.

Мнимые противоречия города и деревни.

Книжка Карпинской (Партиздат), к‹аждый› вечер читал.

Нутром большевик.

Азаров Тих‹он› Ив‹анович› (из возражен‹цев›-говорунов), сам пришел: «Ты не продаешь‹?›, у тебя труд — дает мало, а задачу с тобой надо выполнять».

500 центн‹еров› [на] семссуды от госуд‹арства›, а мы привозили ‹?› 340 центн‹еров› от района *‹1 нрзб.›*.

Оказалось 50.

[4 га.

Заметны‹?› стали.

Детская книжка, цветы, клеенчатые набойки, желтые цветы.

Буденный. Братишка. Барто.]

Сосновый дом кулацкий.

Траурные номера «Правды» на *‹1 нрзб.›*.

Плакат с пулеметчиком.

«Удар — на удар» (Сталин). Огиз.

Председ‹атель› колх‹оза› Кагановича живет хуже рядового колхозника.

Ср. Селиванов Гр‹игорий› Ив‹анович›, Щербаков Ив‹ан› Ив‹анович›.

Печка сложена лет 20 и хата ни разу не побелена.

По Молотову.

Халяпины оглушены.

Раб‹очая› сила есть.
«Быт съизстари» (замеч‹ание› хозяйки).
Культкомиссии по 3 женщины.

Комсомолка дочь, окончила семилетку, раб‹отает› пом‹ощницей› бр‹игадира› 2 бриг‹ады›. Бабайцева. Комсом‹олка›.
Звягинцев Ив‹ан› Акимович (плем‹янник› Егора).
Учитель Лесников.
Писучие люди.
Заметки газетн‹ые› в поле.

Покуп‹ательная› способность сельпо. Слабо растр‹ачивают?›. 300 т. 3070 р.

33 ‹год› — [ничего].
34 ‹год› — [30 к. авансу на т‹рудо›день, ливень].
35 ‹год› — [до рубля].
‹1 нрзб.› кирпичн‹ый› завод.
40000 кирпича.
Прикрыт в связи ‹с› нед‹остаточной› продуктив‹ностью›.

Занято 8 рабочих.
4000 шт.— 12 дней.
Песок — глина — вода на месте.
Без прод‹уктов?›.
«Не берет чайка».
«Давайте — пропустим».

8 спецов — собрать.
Дорохов.
«Пл‹амя› рев‹олюции›».
«Военизация» колхоза.
Исключ‹ено› 35-40 хоз‹яйств› за неподчинение председ‹ателю›.
Сняли и восст‹ановили›.

«Штрафив у меня нет!»
Вопр‹осы› на молотьбе.
На весь колхоз — 1 коммунист — Дятлов.

Соч‹увствующих› — двое, Бабайцев (завхоз), Зуев.
Канд‹идатов› — нет.
Маш‹инист›-барабанщик Шушлетин, малогр‹амотный›, чистку не прошел. «Сел близко к хлебу».

Баб‹айцев› завхоз — бриг‹адир› — завхоз.

Мы с Сараджи заехали на молотьбу подсолнуха.

Б‹абайцев› — не любит бригаду, обделяет мясом.

Показал Маликов.

4 бригады, 1 *‹1 нрзб.›*, а где жалов‹ались› (там не косили)?

5 ком‹мунистов› в бригаде недовольны завх‹озом› — беспарт‹ийный›.

«Масса 300 чел‹овек› за меня и Бабайцев».

В присутств‹ии› Удивенко и Долгушев‹ского› весеннее собрание в буран, в мятель.

Клен (америк‹анский›), бураки за одно лето.

‹3 нрзб.›

«Ну как там достижения?» —

«Он с кулак, напитывается с каждой зари, с гору станет, будет через неделю. Лишь бы забурел».

Один пшеницу молотил.

Седьмая годовщина.

Договор 150 центн‹еров›.

Не повез — в обоз.

За это обязуется вывезти яровую (рядовую) — 150 центн‹еров› + 50 надб‹авки› за каждый центн‹ер› за нашу яровую чистосортную *(‹1 нрзб.›)*.

Отнош‹ение?› от совх‹оза› о рабсиле.

Не сказано, какое отделение, к кому и куда обращаться.

«А мы бы дали».

Начальник‹?› ворочает пепельницу. (Трое.)

«Скажи по-большев‹истски›: сколько машин за ночь?»

«1 + 3».

«А днем?»

«Установим на профилактику, на просмотр».

Как раньше жили.

Процесс жизни в столетиях.

МТС закрыт‹?› *‹1 нрзб.›*.

‹1 нрзб.› 2 ч‹аса› ночи *‹1 нрзб.›*, на др‹угое› место.

‹1935—1936›

281.

‹ИЗ ЗАПИСЕЙ 1935—1936 гг.›

‹1›

В современной практике глаголы ушли из литературы. К поэзии они имеют лишь косвенное отношение. Роль их чисто служебная: за известную плату они перевозят с места на место. Только в государственных декретах, в военных приказах, в судебных приговорах, в нотариальных актах и в завещательных документах глагол еще живет полной жизнью. Между тем глагол есть прежде всего акт, декрет, указ.

‹2›

Внимание — доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность — увертки лирической лени.

КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

57. Печ. по записи А. В. Звенигородского под диктовку Мандельштама (*АМ*).

63. Печ. по публ.: Шенталинский В. Улица Мандельштама// Огонек, 1990, № 1, с. 19, где дается по авторизованной записи следователя в протоколе допроса Мандельштама 25 мая 1934 г. (Архив КГБ СССР; факсимиле — там же, с. 18). В текст публикации нами внесены исправления: "колючки" вм. "комочки" в ст. 3 — по факсимиле записи и "вызывает" вм. "вызывают" в ст. 7 — по публ. Э. Герштейн (см. ниже). Исправлена также описка в дате ("1932" вм. правильного "1933").

Весьма близкая редакция приведена по памяти в публ.: Герштейн Э. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1990, с. 348 (с разночт. в ст. 8: "Апрельской").

Другой вариант ст-ния по позднейшей записи Н. Я. Мандельштам приведен в Приложении.

65. Печ. по ст.: Герштейн Э. Указ. соч., с. 350—351, с исправлением ст. 28 по поздней записи Н. Я. Мандельштам в *НК*. Варианты ст. 28: в ст. Э. Герштейн "Кулацкому баю"; в *СС-I(2)* "Кулацкому паю".

88. Печ. по автографу из семейного архива М. С. Петровых, с датой "13—14/II‹1934›" и несколько необычной для Мандельштама подписью "М." (воспроизведен на вклейке в *Соч., т. 1*).

98. Печ. по *ВТ*, с.12, с исправл. ст. 7 по *ВС*.

162. Печ. по прижизненной чистовой записи Н. Я. Мандельштам с конъектурой в ст. 12. И. М. Семенко предлагала другую конъектуру: "‹Той› площади". Так же — в публ. Н. Татариновой (Звезда Востока, 1988, № 6, с. 180). В первопубликации (Воздушные пути. Альм. II. Нью-Йорк, 1961, с. 59) и в *СС-I(2)*: "Всей этой площади".

167. Печ. по позднему списку Н. Я. Мандельштам (*АМ*) с исправлением в ст.15 ("лапку" вм. "лапу") по *ТС*.

169. Печ. по *ВТ*, с.99 с поправкой И. М. Семенко в ст. 2.

181. Печ., как и в *Соч., т.1*, по беловому автографу (*АМ*), с датой "30 апреля 1937". В другом беловом автографе (*АМ*; см. фото в *Соч., т.1*, с.255) — с разночт. в ст.5: "слепну и крепну" и датой: "Апрель 1937".

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

191. Впервые — *ИД*, с. 31. Печ. по списку С. Б. Рудакова (*Рудаков*, 16 января 1936). *Халатов, Артемий Багратович (1896 — 1938)* — с 1921 по 1931 — председатель Комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ); в 1927—1932 — председатель Правления Госиздата РСФСР. *ГИХЛ* — Государственное издательство художественной литературы, образованное в 1930 г. на базе литературно-художественного сектора Госиздата РСФСР и издательства "Земля и фабрика" (*ЗИФ*). Об издательстве ЗИФ см. статью Мандельштама и В. Нарбута "«Коминтерн» ЗИФовской периодики" (II, № 283) и коммент. к ней.

193—202. Печ. по статье А. Григорьева [А. Меца] и Н. Петровой [В. Сажина] "Мандельштам на пороге тридцатых годов" (*RL*, 1977, v. V, № 2, с.190—191) с устранением ошибки в написании имени "Моргулис" и исправлением опечатки в ст.1 ст-ния ‹9› по списку Н. Я. Мандельштам (*АИ*).

203—204. По сообщению К. А. Склобовского, уточняющему воспоминания Н. Я. Мандельштам и Э. Г. Герштейн (см. коммент. в *Соч.*, *т.1*), "бабушка" — Анна Михайловна Фельдман, жившая вместе с семьей своей старшей дочери (Е. Л. Каранович) на Большой Молчановке; в их доме бывали О. Э. и Н. Я. Мандельштам, В. Яхонтов, Д. Журавлев и А. и Е. Шварцы. Комната младшей дочери — Н. Л. Фельдман — была сдана Мандельштамам на время ее отъезда с мужем на заработки на Дальний Восток, чтобы на вырученные деньги купить ей шубу. Ввиду безденежья Мандельштам "расплатился" за комнату на Покровке (ныне — ул. Чернышевского, д. 29, кв. 23) стихами.

208—210. Впервые — *ИД*, с. 36—38. Печ. по этой публикации.

211. Полный текст впервые — *ИД*, с. 29—30. Печ. по машинописи воспоминаний О. А. Овчинниковой. Знакомство Ольги Андреевны Овчинниковой (специалиста по криминальной психологии) с Мандельштамом произошло в 1932 г. в санатории "Узкое"; там же были написаны стихи.

212. Возможно, эпиграмма является откликом на стихи, написанные П. Васильевым в подражание ст-нию Мандельштама "Сегодня дурной день..." (I, № 78). Сохранилась авторизованная запись ст-ния П. Васильева, сделанная А. Крученых (*ГЛМ*, ф. 112, оп. 1, д. 3, оф 6757, л. 1):

Пародия на О. Мандельштама

(см. стр. 25, 1911 г., "Стихотворения")

Сегодня дурной день,
У Оси карман пуст.
Сходить в МТП — лень,—
Не ходят же Дант, Пруст.

Жена пристает: дай.
Жене не дает — прочь!
Сосед Доберман — лай,
Кругом Мандельштам, ночь —...
— и т.д.

Дальше забыл.
Пав. Васильев
1933 г.

Запись сделана 30 марта 1935 г.; в подзаголовке ссылка на упомянутое выше ст-ние Мандельштама по сб. *С*. *МТП* — Московское товарищество писателей; в ст.7, очевидно, имеется в виду М. И. Рудерман — сосед Мандельштама по "Дому Герцена" (см. *НМ-II*, с. 95).

217. Русская мысль. 1991. 28 июня (в ст. А. Сотскова "Поэт. Город. Культура"). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам (собр. Ю. Е. Мандельштама).

219. Впервые — *СС-I(2)*, с. 298, под загл. "Марии Сергеевне Петровых"; в СССР (фрагмент, с разночт.) — Тушнова В., Петровых М. Стихотворения /Сост. Л. А. Шилов. М.: Мелодия, 1986 (конверт грампластинки); полностью, по списку (*АПЛ*) — *Соч.*, *т.1*.

220. Печ. по *НМ-I*, с. 216.

224. Впервые — *СС-I(2)*, с. 298, под загл. "В. Пясту" и с разночт. в ст.2: "на пальто"; перепеч.: *ЛУ*, 1987, № 3, с. 150; в *Соч.*, *т.1* — с опечаткой в ст.1 ("на улице"). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам (*АМ*; копия предоставлена А. А. Морозовым). "*Отрывами*" Пяст называл главы своих поэм (см. *НМ-I*, с. 18).

225. Русская мысль. 1991. 28 июня (в ст. А. Сотскова "Поэт. Город. Культура"). Печ. по машинописи с припиской Т. Г. Григорьевой, второй жены Е. Э. Мандельштама: "Сочинено Осипом Эмильевичем на концерте Яши Хейфеца, где я была с ним" (собр. Ю. Е. Мандельштама). О гастролях Я. Хейфеца в СССР весной 1934 г. см. статью И. Ямпольского "Я. Хейфец" (Советская музыка, 1934, № 6, с. 92—94).

ПЕРЕВОДЫ

242—244. Впервые — *ВРСХД*, 1975, т. 115, с. 183—187. В России — Мандельштам О. Указ. соч., с. 381—384. Печ. по *СС-IV*, с. 71—77, с исправл. опечаток. Комментаторами *СС-IV* найден сборник, с которого, вероятно, был сделан перевод: "150 celebri canzoni popolari napolitane per santo e pianoforte colla traduzione italiana. Raccolte del Maestro Vincenzo de Meglio". По воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, в Воронеже Мандельштам "вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом" (*НМ-I*, с. 132).

242. "La Marenarella". В *СС-IV* приведен вариант ст. 23—24: "С солнцем и бурей//Дружен челнок".

243. “La vera sorrentina”. В *СС-IV* приведены варианты ст.3: “В черно-красном, с галунами” и “В лучшем платье появилась”; ст.4: “Всех милее нарядилась”; ст.11: “Где звезда моей удачи”; ст.20: “Говорит: при чем здесь я?” и “Ускользает как змея”; ст.35—36: “Горе мне — не видно суши,//С маяка звонят все глуше”; ст.40: “Не скучает без меня” и “Равнодушна, смерть *моя*”.

244. “Cannetella”.

ПРОЗА

245. Печ. по *Соч., т.2*, с. 88—99. См. коммент. там же, с. 412—420.

246. Печ. по *Соч., т.2*, с. 100—132. См. коммент. там же, с. 421—434.

247. За коммунистическое просвещение, 1932, 21 апреля, с. 3. См. также Приложение, №275.

“*Путешествие на Бигле*” — книга Ч. Дарвина “Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»” (1839).

Кювье, Жорж (1769—1832) — французский натуралист, анатом и палеонтолог; разработал принцип “коррекции частей организма”, позволяющий судить о целом по его части.

248. *СС-II (1-е изд.)* с. 402—452. В СССР — *РД*. Авт. рукопись неизвестна. Два прижизненных списка ранних редакций — *ИРЛИ*, ф.630 (Изд-во писателей в Ленинграде), оп.1, ед. хр. 125, список рукой Н. Я. Мандельштам, датируемый летом 1933 г., и ф.803 (С. Б. Рудакова), оп.1, ед. хр. 26, авториз. список рукой С. Б. Рудакова с датой: 7 июня 1936 г. Списки рукой Н. Я. Мандельштам — *АИ* и *АМ*. Черновики и подготовит. записи — *АМ* (см. Приложения). Печ. по *СК*, где с небольшими исправлениями дается по тексту *РД*, восходящему к авториз. машинописи 1933 г. (собр. Н. И. Харджиева). Цитаты из Данте сверены по изд.: Tutte le opere di Dante Alighieri. Nuovamente rivedute nel testo dal E. Moore. Compilato dal P. Toynbee. 3 ed. Oxford, 1904 (находилось в личной библиотеке Мандельштама). Переводы иностранных текстов выполнены Н. В. Котрелевым.

“Разговор о Данте” был написан весной 1933 г. в Старом Крыму и Коктебеле. Там же Мандельштам читал его А. Белому и А. Мариенгофу, а осенью и зимой В. Жирмунскому, Ю. Тынянову, А. Ахматовой, Б. Лившицу — в Ленинграде, Б. Пастернаку и В. Татлину — в Москве. Тогда же рукопись “*РД*” “...была переведена в «Звезду», и очень скоро выяснилось, что печатать ее не будут. То же в Сов. пис. ‹Изд-во писателей в Ленинграде. — *Комм.*›” (из письма Н. Я. Мандельштам Л. Е. Пинскому, лето 1966 г. — цит. по *СК*, с. 291). См. также письмо Мандельштама в это изд-во от 3 сентября 1933 г.: “Прошу вернуть Л. М. Варковицкой рукопись «Разговора о Данте», отклоненную издательством” (*ГБЛ*, ф.729, к.6, ед. хр. 15). По свидетельству Э. Г. Герштейн, “рукопись *РД*, переданная

Мандельштамом в Госиздат, была возвращена ему после прочтения ее Дживелеговым без единого полемического замечания, но со множеством вопросительных знаков на полях" (Наше наследие, 1989, № 5, с. 114). Ахматова вспоминает о встрече с Мандельштамом в 1933 г.: "...Осип весь горел Дантом: он только что выучил итальянский яз‹ык›. Читал «Бож‹ественную› ком‹едию›» днем и ночью. ‹...› Потом мы часто читали вместе Данта". (Лямкина Е. И. Вдохновение, мастерство, труд (Записные книжки А. А. Ахматовой)//Встречи с прошлым. М., 1978, вып. 3, с. 414). В настоящее время "РД" переведен на все основные европейские языки, а его автор включен в словник "Encyclopedia dantesca", Roma, 1971, v. III, p. 860.

"Сравнивая этюд о великом итальянце со статьями 10-х или 20-х гг.,— пишет Л. Е. Пинский,— мы убеждаемся в изумительной органичности и принципиальности эстетических позиций О. Мандельштама на протяжении более чем двух десятилетий, таких бурных в истории русской и мировой поэзии. В статьях назревало то единое для всего его творчества понимание поэтического слова, которое под конец жизни выкристаллизовалось в очерке о любимом поэте, своего рода ars poetica О. Мандельштама. ‹...› Мысль Мандельштама, плод глубокого переживания от заново прочитанной «Комедии», развивается одновременно в нескольких планах — дантологическом, общетеоретическом и программно-личном. Прежде всего это новый разговор о Данте, новый подход, в принципе отличный от академического..." (*РД*, с. 59—60). Ср. также в письмах С. Б. Рудакова: "Занимаюсь «Разговором о Данте» (собственно «о Мандельштаме», т.е. Данта там нет — очень мало, если есть)" (*Рудаков*, 22 марта 1936); "Все с 1930 года по воронежские стихи включительно, все стиховое было вокруг «Разговора о Данте», причем до него или после него, но все смотрело на него. Или в Данте оправдываются готовые стихи, или стихи последующие его распространяют и оправдывают. Это «Разговор» о вас ‹т.е. о Мандельштаме. — *Комм.*›. Т.е. все, что вы думаете теоретически, вы изложили в порядке доказательств того, что Данте «хороший», «настоящий» (я упрощаю, но это значит, что Дант и есть поэзия), по смыслу же это было обсуждение вашей практики... Вам нужна была структурированность. Подошли бы и естествознание, и математика, и архитектура..." (*Рудаков*, 3 апреля 1936). См. также примечания А. А. Морозова (*РД*, с. 71—84).

К гл. 1:

Поэтическая речь есть скрещенный процесс... — центральное в концепции Мандельштама определение поэтической речи (см. послесл. Л. Е. Пинского — *РД*, с. 62).

...привело бы к издевательству над законом тождества... Ср. в статье "Утро акмеизма" (I, № 250).

...не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу... О структурном изоморфизме природы и поэзии у Мандельштама см.: Левин Ю. Заметки к

"Разговору о Данте" О. Мандельштама//International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1972, v. XV, p. 187—190.

...там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, ‹...› *поэзия, так сказать, не ночевала.* Ср. высказывание Мандельштама 1925—1926 гг.: "Поэтическое пространство и поэтическая вещь четырехмерны — нехорошо, когда в стихи попадают трехмерные вещи внешнего мира, то есть когда стихи о п и с ы в а ю т ..." (Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982, с. 353). См. также: Баткин Л. Данте в восприятии русского поэта//Средние века. М., 1972, вып. 35, с. 285).

Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Ср. черновой фрагм. ‹1› (Приложения).

"...Эти обнаженные и лоснящиеся борцы..." — цитата из "Ада", XVI, ст. 22—24.

...современное кино с его метаморфозой ленточного глиста... Ср. в шуточном наброске "Я пишу сценарий" (1927): "Кино — не литература. Надо мыслить кадрами" (II, № 237).

Качество поэзии определяется... — см. черновую запись ‹2›.

Великолепен стихотворный голод... Первонач. редакция этого эпизода — фрагм. ‹3›; в списке *ИРЛИ* (ф. 630) этим текстом открывается *"РД"*.

Когда понадобилось начертать окружность времени... Ср. черновой фрагм. ‹4›.

К гл. II:

Кто говорит — Дант скульптурен... По-видимому, подразумевается А. К. Дживелегов. Ср.: "...скульптура чудесно передает фигуры Данте. Но не живопись" (Дживелегов А. К. Данте Алигиери. М., 1933, с. 170).

...прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. См. черновой фрагм. ‹17›.

...учитель моложе ученика, потому что "бегает быстрее". См. "Ад", XV; ср. черновую запись ‹5›, а также ст-ние Мандельштама "Новеллино" (III, № 49а).

Аверроэс (Ибн Рушд) (1126—1198) — арабский философ и врач, труды которого оказали большое влияние на Данте (см., например, дантовский "Пир"). Данте помещает его в Лимб вместе с душами некрещеных младенцев и античных праведников и мудрецов ("Ад", IV).

И вот читая песни Данта ‹...› *в тембре канонады.* Далее в черновике следует фрагм. ‹6›.

Если бы физик, разложивший атомное ядро... См. черновую запись ‹7›.

Если б мы научились слышать Данта... См. черновую запись ‹8›.

Разговор здесь необходим, как факелы в пещере. Далее в черновике следует фрагм. ‹9›.

И вот мы видим, что диалог ‹...› *категорийно, категорично, авторитарно.* Далее в черновике следует фрагм. ‹10›.

"Этот люд, уложенный в приоткрытые гроба, дозволено будет ли мне

увидеть?.." Далее в черновике следует фрагм. ‹11›; см. также ‹12› и ‹13› — черновые записи к анализу песни X "Ада".

Фарината дельи Уберти (нач. 1200-х—1261) — глава флорентийских гибеллинов, партии сторонников империи.

Гвидо Кавальканти (ок. 1259—1300) — итальянский поэт и философ, флорентийский гвельф (сторонник власти папства), ближайший друг Данте.

Все полезные сведенья энциклопедического характера... В черновике этой фразе предшествовал фрагм. ‹14›.

Тень, пугающая детей и старух... Ср. в "Жизни Данте" Дж. Боккаччо (в кн.: Боккаччо Дж. Малые произведения. Л., 1975, с. 546—547).

...фонетический свет выключен. Тени сизые смесились. Очевидно, отголосок прочтения Мандельштамом статьи С. И. Бернштейна "Опыт анализа «словесной инструментовки» (1-я строфа стихотворения Тютчева «Сумерки»)"//Поэтика. Л., 1929, т. 5, с. 156—192.

Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны... Один из основных принципов ассоциативной поэтики Мандельштама, с которым непосредственно связаны принцип семантического сцепления слов в контексте стихотворения или поэтической книги (см. статью Л. Я. Гинзбург "Поэтика ассоциаций" в ее кн. "О лирике". Л., 1974, с. 354—397, а также в зап. книжках А. Ахматовой: "Осип ‹...› начал проповедовать систему «знакомства слов». Он так и говорил: «Надо знакомить слова друг с другом»..." (Лямкина Е. И. Указ соч., с. 413).

У Данта не одна форма, но множество форм. См. фрагм. ‹15› и ‹16›.

...форма выжимается из содержания-концепции... Ср. в ст-нии Пастернака "Что почек, что клейких заплывших огарков..." (1914): "Поэзия! Греческой губкой в присосках//Будь ты ‹...›//А ночью, поэзия, я тебя выжму//Во здравие жадной бумаги". См. также: Пастернак Б. Несколько положений//Альм. "Современник", 1922, № 1.

Литературная критика подошла бы к методу живой медицины. В черновике далее следует фрагм. ‹17›, часть которого, обозначенная отточием, использована в основном тексте: "Non fece al corso ‹...› (звукоподражательное словечко — «треск»)".

К гл. III:

Дантовские творения никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны. Ср. фрагм. ‹35›.

К гл. IV:

"*Тень Данта с профилем орлиным...*" — из ст-ния Блока "Равенна" (1909); см. черн. запись ‹18›.

У меня перед глазами фотография с миниатюры... См. в каталоге: Volkman L. Iconografia dantesca. Leipzig, 1897, S. 26 (упомянутая миниатюра относится к 1400 г.).

Шпенглер, посвятивший Данту превосходные страницы... См.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М.— Пг., 1923.

Чисто исторический подход к Данту так же неудовлетворителен, как политический или богословский. "Сам Данте в письме к Кангранде говорит о четырех смыслах своей поэмы: буквальном, аллегорическом, моральном и анагогическом (то есть мистико-богословском)" (Пинский Л. Послесловие//*РД*, с. 63). В не вошедшей в *РД* части своего послесловия Л. Е. Пинский развил и применил тот же принцип для характеристики этюда Мандельштама: "Дантологический план — это буквальный, частный и низший, план статьи; теория поэтической речи — общий и низший ‹соответствует моральному плану.—*Комм.*›. Мандельштаму, как и читателю, важнее был третий ‹аллегорический.— *Комм.*› план — автокомментаторский (личный) и высший. За ним проступает наиболее важный (соответствующий анагогическому) план — вопрос о судьбе поэзии, о ее спасении, о выходе из переживаемого в наше время во всем мире кризиса поэзии,— программно-полемический — общий и высший — план этюда" (*СК*, с. 294—295); ср. также: Баткин Л. Указ. соч. с. 285.

Образное мышление ‹...› обращаемость или обратимость. В черновике далее следует фрагм. ‹19›.

К гл. V:

...Вся "Divina Commedia", как было уже сказано, является вопросником и ответником... Мандельштам имеет в виду оставшийся в черновиках фрагм. ‹20›.

Гераклитова метафора — от афоризма Гераклита Эфесского: "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку".

...наше искусствоведенье, рабствующее перед синтаксическим мышлением, бессильно перед ним. В *РД*: "...бессильно перед ними". Исправлено по списку С. Б. Рудакова в соответствии с правкой Мандельштама.

"*Далековатость" (выражение Ломоносова)...* Вдова поэта писала Л. Е. Пинскому: "Термин Ломоносова «далековатость» — напомнил Белый. Он недавно закончил книгу о Гоголе и, слушая ‹Разговор о Данте.—*Комм.*›, сводил схожие места. Вероятно, их много" (*СК*, с. 295); см. также фрагм. ‹17›.

...Атлантика всасывает Одиссея, проглатывает его деревянный корабль. Далее в черновике следует фрагм. ‹21›.

Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. В способности Данте "говорить с читателем XX века как живой с живым — на языке поэтического слова" Л. Е. Пинский видит один из важнейших аргументов Мандельштама "против аллегорического метода", против "невежественного культа" мистики и "таинственности" Данте, а тем самым против интерпретации поэтичности поэмы в духе "скульптурности" (*РД*, с. 61). По мысли Пинского, "«Разговор с Данте»— в какой-то мере еще и разговор ‹...› против символизма с его установкой на аллегоричность и мистическую двуплановость, при которой поэтическое слово подчинено слову мистическому. Символизму и его «соборному» принципу противостоит

классическая поэтика акмеизма, основывающаяся на принципах «отбора» и обмирщения поэтической речи" (*СК*, с. 295).

Песнь двадцать шестая <...> не разбирает того, что вблизи. Этот фрагм. в списке С. Б. Рудакова заключен в квадратные скобки.

"*уступчивостью речи русской*" — из ст-ния Цветаевой "Над синевою подмосковных рощ..." (1916).

К гл. VI:

...как свежая газета, как настоящий экстренный выпуск. Ср. в статье "Огюст Барбье": "«Божественная комедия» была для своего времени величайшим политическим памфлетом" (II, № 196).

...хриплый бас экзаменатора и дребезжащий голосок бакалавра. Далее в черновике следует фрагм. <22>.

...эксперименте со свечой и тремя зеркалами... См. "Рай", II.

...Дант угадывает слоистое строение сетчатки... См. "Рай", XXVI.

...переселяешься на действенное поле поэтической материи... Сквозное для этюда уподобление поэзии силовому потоку, полю с его континуально-волновой природой (см., например, фрагм. <7>), связано с некоторыми современными Мандельштаму теоретическими достижениями физики и, в особенности, биологии и углубляет естественнонаучную проблематику в прозе Мандельштама.

...усадить его за своеобразным кирпотинским табльдотом... Кирпотин, Валерий Яковлевич (1898—1990) — советский литературовед, критик, в 1930-е гг. входил в редколлегию журнала "Литературная учеба".

К гл. VII:

...достигшие драматической оперной зрелости, как, например, знаменитая кантилена Франчески. См. "Ад", V.

Уголино делла Герардеска — глава Пизанской республики. *Ансельмуччио* — внук Уголино (у Данте назван сыном).

К гл. VIII:

Так хочется сказать о звуковом колорите тридцать второй песни "Inferno". См. черновой фрагм. <23>.

К гл. IX:

Inferno — это ломбард... Ср. фрагм. <26>.

...только живопись, притом новая, французская, еще не перестала слышать Данте. См. гл. "Французы" в "*ПА*".

Мы описываем как раз <...> намеренья и амплитудные колебанья. В списке С. Б. Рудакова — "амплитуды колебания". К этому месту относится, по-видимому, черновой фрагм. <24>.

К гл. X:

Задолго до азбуки цветов Артура Рэмбо... Имеется в виду сонет А. Рембо "Гласные" (1883).

К гл. XI:

...камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Ср. "Грифельную оду" (II, № 13) и черновой фрагм. <28>.

15-840

Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу... Имеется в виду роман Новалиса "Генрих фон Офтердинген", гл. 5.

...Гомер ‹...› в сообществе Виргилия, Горация и Лукиана... Неточность: возвращающегося в Лимб Вергилия приветствуют Гомер, Гораций, Овидий и Лукан — четыре наиболее выдающихся, в представлении Данте, поэта древности ("Ад", IV). Поэма Лукана "Фарсалия, или О гражданской войне" — один из важных источников "Божественной Комедии".

Показателями стояния времени... В списке С. Б. Рудакова: "Показателями строения времени..."

...определить метафору можно только метафорически... См. черновой фрагм. ‹25›.

..."уличная" песнь "Чистилища"... — песнь VI; в ней упоминаются флорентийцы *Марцукко Скорниджани*, проявивший необычную силу духа и простивший убийцу своего сына, и *Пьетро де ла Брочья* (Пьер де ла Брос) — придворный французского короля Филиппа III Смелого, казненного по навету *"брабантки"* — королевы Марии Брабантской; ср. черновой фрагм. ‹32›.

...как альциона, вьющаяся за батюшковским кораблем. См. ст-ние Батюшкова "Тень друга" (1814).

Говоря о Данте, правильнее иметь в виду порывообразование, а не формообразование... Далее в черновике следовали фрагм. ‹26› и ‹27›.

Предметом науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненности порыва и текста. См. черновую запись ‹36›.

249. Подьем (Воронеж), 1935, № 1, с. 129—131, подписано: "М.".

Рец. на кн.: Дагестанская антология: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, тюрки, таты, ногайцы /Составил и комментировал Эффенди Капиев. М.: ГИХЛ, 1934.

250. Подьем (Воронеж), 1935, № 5, с. 76—78.

Рец. на кн.: Стихи о метро: Сборник литкружковцев Метростроя. М.: ГИХЛ, 1935. Работа над этой рецензией шла в 20-х числах июня 1935 г.

В одном из писем к жене Рудаков привел "Материалы к рецензии", являющиеся, по-видимому, его собственным наброском рецензии на этот же сборник: "Историческая аналогия: космисты после Октября работали под символистов, говоря о новом (по-старому). Сейчас — задание общехудожественное: метод социалистического реализма. А для этих (имярек) начинающих авторов образцами служат третьи отражения Багрицкого и Тихонова через Смелякова, Корнилова и всех других. Беда в том, что авторы, имеющие полноценный жизненый (внелитературный) опыт — переносят насущную тематику (метро) в литературу в готовом, олитературенном виде. Это не из обычных упреков начинающим в подражательности, ученичестве. Это указание на то, что с е й ч а с советская поэзия нуждается в полном

внутреннем перевооружении, что благополучное следование даже за недавними удачами дела не решит. Надо говорить не о метро, а методом метро, не о энергии, а с энергией, не о радости, а с радостью...

Механистически (формально) понятая задача решается так: обычные стихи украшаются терминами обихода метростроителей и строками о радости свершения.

Нужно органически распределить это новое и общепоэтическое (старое). Органически — значит так, чтобы вещи сами по себе специфичные для метро (специфичные не только для метро) звучали как единственно нужные здесь, в этом месте стиха, чтоб они были не только в теме, зачине ‹?› стиха, но в его словесно донесенной до читателя сущности; характерны отдельные удачи.

(Дальше конкретный анализ: цитатно, с разнесением его по всему тексту в нужные места. Обратить внимание на деление книги на два отдела... 1 — спец‹иальный› (метро, термины), 2 — общий (любовь, учеба). Ранние мысли, которые явятся по ходу действия—)

Он ‹Мандельштам? — *Комм.*› на это сказал: Так писать нельзя. Правду можно сказать — еще жестче, а ‹так› нельзя.

Я: это правда, и такая нам нужна: жестче — будет просто руготня" (*Рудаков*, 20 июня 1935).

251. Подъем (Воронеж), 1935, № 5, с. 78—82. Печ. с исправлениями неточностей в стихотворных цитатах и подзаголовке сборника.

Рец. на кн.: Санников Г. Восток: Стихи и поэмы 1925—1934. М.: ГИХЛ, 1935. Работа над рецензией шла во второй декаде июня 1935 г. 15 июня Рудаков писал жене: "Оська пишет рецензию на навозного Санникова и хвалит его (из уважения к Белому, кот‹орый› его хвалил), а я говорю: вы обычно ругаете хорошее, а это первый случай, что хвалите плохое. Он злится..." (*Рудаков*, 15 июня 1935). Он же передает разговор Мандельштама с М. М. Подобедовым, возглавлявшим редакцию "Подъема": "...Подобедов красноречиво вынул из кармана желтенький «Восток» и сказал О. Э-чу: «Какая пакость — и печатает Москва». О. Э.— ему: «Я не могу ругать у него все огульно». На пути с кладбища ‹в этот день хоронили жену П. И. Калецкого.— *Комм.*› О. Э. ‹...›: «Задал я работы Подобедову — читает Санникова». На мои общие (не формулированные) возражения, начиная кипятиться: «Что за чистоплюйство! Мы не можем из книжки в 1000 стихов выбрать 300 прекрасных; хотим, чтобы была гладенькая, обструганная книга. Я не могу так швыряться поэтами, отмежевываться...»" (*Рудаков*, 20 июня 1935; далее — описание разговора, в котором Мандельштам предпочел Санникова Багрицкому).

Санников, Григорий Александрович (1899—1969) — советский поэт, много писал о достижениях социалистического строительства. Благожелательное отношение к нему Мандельштама частично объясняется благорасположением к Санникову и А. Белого, написавшего о нем статью.

15*

Поэма "Египтяне". Имеется в виду стихотворный роман Г. Санникова "В гостях у египтян".

252. Подъем (Воронеж), 1935, № 6, с. 109—111, подписано: "О. М.".

Рец. на кн.: Адалис А. Власть: Стихи. М.: Сов. писатель, 1934. Печ. с исправлениями неточностей в стихотворных цитатах.

Адалис (Ефрон), Аделина Ефимовна (1900—1969) — поэтесса и переводчица, в 1922 г. Мандельштам одобрительно отозвался о ней в статье "Литературная Москва" (II, № 186).

"Так дико я близок..." — из ст-ния Адалис "Элегия".

"Дитя не вернется в утробу..." и *"Нам голос умершего друга..."* — из ст-ния Адалис "Ода гордости".

253. Подъем (Воронеж), 1935, № 6, с. 111—113, подписано: "О. М.".

Рец. на кн.: Тарловский М. Рождение родины. М.: ГИХЛ, 1935.

Тарловский, Марк Аркадьевич (1904—1954) — поэт и переводчик; в 30-е гг. был дружен с А. Штейнбергом, С. Липкиным, М. Петровых, А. Тарковским, боготворил стихи Мандельштама и, возможно, был воспринят последним как эпигон. Сборнику "Рождение родины" предшествовало два других: "Иронический сад" (1928) и "Бумеранг" (1931). Поздние стихи М. Тарловского при его жизни не печатались и только сейчас доходят до читателя.

254. Впервые: *СС-III*, с. 61—80, под загл. "Юность Гете". В СССР — Театр, 1989, № 12, с. 3—14 (публ. С. Василенко и Ю. Фрейдина), где дано по сохранившейся (неполной) машинописи с правкой (*АМ*). Черновые наброски — *АМ* (см. Приложения, № 279). Некоторые проблемы текстологии радиокомпозиции рассмотрены в статье: Алексеева Е.В. Радиопередача О. Э. и Н. Я. Мандельштам "Молодость Гете"// Осип Мандельштам: Поэтика и текстология: Материалы научной конференции 27-29 декабря 1991 г. М., 1991, с. 100-103. К сожалению, выделение фрагментов, относящихся к разным редакциям текста, в настоящем издании осуществить не удалось. Печ. по журн. "Театр"; здесь и ниже (№№ 272, 278—280) в тексты внесены некоторые уточнения по указаниям авторов публикаций. Утраченные фрагменты отмечены отточием в угловых скобках (наиболее существенными из них являются пропуски одной страницы на стыке первого и второго эпизодов, трех страниц на стыке седьмого и восьмого эпизодов и одной — в эпизоде девятом). В тексте радиокомпозиции Мандельштам цитирует стихи Гете в своем переводе и в переводе Тютчева, а также собственные стихотворения: "Аббат" (I, №155) — в эпизоде пятом, и одно из "Восьмистиший" (III, № 74) — в эпизоде седьмом.

Находясь в Воронеже, Мандельштам сотрудничал с местным Радиокомитетом, выполняя заказы на радиоинсценировки или пьесы. Из всех подготовленных к эфиру материалов сохранилась только "Молодость Гете". Работа над ней шла в мае—июне 1935 г. Ср. четверостишие "Римских ночей полновесные слитки..." (III, № 113).

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ (Ранние редакции и варианты)

4а-г. Ранняя и промежуточные редакции ст-ния "Ты красок себе пожелала...", из которого впоследствии вырос цикл "Армения",— автографы и списки (*АМ*). Печ. по статье И. М. Семенко "Ранние редакции и варианты цикла «Армения»" (*Семенко*, с. 36—52).

(3—14)а. Черновые наброски — автографы (*АМ*). Печ. по *Семенко*, с. 52—55.

19а. Ранняя редакция — автограф (*АЗ*).

19б. Зачеркнутые варианты строф 3 и 4 — черновой автограф (*АМ*).

21а. Первоначальный вариант — беловой автограф (*АЗ*) с последующей правкой, приводящей к окончательной редакции.

22а. Соответствует основному тексту, но с исключением последней строфы — список(*НК*). Есть немало свидетельств колебаний поэта в вопросе о том, оставлять ее или отбросить (см., напр., *Соч.*, *т. 1*, с. 507).

29а—в. Вариант зачина и две промежуточные редакции — автограф (*АМ*). Печ. по статье И. М. Семенко "За гремучую доблесть грядущих веков..." (*Семенко*, с. 56—67).

29г. Варианты заключительной строфы, последовательно сменявшие друг друга, — автограф (*АМ*). Печ. по *Семенко*, с. 66—67. Финальная строка не устраивала поэта, и он склонялся к тому, чтобы отказаться от строфы в целом (Герштейн Э. Г. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986, с. 39—40), — пока, наконец, в Воронеже, в конце 1935 г. не нашел окончательный вариант.

30а. Отброшенная строфа — Липкин С. Угль, пылающий огнем. М., 1991, с. 19 (по памяти).

34а. Ранняя редакция — авторизованный список (*АМ*). Печ. по *БП*, с. 154—155, 289.

35а. Набросок — автограф на обороте черновика ст- ния III, № 36 (*АМ*). См. также редакции ст. 13—14 в *Соч.*, *т. 1*, с. 513.

37а. Ранняя редакция (по мнению И. М. Семенко — основная) — авториз. машинопись с датой и правкой в строфе 1 (*АМ*).

41а. Первоначальная редакция — авториз. список (*АМ*).

41б. Вариант — машинопись (*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1 об.— 2). Начало ст-ния совпадает со строфой 2 в III, № 39.

44а. Первоначальная редакция — автограф (*АЗ*). Заключительная часть (начиная со ст. "Какое лето! Молодых рабочих...") как отдельное ст-ние — см. *БП*, № 157.

45а. Вариант — Новый мир, 1932, № 4, с. 166.

45б. Вариант — *ВС* (в текстологии И. М. Семенко).

49а. Первоначальная редакция — *ВС*. Другой вариант заглавия — "Фло-

рентийцы". "В Воронеже О. М. решил выбросить первые две строфы «Новеллино» и заменить их стихами о старике, который бегает быстрее, потому что он больше знает, а от основного стихотворения оставить только две последних" (*НМ-III*, с. 173). И. М. Семенко записала со слов Н. Я. Мандельштам, что в своем первоначальном виде ст-ние "исторично" и повествовательно. "*Новеллино*" — анонимный сборник рассказов XII—XIV вв., один из памятников итальянской средневековой литературы, воспроизводящий бродячие сюжеты.

52а. Первоначальная редакция — черновой автограф (*АМ*). Н. И. Харджиев в *БП* указывает на автограф и авториз. список промежуточных редакций, текст которых нам неизвестен.

52б. Заключительная строфа, вписанная в черновой автограф в Воронеже (*НМ-III*, с. 175). См. также *БП*, с. 292.

55а. Первоначальная редакция — беловой автограф (*АМ*). В другом авториз. списке (*АМ*) — вариант ст. 5—6:

[У Некрасова тележка
На торговой мостовой.]

58а. Ранняя редакция — авториз. список (*АМ*). Последующие варианты строфы 6:

‹1› Дурнушка-жизнь и даже смерть-неряха
Лишь новизной [своей] берут первостатейной
И прямо в гроб — с виньетки альманаха
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

‹2› Не потому ль, что даже смерть-неряха
Лишь новизной сильна первостатейной
И прямо в гроб ступеньками без страха —
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

В машинописи с правкой (*АМ*) ранняя редакция имеет заглавие "Бог Нахтигаль".

63а. Наиболее известная редакция — поздняя (50-е годы) запись Н. Я. Мандельштам в *НК*. Впервые: Мосты (Мюнхен), 1963, кн. 10, с. 157—158; в СССР — *ДН*, 1987, № 8, с. 136.

64а. Наиболее известная редакция, считавшаяся основной до обнародования автографа, записанного Мандельштамом во время допроса на Лубянке (Московские новости, 1989, 9 апреля, с. 16). Впервые: Мосты (Мюнхен), 1963, кн. 10, с. 159, по списку Ю. Г. Оксмана. В СССР — в многотиражной газете МАДИ "За автомобильно-дорожные кадры", 1988, 7 января. Печ. по текстологии И. М. Семенко.

Известен также вариант ст. 3—4 (*НМ-I*, с. 29):

Только слышно кремлевского горца —
Душегубца и мужикоборца.

79а,б; 80а,б; 81а; 82а—г. Свод первоначальных и промежуточных редакций вольных переводов сонетов Петрарки, над которыми Мандельштам "...работал дольше, чем над другими стихами,— массы вариантов, и притом на бумаге — в черновиках. Иначе говоря, он чему-то на них, как мне кажется, учился" (*НМ-III*, с. 193). Подробнее см. в статьях И. М. Семенко "Мандельштам — переводчик Петрарки" (*ВЛ*, 1970, № 10, с. 154—168) и "Мандельштам в работе над переводами сонетов Петрарки (по черновикам)" (*Семенко*, с. 68—96). Печ. по *Семенко.*

83а. Варианты отдельных строф — черновые записи (*АМ*). Печ. по *Семенко*, с. 101.

(84—87)а. Ранний вариант — автограф (архив П. Н. Зайцева). Печ. по ст.: Зайцев П. Московские встречи//Андрей Белый. Проблемы творчества. М.: Сов. писатель, 1988, с. 590—591.

(84—87)б,в. Редакции, фиксирующие этапы работы над циклом памяти А. Белого — авториз. списки (*АМ*). Подробнее об этой эволюции см. в статье И. М. Семенко "Стихи Андрею Белому" (*Семенко*, с. 97—101).

(84—87)г. Редакция, фиксирующая, по-видимому, стадию отказа от цикла. Печ. по *БП*, № 174 (где дано по автографу из собр. Н. И. Харджиева), заглавие и посвящение — по машинописи той же редакции (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 4686, л. 1—2).

(84—87)д,е. Варианты, выведенные из состава цикла, согласно позднему указанию Н. Я. Мандельштам (*Семенко*, с. 98). Неавторский текст в варианте (84—87)е — конъектура И. М. Семенко.

88а. Вариант — список Э. Г. Бабаева (*ТС*); текст в угловых скобках в ст. 21 — рукой Н. Я. Мандельштам. Вероятно, это своеобразная "автоцензурная" редакция: диктуя стихи жене, поэт, предположительно, "приглушил" любовную линию этого ст-ния (характерно, что другое ст-ние, посвященное М. С. Петровых, — III, № 89 — он ей даже не решился сообщить).

94а. Одна из ранних редакций — автограф (собр. М. Б. Горнунга).

100а. Вариант или первоначальная редакция — список (*ТС*).

101а. Первоначальная редакция — беловой автограф (*АМ*). В примечаниях к *БП* упомянут также авториз. список промежуточной редакции (рукой С. Б. Рудакова), с датой "18 мая 1935 г.", текст которого нам неизвестен.

103а. Первоначальная редакция — автограф (*АМ*).

108а. Ранняя редакция — список (*СМ*) с неточной датой: "июнь 1934".

108б. Цензурная (?) редакция (см. *НМ-III*, с. 205) — отдельная запись строфы 2, с измененной концовкой (*АМ*, а также *СМ*).

119а. Вариант — списки (*АМ*, *АЧ* и *СП*). Дата (рукой О. Мандельштама) — по списку *АМ*.

119б. Вариант — списки (*АМ* и *СП*).

119в. Вариант — список (*СП*).

120а. Первоначальная редакция (соответствует ст. 1—7 окончательного текста) — список (*СП*).

121а. Первоначальная редакция — список (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 222.

121б. Промежуточная редакция строфы 3 (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 223.

(123, 124)а. Промежуточная редакция — список Н. Я. Мандельштам (*СП*).

(123, 124)б. Наброски и варианты заключительной строфы № 123 — автограф на полях авториз. списка "первоначальной редакции" (*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 7—7об.).

125а. Первоначальная редакция (в письме Н. Я. Мандельштам к К. И. Чуковскому). Печ. по *Слово*, с. 44—45, где дано по *АЧ*.

130а. Первоначальная редакция — автограф (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 226—227.

130б,в. Варианты — списки (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 228.

(138, 139)а,б. Первоначальная и промежуточная редакции — списки рукой Н. Штемпель (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 235.

143а. Редакция, от основной отличающаяся только заключительной строкой. По мнению Н. Я. Мандельштам, является цензурной. Печ. по *ВТ*, с. 60, с поправкой в ст. 2, сделанной И. М. Семенко.

146а. Набросок заключительной строфы — авториз. список, без учета правки (*АМ*).

146б. Позднейший вариант заключительной строфы — авториз. список, с учетом правки (*АМ*).

146в. Первоначальная редакция (соответствует строфам 3—7 основного текста) — список (*АМ*).

147а. Первоначальная редакция, "отпочковавшаяся", по всей видимости, от наброска № 146а — автограф (*АМ*).

151а. Первоначальная редакция — авториз. список (*АМ*). Печ. по *НМ-III*, с. 239.

154а. Вариант — поздний список Н. Я. Мандельштам, считавшей, что прижизненные источники текста с "будить" носили цензурный характер. Печ. по *Ю*, 1987, № 7, с. 76 (публ. С. Василенко и Ю. Фрейдина), где дано по этому списку.

164а. Редакция ‹I› — список Н. Я. Мандельштам, без учета правки (*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 5). Фото рукописи — *Соч., т. 1*, с. 243.

164б. Редакция ‹II› — тот же источник, с учетом правки.

164в. Редакция ‹III› — автограф (*АМ*). Дата: 3 марта 1937 г. Выделяется также редакция ‹IIIA›, с датой "2—7 марта 1937 г.", отличающаяся от редакции ‹III› заменой в ст. 19: вместо "на подошве" — "на сетчатке" и

заменой ст. 24—27 строфой, привносящей мотив черепа — один из ключевых в окончательной редакции:

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

164г. Редакция ‹IV› — список Н. Я. Мандельштам, с датой "2—10 марта 1937" (*АМ*). Список той же редакции — *СМ*. Этот вариант Мандельштам послал в журнал "Знамя", куда ранее отправлял одну из предыдущих редакций (*ЦГАЛИ*, ф. 618, оп. 1, ед. хр. 101, л. 146—148).

Существуют еще два промежуточных варианта — ‹IVА› и ‹IVБ› — см. *Соч.*, *т. 1*, с. 563. Попытку реконструкции редакции ‹IVА› см. в *НМ-III*, с. 252—256.

164д. Редакция ‹V› — список Н. Я. Мандельштам (*СМ*).

Существует еще редакция ‹VА›, отличающаяся от основного текста лишь порядком строф в ст. 32—47 (сначала 40—47, затем — 36—39, 40—43 и 32—35) — список, с датой "2—15 марта 1937 г." (*ТС*).

164е. Редакция ‹VI› — список Н. Я. Мандельштам с датой "27‹2—7(?)› марта — 5 апреля 1937", без учета авторской правки.

164ж. Редакция ‹VII› — то же, с учетом авторской правки.

170а. Первоначальная редакция — автограф (*АМ*). Строфа ‹1› в ином прочтении приведена в *БП*, с. 304.

174а. Вариант, который Н. Я. Мандельштам считала основным (см. *НМ-III*, с. 262).

177а. Первоначальная редакция с вариантом строфы 3 — авториз. список (*АМ*).

177б. Редакция, которую Н. Я. Мандельштам считала основной (см. *НМ-III*, с. 259—260). Печ. по *БП*, № 218, где дано по авториз. списку (*АМ*).

188а. Редакция, реконструируемая при подстановке в основной текст авторских(?) подстрочных вариантов слов в ст. 9, 10 и 12 — список С. Б. Рудакова (*ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1).

СТРОКИ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ УТЕРЯННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

255. См. коммент. к № 271 ‹3›.

256—268. См. *Соч.*, *т.1*, с. 437—440. Фрагмент "Там уж скоро третий год..." из корпуса исключен (он является частью ст-ния № 151а).

ПРОЗА

(Внутренние рецензии, варианты, неоконченное)

269. *СС-III*, с. 84—86; в СССР — *Слово*, с. 21—22 (публ. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина). Машинопись с правкой, на бланке для отзывов издательства "Земля и фабрика", и черновая запись рукой Н. Я. Мандельштам — *АМ*.

Блох (Блок), Жан-Ришар (1884—1947) — французский писатель. Рецензируемое издание: Bloch J. R. Destin du siècle: Seconds essais pour mieux comprendre mon temps. Paris, 1931.

270. *СС-III*, с. 87—89; в СССР — *Слово*, с. 22—24 (публ. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина). Машинопись с правкой, на бланке для отзыва издательства "Земля и фабрика" — *АМ*.

Дюамель, Жорж — см. коммент. к II, № 113. Рецензируемое издание: Duhamel G. Géographie cordiale de l'Europe. Paris, 1931.

271. Привязка этих набросков к тем или иным произведениям невозможна или затруднительна.

‹1› *Соч., т. 2*, с. 376, по сделанной И. М. Семенко расшифровке чернового наброска (на листе с одним из набросков к "*ПА*") — *АМ*.

‹2—3› *ВЛ*, 1968, № 4, с. 201—202, с подзаголовком "Записи 1931 г." (публ. А. Морозова и В. Борисова).

Недоступное уму. У Пушкина — "Непостижное уму".

Набравши море в рот... Эти строки принадлежат, по-видимому, самому Мандельштаму.

Тиртей — древнегреческий поэт сер. VII в. до н.э., воспевал спартанскую дисциплину и боевой дух воинов.

272. Фрагмент ("Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни»..." — *ВЛ*, 1968, № 4, с. 204, среди записей 1935—1936 гг. (публ. А. Морозова и В. Борисова). Впервые полностью — *Сохрани мою речь*, с. 20—25 (послесловие С. Василенко и Ю. Фрейдина), где дано по рабочему черновику (*АМ*), прочитанному А. А. Морозовым (в *АМ* имеется также список Н. Я. Мандельштам — вероятно, попытка прочтения ею черновика, с рядом пропусков). Датируется началом 1930-х гг., ориентировочно 1931 г. (Н. Я. Мандельштам относила этот текст к 1936 г. ошибочно: обоснование датировки, а также ряд интересных наблюдений и сближений см. в указанном послесловии С. Василенко и Ю. Фрейдина). Мандельштам пишет о романе А. Серафимовича "Город в степи", впервые опубликованном в 1912 г. Печ. по *Сохрани мою речь*.

273. *ВЛ*, 1968, № 4, с. 180—191, под загл. "Записные книжки 1931—1932 гг. ‹Вокруг «Путешествия в Армению»›" (публ. И. М. Семенко — с некоторыми пропусками). В архиве И. М. Семенко, разбиравшей так наз. "записные книжки" Мандельштама, сохранилась следующая запись-описание: "Если это и были когда-то записные книжки, то они превратились в

россыпь. Скорее, это были торопливые записи на любом клочке. След существования одной записной книжки — маленькая красная обложка («благополучное» название дано для продвижения в журнале «Вопросы литературы»). Каждый фрагмент соответствует клочку бумаги. «Паллас» — на листках большого формата". Пять листков, в т.ч. один на бланке "Зоологического музея Императорского Московского университета",— в архиве Ю. Г. Оксмана (*ЦГАЛИ*, ф. 2567, оп. 2, ед. хр. 63). В наст. изд. печ. по *Соч.*, *т. 2*, с. 352—364, где дано по машинописи, подготовленной И. М. Семенко и озаглавленной как в *ВЛ* (с уточнениями в композиции).

Во вступ. заметке к публикации в *ВЛ* И. М. Семенко писала: "Записные книжки 1931—1932 годов теснее, чем печатное прозаическое «Путешествие», связаны со стихотворной «Арменией». В них больше своеобразного лиризма... Фрагментарная запись — основа мандельштамовской прозы. Ее нельзя рассматривать только как заготовку для будущего развернутого описания. Отказ Мандельштама-прозаика от принципа «сплошного» повествования входил в систему его эстетических воззрений..." (См. об этом у самого Мандельштама в ‹"Читая Палласа"›). Фрагменты выстроены в порядке следования глав в "*ПА*". В квадратных скобках приводится зачеркнутый автором текст. См. также коммент. к осн. тексту (*Соч., т. 2*, с. 420—434).

Огоньки святого Эльма (у древних греков огни Кастора и Поллукса) — слабое электрическое свечение над выдающимися остроконечными предметами, нередко в горах и в тропических морях. У моряков считается дурным предзнаменованием.

Марго Вартаньян — дочь Гокора (Григора) Вартаняна, члена РСДРП с 1905 г., в 1930 г. — председателя Комитета помощи армянам за рубежом (в 1937 г. был репрессирован). О его семье см.: Шахназарян В. Урок армянского//Голос Армении, 1991, 8 января, с. 3—4.

Последний католикос. С 1911 по 1930 г. католикосом всех армян был Геворг V Суренян; следующим католикосом был Хорен I Мурадбекян (с 1932 по 1938 г.), а в промежутке место католикоса было не занято.

Наречием бузы и шамовки — здесь: языком бродяг и блатных.

Паскевич, Иван Федорович (1782—1856) — граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал, в 1827—1830 гг. наместник на Кавказе и главнокомандующий русской армией (см. у Пушкина в "Путешествии в Арзрум", 1830).

Шопен, Иван Иванович (1789—1870) — француз на русской службе, историк и этнограф, исследователь Закавказья (см. его труд: Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения ее к Российской империи. СПб., 1852).

Ан. В. Л. — А. В. Луначарский (?).

День рождения. Б. С. Кузин родился 11 мая.

Старуха К. — мать Б. С. Кузина.

Безыменский, Александр Ильич (1898—1973) — комсомольский поэт. См.

о нем: Флейшман Л. Эпизод с Безыменским в "Путешествии в Армению" (*SH*, v. III, 1978, p. 193—197). См. также "Разговор с Маяковским" Безыменского, где самоубийство поэта приравнивается к уклонению от работы и чуть ли не к прогулу (в кн.: Так понимаю я любовь. М., 1936, с. 108—112; датировано 10 сентября 1930 г., начато, по сообщ. Л. А. Безыменского, в апреле).

Ковач, Константин Владимирович (1894?—1947?) — переехал в Сухум из Ростова, в сер. 20-х годов руководил духовым оркестром; увлекся собиранием абхазского музыкального фольклора, написал несколько симфоний на абхазские темы, организовал музыкальную школу и училище в Сухуме, руководил симфоническим оркестром. См. его работы: "101 абхазская народная песня" (Сухум, 1929), "Песни кодорских абхазцев. Сб. этногр. материалов с нотными записями" (Сухум, 1930) и др.

Древний обряд погребального плача. Ср. ст-ние "Пою, когда гортань — сыра, душа — суха..." (III, № 159).

Анатолий К. — Анатолий (Анания) Какабадзе, до 1929 г. — директор Геофизической обсерватории, с 1 января 1929 по 22 мая 1931 г. — директор Национального музея Грузии (Архив Гос. музея Грузии — сообщ. С. С. Болквадзе).

Лакоба, Нестор Аполлонович (1893—1936) — абхазский советский гос. деятель, в 1922—1930 гг.— председатель Совнаркома Абх. АССР, в 1930—1936 гг. председатель ЦИК Абх. АССР.

Французы. Ср. ст-ние "Импрессионизм" (III, № 51).

Самый спокойный памятник — памятник К. А. Тимирязеву у Никитских ворот.

Кодак — здесь: фотоаппарат.

274. *ВЛ*, 1968, № 4, с. 191—194 (публ. И. М. Семенко). Печ. по *Соч., т. 2*, с. 354—366, где дано по машинописи, подготовленной И. М. Семенко. Примыкает к главе "Вокруг натуралистов" в "*ПА*".

Крутик и *смолчуг* — малоупотребительные областные обозначения местных растительных красок (соответственно синего и черного цветов).

Квасцы — камни, содержащие кристаллы двойных сернокислых солей; употребляются при обработке кож.

Шванвич, Михаил Александрович (1755—1802) — в чине подпоручика гренадерского полка попал в 1773 г. в плен к Пугачеву, присягнул ему и служил в его штабе переводчиком. После разгрома Пугачева, лишенный чинов и дворянства, был сослан в Туруханский край, где и умер, не дождавшись амнистии. Пушкин вынашивал замысел исторической повести о его судьбе, впоследствии трансформировавшийся в "Капитанскую дочку".

Пармский монастырь — "Пармская обитель", роман Стендаля (1839).

Для прозы важно содержание и место... В прозе всегда "Юрьев день". Ср. об "асимметричности прозы" в рец. на "Записки чудака" А. Белого (II, № 202).

Эффект Тиндаля — эффект рассеяния света при прохождении светового

пучка через неоднородную среду. Назван по имени открывшего его англ. физика Дж. Тиндаля (1820—1893).

275. ‹1› — *ВЛ*, 1968, № 1, с. 194—199 (публ. И. М. Семенко). Печ. по *Соч.*, *т. 2*, с. 367—372. Именно к этому тексту, по-видимому, относятся автографы из фонда Ю. Г. Оксмана (*ЦГАЛИ*). 28 нумерованных фрагментов, большинство из которых текстуально совпадает с текстом *ВЛ*, под загл. "Заметки о натуралистах (Записная книжка)" опубликованы в кн.: Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сб. 15. М., 1980, с. 442—446, с послесловием Б. М. Кедрова. Этот текст восходит к архиву биолога А. А. Любищева (1890—1972), знакомившегося с рукописью Мандельштама по просьбе его вдовы. Приводим текст фрагм. №№ 8—10, отсутствующий в др. источниках:

"8. Организация научного материала — стиль натуралиста.

Серийно-массовый характер научного опыта Дарвина.

Единичное явление в центре внимания линнеевского натуралиста.

Описательность. Живописность. «Миниатюры» Бюффона и Палласа.

Телеология. Благодарность. Умиленность. Похвала природе.

Красноречие — Линней, Бюффон, Ламарк. Прозаизм Дарвина. Популярность, установка на среднего читателя. Тон беседы. Метод серийного разворота признаков. Пачка примеров. Подбор гетерогенных рядов. Помещение действенных примеров в центр доказательства.

9. Приливы и отливы достоверности как ритм в изложении (Происх. видов). Автобиографичность. Элементы географической прозы. Школа кругосветного плавания (Бигль). Роль глаза. Глаз как орудие мысли.

10. Происхождение видов. Животные и растения никогда не описываются ради самого описания. Книга кишит явлениями природы, но они лишь поворачиваются нужной стороной, активно участвуют в доказательстве и сейчас же уступают место другим".

Интересный разбор и оценка этих заметок с точки зрения профессионала-биолога см. в письме А. А. Любищева к Н. Я. Мандельштам от 18 марта 1958 г.(Ленигр. отд. Архива АН СССР, ф. 1033, оп. 147, ед. хр. 37 — сообщ. Р. Г. Барановым).

Сен-Жюст, Луи (1767—1794) и *Робеспьер, Максимильен (1758—1794)* — виднейшие деятели Великой французской революции 1793 г., лидеры якобинцев, члены Национального Конвента; казнены после термидорианского переворота.

Аккомодация — здесь: приспособление глаза к ясному видению предметов на различных расстояниях.

‹2› — отрывки из ранней редакции очерка "К проблеме научного стиля Дарвина" (№ 247). В этой редакции очерк носит название "Вокруг натуралистов", не имеет эпиграфа и разделен на две части (вторая часть начинается со слов: «"Происхождение видов" состоит из 15 глав...», с. 214

наст. изд.). Печ. по *СС-III*, с. 133—140, где дано по копии с авторской машинописи, датированной 1932 г.

276. Частично: *РД*, с. 71—84 (в примеч. А. Морозова); *ВЛ*, 1968, № 4, с. 202—203 (публ. А. Морозова и В. Борисова); *СС-III*, с. 179—190. Впервые полностью — *СК*, с. 153—166 (подгот. текста С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина). Печ. по *СК*.

Черновые наброски к "*РД*".

‹1›: *Здесь уместно поговорить о понятии так называемой культуры...* Ср. о культуре как о "системе тончайших принуждений" (Вяч. Иванов) и как о "рабстве египетском" (М. Гершензон) в кн.: Иванов Вяч. и Гершензон М. О. Переписка из двух углов. Пг., 1921.

‹3›: *Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта.* Ср. в письме Чаадаева Пушкину от 19 сентября 1831: "Вот, наконец, вы — национальный поэт; ‹...› Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант... может быть, слишком поспешный" (Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1914, т. 2, с. 181—182).

‹11›: *Иосафат* — название долины, где, по христианским представлениям, произойдет Страшный Суд.

Эпикур (ок. 341—270 до н.э.) — древнегреч. философ, особенно популярный среди флорентийских гибеллинов.

‹23›: *Песнь тридцать третью...* — надо: "тридцать вторую".

‹37› — попутная запись, сделанная во время работы над "*РД*". *Волошин, Максимилиан Александрович (1877—1932)* — поэт и художник, жил долгое время в Коктебеле, где основал знаменитый "Дом поэта". Знакомство с ним Мандельштама состоялось в 1909 г. в Гейдельберге; впоследствии Мандельштам неоднократно бывал в Коктебеле.

Ифигениева бухта — имеется в виду Коктебельский залив.

277. Фрагменты — в кн.: Коваленков А. "Хорошие, разные... Литературные портреты". М., 1966, с. 11. Впервые полностью: *ВЛ*, 1981, № 3, с. 300—304 (публ. С. Коваленкова, где дано по авториз. машинописи из собр. публикатора). Печ. по *ВЛ*.

Внутренняя рецензия для издательства "Московское товарищество писателей". Написана, по всей видимости, в конце 1933 г. *Коваленков, Александр Александрович (1911—1971)* — советский поэт, автор 35 книг, в т.ч. 24 поэтических. "Зеленый берег" — первая из его книг, вышедшая в 1935 г. в изд-ве "Советский писатель" (образовавшемся в 1934 г. в результате слияния "МТП" и "Издательства писателей в Ленинграде"). Преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького. Об инциденте с нападками А. Коваленкова на Мандельштама см.: Рассадин Ст. Что сказал бы Маяковский?..//Новый мир, 1966, № 11, с. 271.

"*Огонек*", "*Красная Нива*", "*Прожектор*" — популярные массовые журналы.

Тихо сняла винтовку... — из ст-ния "Совершеннолетние" (Коваленков А. Зеленый берег. М., 1935, с. 69; далее стр. указаны по этому изданию).

Вникай, озорной смышленыш... — там же.

Облако тает..., Все разбрелись — кто с девушкой, кто с книгой..., Пиджак, надетый набекрень... — этих стихов в печатном тексте книги нет.

И холодок волнения... — из ст-ния "Мотоциклист" (с. 15).

Кладешь на полку ворох черствых книг..., Все будет так, как нужно... — этих стихов в печатном тексте книги нет.

От духоты у нас в конце концов... — из ранней редакции ст-ния "Ночной дозор" (с. 72).

278. Фрагмент этого наброска статьи о Чехове — *ВРСХД*, 1976, № 118; полностью — *RL*, 1977, vol. V, № 2; в СССР (с исправлением неточностей и опечаток) — *Сохрани мою речь*, с. 25—28, под загл. "Чехов. Действующие лица..." (во всех случаях — публ. Ю. Л. Фрейдина). Авториз. список — *АМ*.. Печ. по *Сохрани мою речь.*

В 1935—1936 гг. Мандельштам работал завлитом "Большого советского театра" в Воронеже. Написание статьи датируется началом февраля 1935 г. и, по-видимому, связано с постановкой в этом театре "Вишневого сада" Чехова. В рецензии А. Ярцева спектакль был расценен как "сценическая неудача" (газ. "Коммуна" (Воронеж), 1935, 10 февраля). Отдавая предпочтение Гольдони перед Чеховым, Мандельштам, по замечанию Ю. Л. Фрейдина, высказывается не как историк литературы, а как поэт. Мандельштам приводит перечень действующих лиц в комедии К. Гольдони "Gl'Innamorati" ("Влюбленные", 1759); в воронежском театре шла другая его пьеса — "Слуга двух господ".

Эак (греч. миф.) — сын Зевса и речной нимфы Эгины, известный своей справедливостью и благочестием; Зевс внял мольбам сына, когда тот, после длительной засухи, обратился к нему с мольбой ниспослать на Элладу дождь.

Пьеса Алексея Толстого — "Смерть Иоанна Грозного"; была поставлена в этом же театре незадолго до "Вишневого сада", причем роль боярина Мстиславского и роль Пищика исполнял один и тот же актер.

279. Черновые варианты и отрывки из ранних редакций — автографы и списки (*АМ*). Впервые (частично) — *ВЛ*, 1968, № 4, с. 203—204 (публ. А. Морозова и В. Борисова); *СС-IV*, с. 109—113. Наиболее полная публикация — Театр, 1989, № 12, с 11—14 (подгот. текста С. Василенко и Ю. Фрейдина). Печ. по журн. "Театр", два последних фрагмента — по *ВЛ*.

...как изобразил Гете в "Мейстере" — см. "Первую песню арфиста" ("Wer nie sein Brot mit Tränen ass..."; в пер. Тютчева: "Кто с хлебом слез своих не ел..."; в пер. Жуковского: "Кто слез на хлеб свой не ронял..."). А. Морозов отмечал, что Мандельштам, по свидетельству его вдовы, считал эти стихи вершиной мировой поэзии.

280. *ЛО*, 1991, № 1, с. 21—28 (публ. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина). Фрагментарные записи — автографы и авториз. списки (*АМ*). Печ. по *ЛО*.

Материалы к очерку о совхозах, для подготовки которого Мандельштам ездил в командировку от газеты "Коммуна" с 22 по 31 июля 1935 г. Работа над очерком продолжалась, в основном, в период с 1 по 5 августа и не была закончена.

Рябинин, Евгений Иванович (1892—1938) — председатель Воронежского облисполкома, с 1937(?) г. — первый секретарь обкома ВКП(б). В марте 1935 г. был награжден орденом Ленина.

281. *ВЛ*, 1968, № 4, с. 201—202, где запись ‹1› отнесена к 1931 г. (публ. А. Морозова и В. Борисова). Наша (предположительная) датировка — по сходству со следующим фрагментом рецензии Мандельштама на кн. "Стихи о метро" (1935): "...я обращаю внимание на то, как хороши, как уместны в этом маленьком отрывке глаголы — т.е. носители действия: звонил, молнировал, спускался. Поэт, забывший о глаголе, все равно, что летчик или шофер, заснувший у руля" (см. наст. том, с. 266).



В редакции газеты «Московский комсомолец». Фрагмент фотографии. 1929-1930 гг. Архив МО.





Н.Бухарин. Фотография. 1933 г.
Б.Кузин. Фотография. 1930-е годы. Архив Г.Кузиной.



Армения, храм Аван. Фотография. 1930 г. Собрание М.Торбин. Среди сидящих: Я.Хачатрянц, Н.Мандельштам, Осип Мандельштам.





А.Звенигородский. Фотография. 1931 г.
С.Клычков. Фотография. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.



В.Милашевский. Москва. Мясницкие ворота. Рисунок. 1929 г.



Шапка, купленная в Гуме
Десять лет тому назад
Под тобою, как игумен,
Я гляжу стариковат

О. М.

Н.Мандельштам, Осип Мандельштам, Э.Гурвич. Фотография. Начало 1931 г. Собрание Ю.Фрейдина.

Осип Мандельштам. «Шапка, купленная в ГУМе...» 1932 г.(?) Беловой автограф. Собрание Ю.Е.Мандельштама.

Автор Мандельштам Осип Эмильевич

Название Тверской бульвар 25, кв 6

Том поэт

Год изд.

Список произведений

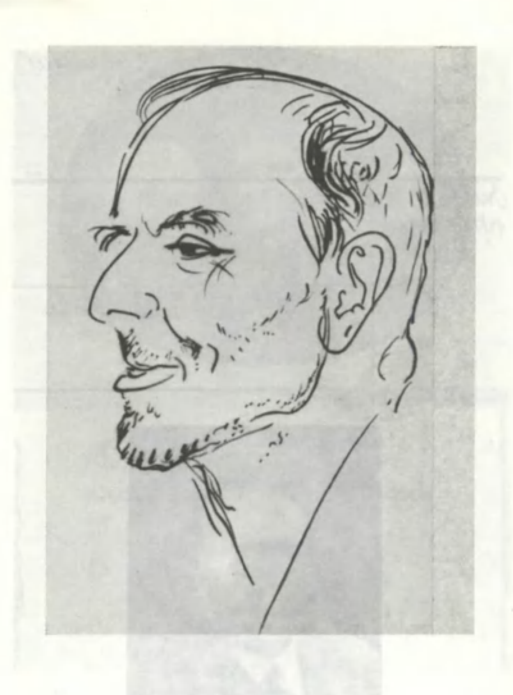
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ



Авторская учетная карточка Осипа Мандельштама в ГИХЛ (фрагмент). 1933 г.(?) РГАЛИ.

И.Ионов. Фотография. 1928 г.



В.Милашевский. Осип Мандельштам. Рисунок. 1933 г. ГТГ.

В.Милашевский. Осип Мандельштам. Рисунок. 1932 г. →
Собрание М.Чуковской.

В.Милашевский. Осип Мандельштам. Рисунок. Авторская датировка: →
1932 г. Воронежский областной художественный музей.

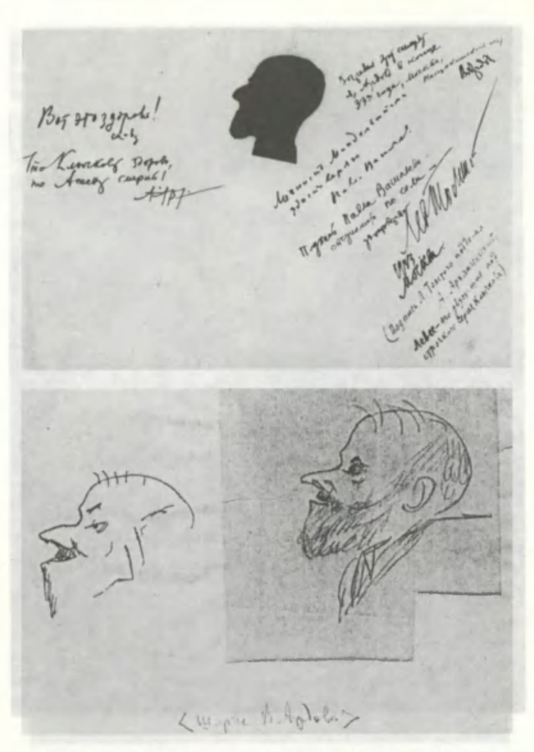



ВМ
1932





П.Васильев и А.Крученых. Фотография. Москва. 1934 г. РГАЛИ.
Виктор Ардов. Фотография Н.Свищова-Паола. 1930-е годы. РГАЛИ.



Виктор Ардов. Осип Мандельштам. Силуэт. 1933 г. Записи Ардова, А.Архангельского, П.Васильева, С.Клычкова. Альбом А.Крученых. РГАЛИ.

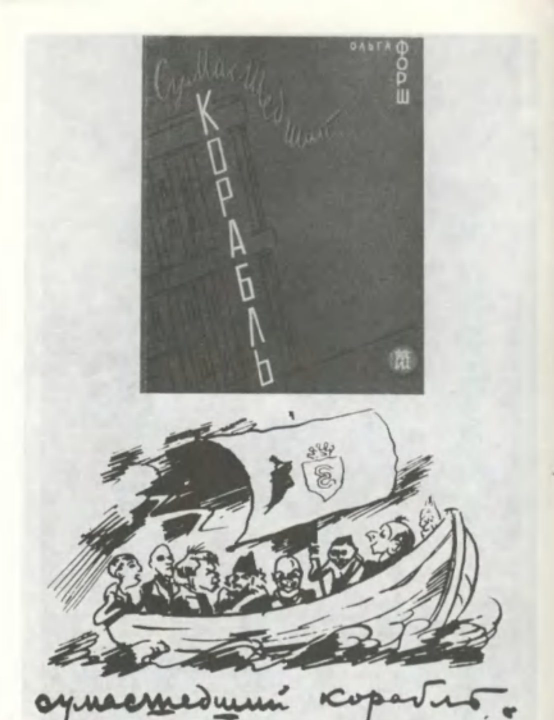
Виктор Ардов. Осип Мандельштам. Шарж. 1933 г. Альбом А.Крученых. РГАЛИ.



В.Меркурьева. Фотография. 1930-е годы. РГАЛИ.



Н.Грин. Фотография М.Наппельбаума. 1926 г. РГАЛИ.



Ольга Форш. Сумасшедший корабль. Л., ИПВЛ, 1931 г. Обложка работы М.Кирнарского.

Н.Радлов. Сумасшедший корабль. Шарж. Конец 1920-х — начало 1930-х гг. ГЛМ. Слева направо: А.Ахматова, Н.Гумилев, В.Ходасевич, В.Шишков, В.Шкловский, М.Слонимский, Осип Мандельштам, А.Волынский.



Н.Радлов. Осип Мандельштам. Шарж. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.





← О.Форш. Синтетическое лицо Белого. Рисунок. 1934 г.

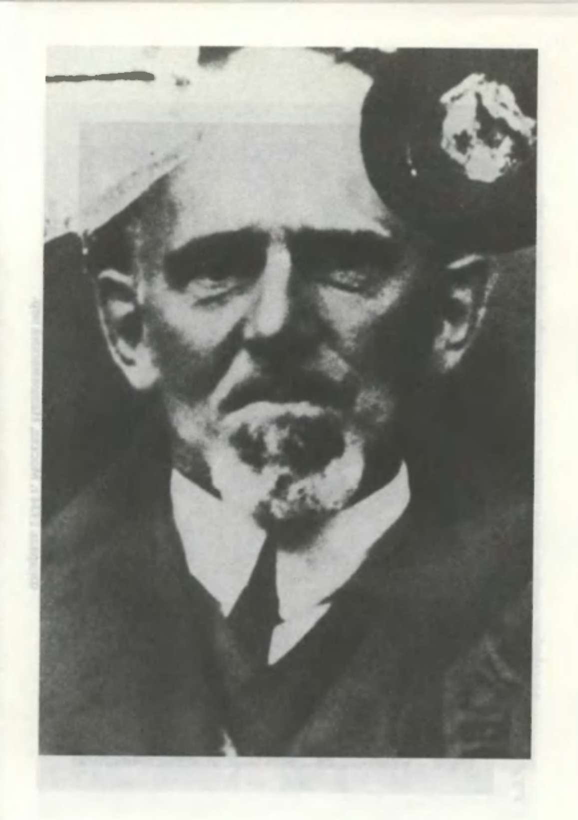
← О.Форш. Поэты. Блок и Данте. Рисунок.
Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

Осип Мандельштам. Разговор о Данте. М., "Искусство", 1967 г. Обложка работы В.Ильющенко.

16-840



Коктебель, дом М.Волошина. Фотография. Май-июнь 1933 года. Среди сидящих: Андрей Белый, К.Бугаева, В.Попова, Вс.Попов, Н.Мандельштам, Осип Мандельштам.



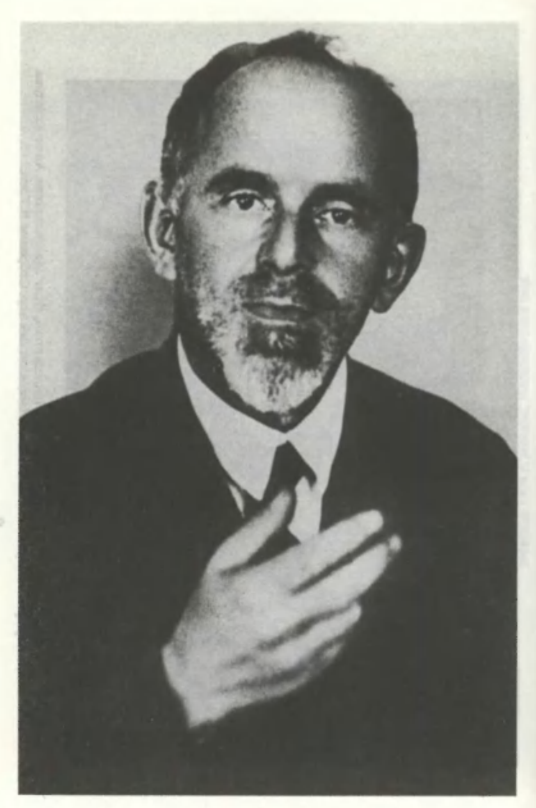
Осип Мандельштам. Фотография. 1932-1934 г.



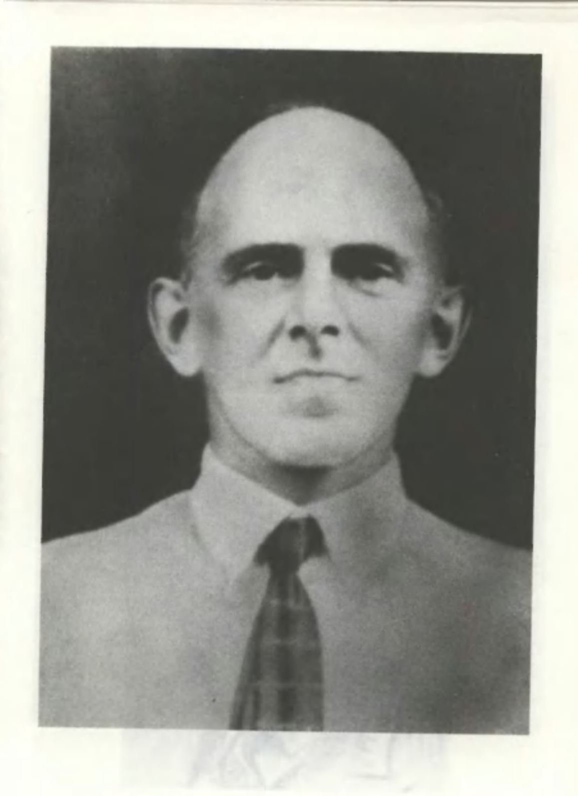
Г.Чулков, М.Петровых, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Фотография.
Февраль 1934 г. Москва, Нащокинский пер.



А.Э.Мандельштам, М.Петровых, Э.В.Мандельштам, Н.Мандельштам, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Фотография. Февраль 1934 г. Москва, Нащокинский пер. Собрание Н.Глен.



Осип Мандельштам. Фотография. Москва. Февраль 1934 г.



Осип Мандельштам. Фотография. 1934 г.





Петр Бородин (Амир Саргиджан). Фотография. Начало 1940-х гг. (?)
Н.Радлов. Портрет А.Толстого. 1937 г.



Н. Андреев. Демьян Бедный. Рисунок. 1920 г. (?) ГТГ.

МОСОБЛАСТКОМРАБИС

КЛУБ
ХУДОЖНИКОВ
Ветошн. пр 2.
Пом. 178, т. 5-59-26

Дорогой товарищ!

Правление Клуба Художников приглашает Вас

3 апреля 1933 года на ВЕЧЕР

Осип МАНДЕЛЬШТАМ
у
ХУДОЖНИКОВ

Билет действ. на одно лицо

Нач. в 9 ч. в.

№ места.............................

Мособлит 31/III-33 т. ВЦИК Зак. 1682 т. 400

Пригласительный билет на авторский вечер Осипа Мандельштама в Московском клубе художников. 1933 г.

Осип Мандельштам. «Мы живем, под собою не чуя страны...» Автограф из следственного дела. 1934 г. Архив МБ РФ.

С. С. С. Р. 1.

...иненное Государственное Политическое Управление

ОРДЕР № 512

Мая 16 дня 1934 г.

...дан сотруднику Оперативного Отдела ОГПУ

Герасимову

...изводство Ареста - обыска

...ндельштам Осипа Эмильевича

...есу: Нащекинский пер. д. 5 кв. 16.

...МЕЧАНИЕ. Все должностные лица и граждане обязаны оказывать ... которого выписан ордер, полное содействие для успешного

Зам. Председателя ОГПУ

Начальник Оперативного Отдела

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Ордер на арест.
Архив МБ РФ.

ОГПУ

Форма № 3

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1. Фамилия	Мандельштам / Мандельштам
2. Имя и отчество	Осип Эмильевич
3. Год и место рождения	Родился 3 января 1891 г. обл., края р-н гор. Варшава село
4. Постоянное местожительство (адрес)	Москва, Нащокинский пер. д. 5 кв. 26
5. Место службы и должность или род занятий	писатель
6. Профессия и профсоюзная принадлежность № билета	[illegible]
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее; сумма налога с.-х. и индивид. Если колхозник, указать имущ. положение до вступления в колхоз, время поступления в колхоз)	
8. То же до 1929 года	
9. То же до 1917 года	
10. Социальное положение в момент ареста	По ... картотеке У.С.О. О.Г.П.У. СВЕДЕНИЙ НЕТ ... 193 г.
11. Служба в царской армии и чин	
12. Служба в белой армии и чин	
13. Служба в красной армии: а) сроки службы б) воинская категория	
14. Социальное происхождение	сын купца
15. Политическое п[illegible]ое	[illegible]
16. Национальность и гражданство	еврей, советское
17. Партийная принадлежность, с какого времени и № билета	беспартийный

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Анкета арестованного. Архив МБ РФ.


37621 МАНДЕЛЬШТАМ, Осип
Эмильев

21

Выписка из протокола

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 26 мая 1934 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
36. Дело № 4108 по обвин.гр. МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича по 58/10 ст.УК	МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича выслать в г.Чердынь сроком на ТРИ года, считая срок с 16/5-34г. Дело сдать в архив.

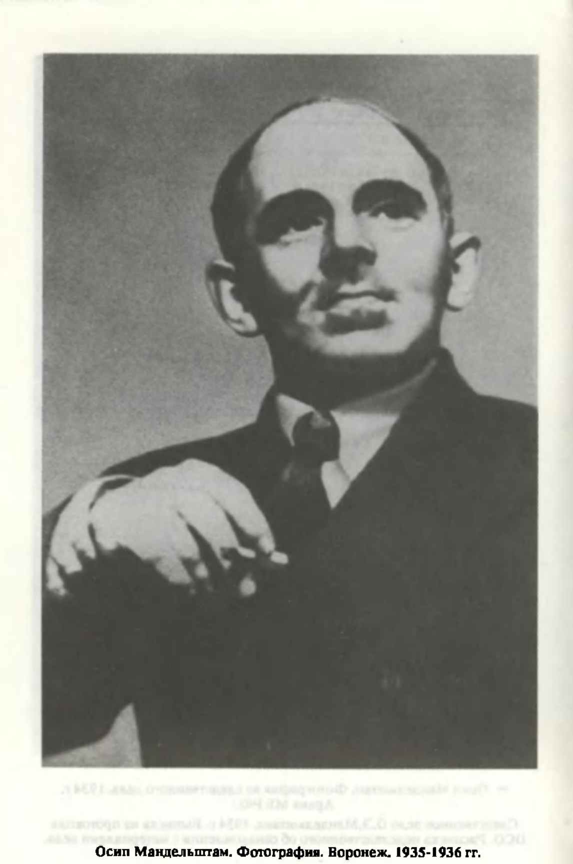
Секретарь Коллегии ОГПУ [illegible]

Настоящее постановление мне объявлено 28 мая 1934 года

О. Э. Мандельштам

← Осип Мандельштам. Фотография из следственного дела. 1934 г. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Выписка из протокола ОСО. Расписка подследственного об ознакомлении с материалами дела. Архив МБ РФ.



Осип Мандельштам. Фотография. Воронеж. 1935-1936 гг.





Я.Рогинский. Фотография. 1930-е годы. Собрание П.Нерлера.
Н.Леонов. Фотография. 1930-е годы.



С.Рудаков в саду у дома Н.Штемпель. Фотография М.Ярцевой. Воронеж. 1935 г. (?)

С.Рудаков. Воронеж. Больничный двор. Рисунок. 1936 г. →
Собрание М.Рудаковой.

С.Рудаков. Интерьер. Рисунок. 1936 г. Собрание М.Рудаковой. →


10.1.36.



Осип Мандельштам среди отдыхающих Тамбовского санатория (?)
Фотография. 1936 г.

Сотрудники Большого Советского театра в Воронеже на читке пьесы →
Максима Горького «Враги». Фотография. 1936 г. Собрание П.Нерлера.
Слева направо (сидят): Мурская, О.Гришин, Г.Васильева, М.Судьбинин, О.Мариуц, Осип Мандельштам, Г.Васильев, Н.Рославлев, В.Юратова, П.Вишняков, Орлицкая, Б.Викторов, Каменский (?), трое неизвестных лиц, Боровков; (стоят): А.Чернов, неизвестное лицо, Любин, Е.Аристов, неизвестное лицо, Е.Озеров, В.Шкурский.





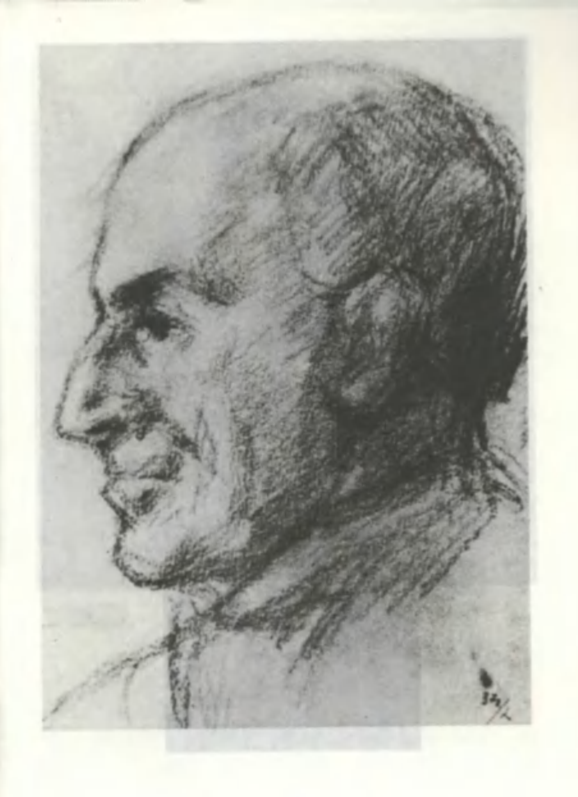
Осип Мандельштам и В.Хазина. Фотография М.Ярцевой. Воронеж. Март-апрель 1937 г. Собрание Ю.Фрейдина.



М.Ярцева, Осип Мандельштам, Н.Штемпель, Н.Мандельштам.
Фотография. Воронеж. Май 1937 г. Собрание Ю.Фрейдина.



А.Осмеркин. Осип Мандельштам. Рисунок. 1938 г. ГМИИ.



А.Осмеркин. Осип Мандельштам. Рисунок. 1938 г. ГМИИ.





В.Вишневский. Фотография. 1935-1936 гг. РГАЛИ.
В.Яхонтов. Фотография. 1930-е гг. РГАЛИ.



**В.Ставский. Фотография. 1937 г.
Дарственная надпись В.Вишневскому. РГАЛИ.**

СССР

дный Комиссариат Внутренних Дел
авное управление государственной безопасности

ОРДЕР № 2817

30 Апреля дня 1938 г.

дан

Главного
ления Государственной Безопасности НКВД
на производство
Ареста и обыска

Мандельштама
Осипа Эмильевича

Ст. Кривандино Каз. ж.д. п/о д. отдыха „Саматиха"

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел СССР

Начальник Второго Отдела ГУГБ

ка.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Ордер на арест.
Архив МБ РФ.

ПРОВЕРЕНО
Секретарь

В/3 28449

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №

НА АРЕСТОВАННОГО

БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ ГУГБ НКВД

Мандельштам

Осип Эмильевич

прибыл 7/VIII 193_ года

В/3-28449

107794

Личное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Архив МБ РФ.


МАНДЕЛЬШТАМ О.Э.

24

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР

от „2" августа 1938 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
77. Дело № 19390/ц о МАНДЕЛЬШТАМ Осипе Эмильевиче, 1891 г.р., сын купца, б. эсер.	МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича за к.-р. деятельность заключить в концтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч. срок с 30/IV-38г. Дело сдать в архив.

Исх. № 48076

Выписка направлена Бутырки

16-VIII 1938 г. №

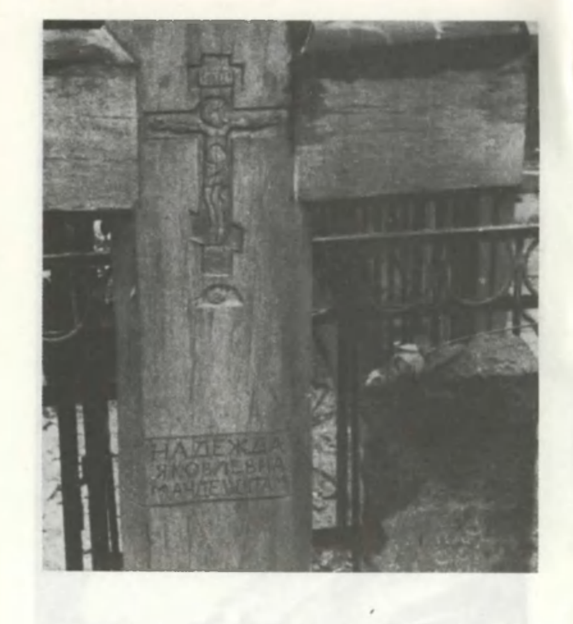
для направления в Колыму

Отв. секретарь Особого совещания

Т. им. Воровского. II. 1938

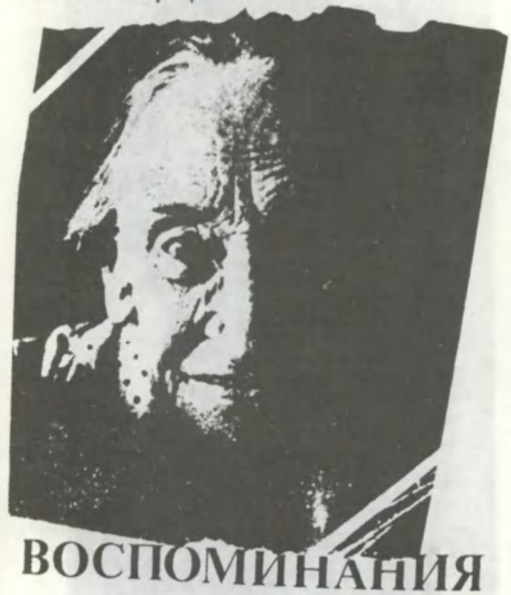
← Осип Мандельштам. Фотография из следственного дела. 1938 г. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Выписка из протокола ОСО. Архив МБ РФ.



Надгробие Н.Я.Мандельштам на Старокунцевском кладбище в Москве. Памятный знак в честь Осипа Мандельштама. Скульптор Д.Шаховской.

НАДЕЖДА
МАНДЕЛЬШТАМ



Обложка книги «Воспоминания» Н.Мандельштам.



Осип Мандельштам. Скульптор Г.Озолина.



Памятник Осипу Мандельштаму. 1989 г. Скульптор В.Ненаживин (Владивосток).



Мемориальная доска на Доме Герцена. Открыта 15 января 1991 г. Москва, Тверской бульвар, 25. Скульптор Д.Шаховской.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис:

В тексте:

Альбом:

Н.Радлов. Осип Мандельштам. Шарж. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

О.Форш. Синтетическое лицо Белого. Рисунок. 1934 г.

О.Форш. Поэты. Блок и Данте. Рисунок. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

Осип Мандельштам. Разговор о Данте. М., "Искусство", 1967 г. Обложка работы В.Ильющенко.

Коктебель, дом М.Волошина. Фотография. Май-июнь 1933 года. Среди сидящих: Андрей Белый, К.Бугаева, В.Попова, Вс.Попов, Н.Мандельштам, Осип Мандельштам.

Осип Мандельштам. Фотография. 1932-1934г.

Г.Чулков, М.Петровых, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Фотография. Февраль 1934 г. Москва, Нащокинский пер.

А.Э.Мандельштам, М.Петровых, Э.В.Мандельштам, Н.Мандельштам, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Фотография. Февраль 1934 г. Москва, Нащокинский пер. Собрание Н.Глен.

Осип Мандельштам. Фотография. Москва. Февраль 1934 г.

Осип Мандельштам. Фотография. 1934 г.

Петр Бородин (Амир Саргиджан). Фотография. Начало 1940-х гг. (?)

Н.Радлов. Портрет А.Толстого. 1937 г.

Н.Андреев. Демьян Бедный. Рисунок. 1920 г. (?) ГТГ.

Пригласительный билет на авторский вечер Осипа Мандельштама в Московском клубе художников. 1933 г.

Осип Мандельштам. "Мы живем, под собою не чуя страны..." Автограф из следственного дела. 1934 г. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Ордер на арест. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Анкета арестованного. Архив МБ РФ.

Осип Мандельштам. Фотография из следственного дела. 1934 г. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1934 г. Выписка из протокола ОСО. Расписка подследственного об ознакомлении с материалами дела. Архив МБ РФ.

Осип Мандельштам. Фотография. Воронеж. 1935-1936 гг.

Я.Рогинский. Фотография. 1930-е годы. Собрание П.Нерлера.

Н.Леонов. Фотография. 1930-е годы.

С.Рудаков в саду у дома Н.Штемпель. Фотография М.Ярцевой. Воронеж. 1935 г. (?)

С.Рудаков. Воронеж. Больничный двор. Рисунок. 1936 г. Собрание М.Рудаковой.

С.Рудаков. Интерьер. Рисунок. 1936 г. Собрание М.Рудаковой.

Осип Мандельштам среди отдыхающих Тамбовского санатория (?). Фотография. 1936 г.

Сотрудники Большого Советского театра в Воронеже на читке пьесы Максима Горького "Враги". Фотография. 1936 г. Собрание П.Нерлера. Слева направо (сидят): Мурская, О.Гришин, Г.Васильева, М.Судьбинин, О.П.Мариуц, Осип Мандельштам, Г.Васильев, Н.Рославлев, В.Юратова, П.Вишняков, Орлицкая, Б.Викторов, Каменский (?), трое неизвестных лиц, Боровков; (стоят): А.Чернов, неизвестное лицо, Любин, Е.Аристов, неизвестное лицо, Е.Озеров, В.И.Шкурский.

Осип Мандельштам и В.Хазина. Фотография М.Ярцевой. Воронеж. Март-апрель 1937 г. Собрание Ю.Фрейдина.

В.Ярцева, Осип Мандельштам, Н.Штемпель, Н.Мандельштам. Фотография. Воронеж. Май 1937 г. Собрание Ю.Фрейдина.

А.Осмеркин. Осип Мандельштам. Рисунок. 1938 г. ГММИ.

А.Осмеркин. Осип Мандельштам. Рисунок. 1938 г. ГМИИ.

В.Вишневский. Фотография. 1935-1936 гг. РГАЛИ.

В.Яхонтов. Фотография. 1930-е гг. РГАЛИ.

В.Ставский. Фотография. 1937 г. Дарственная надпись В.Вишневскому. РГАЛИ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Ордер на арест. Архив МБ РФ.

Личное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Архив МБ РФ.

Осип Мандельштам. Фотография из следственного дела. 1938 г. Архив МБ РФ.

Следственное дело О.Э.Мандельштама. 1938 г. Выписка из протокола ОСО. Архив МБ РФ.

Надгробие Н.Я.Мандельштам на Старокунцевском кладбище в Москве.

Памятный знак в честь Осипа Мандельштама. Скульптор Д.Шаховской.

Обложка книги «Воспоминания» Н.Мандельштам.

Осип Мандельштам. Скульптор Г.Озолина.

Памятник Осипу Мандельштаму. 1989 г. Скульптор В.Ненаживин (Владивосток).

Мемориальная доска на Доме Герцена. Открыта 15 января 1991 г. Москва, Тверской бульвар, 25. Скульптор Д.Шаховской.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

ПЕРЕВОДЫ

Из итальянской поэзии

Неаполитанские песенки

ПРОЗА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мандельштам О.Э.

Собрание сочинений в 4-х томах. Т.3. Стихотворения. Проза. Сост. и коммент. П.Нерлера и А.Никитаева. М.:Арт-Бизнес-Центр. 1994.

ISBN 5-7287-0072-1 (Т. 3)
ISBN 5-7287-0002-0

В третий том Собрания сочинений О.Мандельштама вошли произведения 30-х гг., последнего периода творчества поэта.

В издании использованы архивные документы и фотоматериалы.

Редактор издательства О.Листова
Технический редактор А.Селиверстова
Корректоры Л.Сухоставская, Т.Сидорова
Компьютерная верстка Д.Лисина

Фотоофсет. Подписано к печати 17.08.94.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 27,83.
Тираж 9 600. Заказ № 840

Издательство «Арт-Бизнес-Центр»
103055, Москва, ул. Новослободская, 57/65, тел. 973-36-65.
Лицензия № 060920 от 30.09.92 г.

Можайский полиграфкомбинат
Комитета по печати
Российской Федерации
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.